

Проект
«КОД НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ»



ШКОЛА

АНТРОПОЛОГИИ БУДУЩЕГО

«Школа антропологии будущего» РАНХиГС – центр интеграции наук о человеке, конструирующих образы будущего в мире возрастающей сложности. Ключевое направление деятельности – исследование практик, способствующих развитию разнообразия образов будущего и конструированию поведения, предвосхищающего будущее, в условиях неопределённости окружающего мира.

ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ

Художественные и публицистические
произведения

ЧАСТЬ I

- Ваш сын и наследство Коменского
- Письмо к А.Д. Сахарову
- Шестьдесят свечей

ЧАСТЬ II

- День седьмой
- Люди или нелюди
- Воспоминания о «Литературной Москве»
- Учитель. О Константине Паустовском
- Литинститутский коридор

ЧАСТЬ III

- Весенние перевёртыши
- Ответы на письма



Школа для каждого — школа для всех

**ПОКУШЕНИЕ
НА ШКОЛЬНЫЕ МИРАЖИ.
УРОКИ ДОСТОИНСТВА**



КНИГА 1

УДК 373 + 821.161.1
ББК 74.2 + 84 (2Рос=Рус)
Т 33

Серия «Школа для каждого — школа для всех»

Идея серии предложена А.Г. Асмоловым,
зав. кафедрой психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова,
академиком РАО

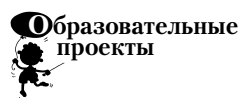
Тендряков В.Ф.

Т33 **Покушение на школьные миражи. Уроки достоинства.** Художественные и публицистические произведения: в 2 кн. **Книга 1** / под ред. А.Г. Асмолова, А.С. Русакова, М.В. Тендряковой. — СПб.: Образовательные проекты, 2020. — 352 с. — (Школа для каждого — школа для всех).

ISBN 978-5-98368-143-9

Замысел книги «Покушение на школьные миражи» направлен на воссоздание общей картины тех ключевых идей о школе, которые на протяжении своей жизни Владимир Фёдорович Тендряков тщательно формулировал, обдумывал, отстаивал, представлял читателям разных поколений. В книге воссоздаётся целостное высказывание Тендрякова об образовании человека не в контексте литературном, а в тесной связи с теми важнейшими исследованиями, замыслами и опытами, которые составили великую картину отечественных педагогических поисков и открытий второй половины XX века. Читатель увидит, что предлагаемые Тендряковым проекты и эскизы решений в большинстве своём остаются остроактуальными и для российской школы на пороге третьего десятилетия двадцать первого века.

В первую книгу вошли повести «Шестьдесят свечей» и «Весенние перевёртыши», статьи «Ваш сын и наследство Коменского», «Литинститутский коридор», рассказы «Люди или нелюди» и «День седьмой», ряд писем и воспоминаний.



© В.Ф. Тендряков, наследники, 2020
© А.Г. Асмолов, А.С. Русаков, М.В. Тендрякова,
составление, редактирование, комментарии, 2020
© ООО «Образовательные проекты», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Александра Асмолова. Трудно быть человеком: педагогика достоинства Владимира Тендрякова.....10

ЧАСТЬ I

<i>Комментарии к I части</i>	19
Ваш сын и наследство Коменского. Статья.....	23
Письмо к А.Д. Сахарову	47
Шестьдесят свечей. Повесть.....	59
<i>Пристрастный взгляд. Леонид Жуховицкий</i>	156

ЧАСТЬ II

<i>Комментарии ко II части</i>	161
День седьмой. Рассказ.....	165
Люди или нелюди. Рассказ	187
Воспоминания о «Литературной Москве»	229
Учитель. О Константине Паустовском	239
Литинститутский коридор. Статья.....	243
<i>Пристрастный взгляд. Валерия Новодворская</i>	247
<i>Пристрастный взгляд. Ролан Быков</i>	251

ЧАСТЬ III

<i>Комментарии к III части</i>	257
Весенние перевёртыши. Повесть	263
Ответы на письма о «Весенних перевёртышах»	333
«Всё дело в трубе». Шуточный домашний рассказ.....	338
<i>Пристрастный взгляд. Татьяна Успенская-Ошанина</i>	347

Предисловие Марии Тендряковой. Искусство сопричастности

ЧАСТЬ IV

<i>Комментарии к IV части</i>	
Об учителе. Из рукописей	
За бегущим днем. Роман	
Письмо школьникам в Подосиновец	
<i>Пристрастный взгляд. Дмитрий Быков</i>	
[Об Александре Твардовском]. Из рукописей	

ЧАСТЬ V

<i>Комментарии к V части</i>	
Учитель Савва Ильич (отрывок из романа «Свидание с Нефертити»)	
Просёлочные беседы. Рассказ	
Школа и самопознание. Статья	
«Мы за мир». Шуточный домашний рассказ	
<i>Пристрастный взгляд. Владимир Асмолов</i>	
Предисловие к роману «Покушение на миражи»	

Книга 1

Книга 2

Редколлегия стенгазеты при Подосиновской средней школе. 1939 г.
Владимир Тендряков – первый справа



В этот двухтомник собраны роман, две повести, четыре статьи, несколько рассказов и писем. Но всё же перед вами не «сборник произведений на школьную тему», а опыт книги педагогической. Её замысел направлен на воссоздание общей картины тех ключевых идей о школе, которые на протяжении своей жизни Владимир Фёдорович Тендряков тщательно формулировал, обдумывал, отстаивал, представлял читателям разных поколений.

Мы стремились восстановить целостное высказывание Тендрякова об образовании человека не в контексте литературном, а в тесной связи с теми важнейшими исследованиями, замыслами и опытами, которые составили великую картину отечественных педагогических поисков и открытий второй половины XX века.

Читатель увидит, как раскрываются перед ним неизбывные противоречия образования, и обнаружит, что предлагаемые Тендряковым проекты и эскизы решений в большинстве своём остаются остроактуальными и для российской школы на пороге третьего десятилетия двадцать первого века.

Покушение на школьные миражи. Уроки достоинства

Мы надеемся, что сложное, драматичное полотно этой большой книги читатель воспримет не как воспоминание о детях и учителях прошедшего века, а как яркий и свежий повод для рождения новых взглядов на школу будущих десятилетий.

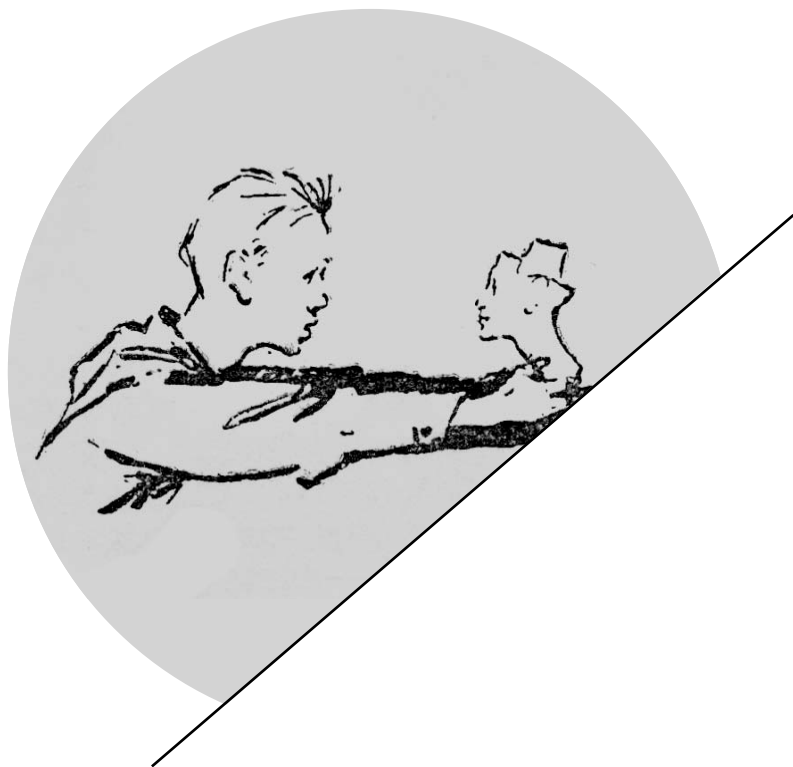


Рисунок В.Ф. Тендрякова. 1964 г.

ТРУДНО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ: ПЕДАГОГИКА ДОСТОИНСТВА ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА

Предисловие Александра Асмолова

Библей педагогике достоинства была и остаётся книга гуманиста, педагога, врача и писателя Януша Корчака «Как любить ребёнка». В 1966 году эта книга вдохновила писателя Владимира Тендрякова выступить с полемической статьёй «Ваш сын и наследство Коменского», которая, по сути, стала для меня прообразом манифеста «Педагогика достоинства».

Владимир Тендряков, который называл меня своим младшим братом, настойчиво повторял, что личность теряет своё достоинство, когда начинает жить по формуле конформизма «чего изволите». Многие его книги были посвящены школе и учителям: «За бегущим днем», «Весенние перевёртыши», «Шестьдесят свечей», «Ночь после выпуска». Но с особой остротой Владимир Тендряков ставил вопросы аксиоматики нравственности и достоинства в цикле произведений, которые мы в семье называли «История государства Советского»: «Охота», «Хлеб для собаки», «Параня», «Покушение на миражи» и — трагичная история расчеловечивания — «Люди-нелюди». Он учил меня педагогике достоинства своими произведениями и поступками. И если братья Стругацкие задавали свою аксиоматику нравственности символом «Трудно быть богом», то квинтэссенция школы достоинства Владимира Тендрякова может быть ёмко выражена метафорой: «Трудно быть человеком».

Позже я не раз проигрывал и находил для себя разные проекции этой метафоры в произведениях близких мне по духу мыслителей — Эриха Фромма («Бегство от свободы» и «Иметь или быть»), Виктора Франкла («Человек в поисках смысла»), Альбера Камю («Бунтующий человек») и, конечно, в поразительных гимнах человеческому достоинству Антуана де Сент-Экзюпери, Альберта Швейцера, Дмитрия Лихачёва, Андрея Сахарова, Булата Окуджавы, Александра Галича и Владимира Высоцкого. Возможно, для кого-то этот ряд имён апостолов педагогики достоинства покажется странным, но он отражает моё представление о тех, кто всей своей жизнью утверждал ценность каждого человека как неповторимой личности. Значительно позже горизонты, приоткрытые Владимиром Тендряковым, помогли мне постичь масштаб таких мастеров педагогики достоинства, как историк Михаил Гефтер, композитор Григорий Фрид (автор монооперы «Дневник Анны Франк») и Ролан

Быков с его фильмами «Чучело» и «Айболит-66». Повторюсь, метафора «*трудно быть человеком*» как смысловой ценностный стержень педагогики достоинства зародилась в моём сознании благодаря тесному общению с Владимиром Тендряковым.

Второй кит мировоззренческой философии современного образования – это педагогика сотрудничества, рождение которой состоялось в первую очередь благодаря гражданскому героизму Симона Соловейчика, Владимира Матвеева и Шалвы Амонашвили. Совместно с замечательной плеядой педагогов-новаторов в 1986 году они создали манифест «Педагогика сотрудничества», определивший ценностный поворот от обезличенной педагогики серийного производства «среднего ученика» к педагогике свободной личности.

Иногда этот манифест называют по месту его появления на свет «Переделкинским манифестом», акцентируя внимание на том, что он был создан в посёлке писателей под Москвой на даче Анатолия Рыбакова. Не удержусь от ассоциации и замечу, что диалоги с Владимиром Тендряковым, в которых оттачивался замысел педагогики достоинства, велись в посёлке писателей «Красная Пахра». Именно там произошла встреча с моим будущим учителем, классиком культурно-деятельностной психологии Алексеем Николаевичем Леонтьевым, которая изменила мою судьбу.

Случайно ли то, что культурная атмосфера писательских посёлков привела к кристаллизации идей педагогики достоинства, педагогики сотрудничества и культурно-исторической психологии свободного человека?

Не впадая в мистику, напомним лишь мудрые слова Павла Флоренского: «*Культура – это среда, растящая и питающая личность*». В Пахре в беседах с Владимиром Тендряковым Алексей Леонтьев страстно говорил о том, что в основе кризиса образования лежит разрушающая человека опасность – опасность обнищания души при обогащении информацией.

Эти слова А.Н. Леонтьева – убийственная этическая диагностика тоталитарной педагогики – формовки и штамповки «сделанных голов». Он писал в своих заметках: «*Игровое освоение мира (!). Не убивать детское. Сделанная голова – голова потерянная!*»

Мысли А.Н. Леонтьева о рождении личности в потоке деятельности, идеи Л.С. Выготского о социальной ситуации развития как источнике развития личности, положение А.В. Запорожца о содействии как исходной единице становления личности ребёнка в процессе общения со значимыми взрослыми и сверстниками, представления Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова о важности нравственной децентрации ребёнка (т.е. его способности увидеть мир глазами другого человека) в ситуации выбора, о развивающем образовании – вот некоторые знаки «третьей» точки опоры.

Не буду особо оригинальным, когда ещё раз подчеркну, что философия современного образования, как и Земля в древних сказаниях, стоит на трёх китах: педагогике достоинства, педагогике сотрудничества и культурно-исторической психологии личности.

Речь транслируется словами, любовь – смыслами. Педагогика достоинства Владимира Тендрякова противоречива. Она и земна, и небесна; и реалистична, и утопически романтична. Но по своему искрящемуся личностно-смысловому потенциалу – безразмерно человечна. Именно ЧЕЛОВЕЧНА, не только гуманистична. Я бы рискнул назвать её нравственной вакциной против расчеловечивания, против превращения людей – в нелюди, в Нелюдь. Метаморфоза личности в Нелюдь – это путь к абсолютному злу.

Что такое абсолютное зло? – это безальтернативность существования, выжигание в самом зачатке даже тлеющего помысла о возможности выбора. Превратиться в нелюдь – это хуже смерти. Это означает СГИНУТЬ. Именно от этого экзистенциального и антропологического риска предостерегал и предостерегает нас каждым своим действием, каждым поступком, каждым своим произведением непокорный и неутомимый борец за человеческое в Человеке, страстный искатель истины, гражданский герой культуры достоинства писатель Владимир Тендряков. И по самому высокому счёту смею предположить, что для Владимира Тендрякова, как для Бориса Пастернака или Эмануила Казакевича, и – вдумайтесь в это сравнение, – Сократа – нравственная тема была всегда сильнее страха перед государством, в том числе и страха за свою собственную судьбу.

Именно поэтому раз за разом, без менторского пафоса Владимир Тендряков повторял, казалось бы, простое правило. О том, что личность теряет своё лицо, когда начинает жить за пределами человеческого достоинства по незамысловатому правилу «У2», встречающемуся во все времена: «У2: Угадать – Угодить». От этого конформистского правила до благодного самооправдания: «Я просто выполнял приказ», – до превращения в работника социальной индустрии расчеловечивания и кражи человеческого достоинства, до трагически безвозвратного испарения человеческого «Я» и мутации в морального монстра, занимающегося обыденным «трудом» в Освенциме и Гулаге, меньше, чем один шаг.

Жизненный путь личности – это история отклонённых и сотканых альтернатив и, повторюсь, на этом пути нет участи более трагичной, чем потеря человечности. Сможет ли стать нравственным оберегом от потери человеческого лица проповедуемая моим учителем Владимиром Тендряковым педагогика достоинства? Ответ на этот вопрос зависит от нравственного выбора каждого из нас.

Я думаю (и даже доподлинно знаю), что Владимир Тендряков не осудил бы меня за то, что для передачи самой сути и кредо педагогики достоинства в финале предисловия к этому

изданию его трудов, подготовленному совместно с антропологом и психологом Марией Тендряковой, я приведу мудрые строки его духовного собрата Булата Окуджавы:

Совесь, Благодство и Достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрёшь, как человек.

директор Школы антропологии будущего РАНХиГС,
зав. кафедрой психологии личности МГУ, академик РАО
Александр Асмолов

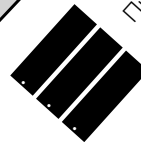


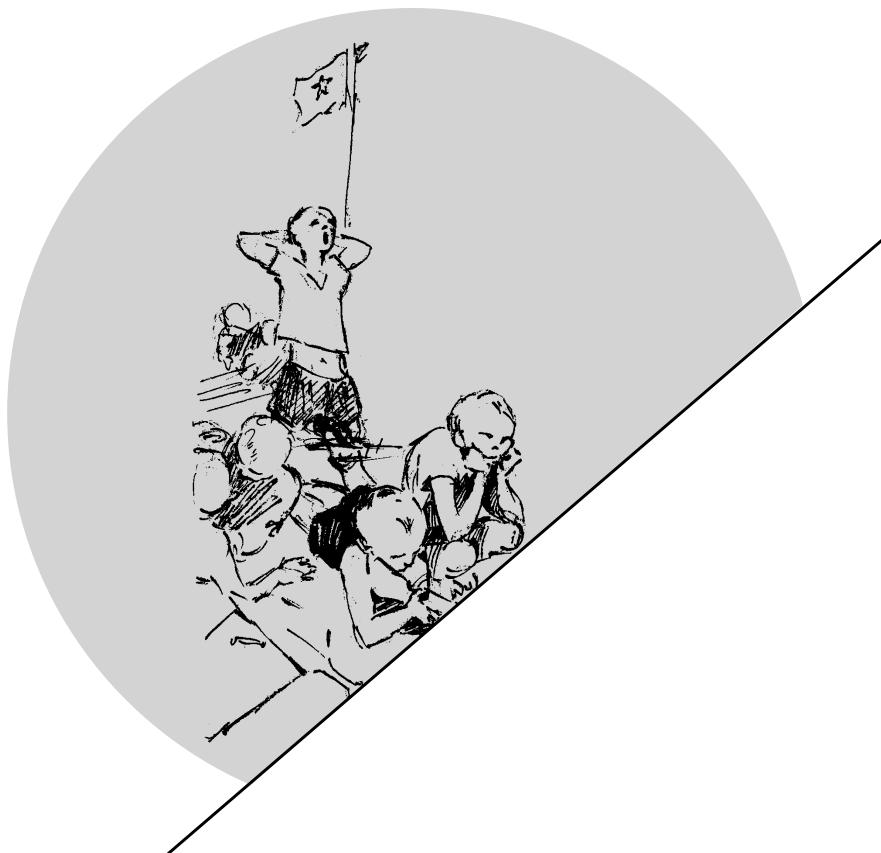
Дарственная надпись В.Ф. Тендрякова Александру Асмолову

Часть I



Ваш сын и наследство Коменского
Письмо к А.Д. Сахарову
Шестьдесят свечей





КОММЕНТАРИИ К I ЧАСТИ



«Это не теория, а гипотеза», — так определил Тендряков жанр своей программной статьи об образовании 1965 года. Гипотеза останется в силе и через двадцать лет — мы снова встретимся с её тезисами в итоговой лаконичной статье «Школа и самопознание», опубликованной незадолго до кончины.

В том последнем предперестроечном 1984 году Тендряков прямо называет главным критерием успеха школы способность вывести растущего человека на путь самопознания. Он размышляет об этом в «Учительской газете» таким обыденным тоном, будто говорит о чём-то само собой разумеющемся, а не о том, что вовсе чуждо кругу привычных задач советской школы.

Через год после кончины Владимира Фёдоровича общественный штиль сменится штормом. Неизбежность эпохи пересмотра оснований и порядков советского общества Тендряков предвидел и предрекал. Но насколько он страстно надеялся на эпоху перестройки, настолько же и опасался, что она рискует быть проигранной.

«...Если статью «Ваш сын и наследство Коменского» можно считать «программой» Тендрякова, то неотправленное письмо Сахарову — характеристикой «метода».

В письме отчётливо выражен подход Тендрякова к общественным вопросам — в том числе и к школьным. Честность обличения и требовательность, «решительные заявления, опалённые жаждой справедливости» вызывают у него понимание и сочувствие, но не солидарность. Тендряков уверен, что наивное понимание болезни — недейственный способ лечения. Если заманчиво-благородные надежды ведут за собой «упрощённый и наивный подход к общественным проблемам», то им суждено быстро переродиться в устрашающую противоположность.

Когда мы убеждены, что стоит лишь подменить или подчинить своим мыслям начальство — и жизнь по мановению властной волшебной палочки сама пойдёт налаживаться — то мы на пути к верному поражению.

«Какие проблемы мы решаем, когда претендуем на общественные изменения? — размышляет Тендряков, — прежде всего, проблемы взаимоотношений людей друг с другом». И тогда главными инструментами перемен будут не приказы власти и не призывы моралистов, а осмысление человеческих отношений и закономерностей в них.

«...Не столь важно изобрести и построить сверхумные машины, не столь важно даже получить хлеб насущный, как добиться взаимопонимания человека человеком, соседа соседом, коллектива коллективом, страны страной, нации нацией. Будут люди жить в понимании и уважении друг к другу, будет у них и хлеб, и дерзкие космические завоевания, и наука станет им приносить великую пользу. Не будет этого, будет раздор и вражда, плохо станет жить на земле, даже наука повернётся против человека... Отсюда второе моё пожелание вам: желаю каждому понять товарища и быть поняту. Надеюсь, что в этом ваше поколение преуспеет больше, чем наше», — напишет Тендряков в письме школьникам из посёлка Подосиновец, где когда-то сам учился и был учителем.

Как можно, — восклицает он в письме Сахарову, — в уповании на глобальные общественные перемены обращаться «не к группе взаимосвязанных между собой людей — а к абстрактному, вырванному из своей среды индивидууму!» У Тендрякова словно стояли перед глазами картины будущего взлёта и краха перестройки:

«...Неорганизованное сборище людей не в состоянии наладить производство, признавать единые законы, в том числе и моральные, сильный станет проявлять насилие над слабым, вооружённый над безоружным, разруха и голод охватят страну, понятия нравственности отойдут в область преданий...».

Если же корень общественных проблем — взаимоотношения людей, то наукой об этом оказывается не политика и не социология, а педагогика.

Но вот только сама педагогика у Тендрякова разговаривает прежде всего на языке этики.

...Если пересмотреть послевоенные и «оттепельные» фильмы о школе (тех лет, когда писались роман «За бегущим днём» и статья «Ваш сын и наследство Коменского»), мы увидим там учителей прекрасных или дурных, оказавшихся на своём месте или на чужом. Пожалуй, основной «дидактический» вывод даже из самых лучших фильмов эпохи: хорошо бы заменить в школе «неадекватных» педагогов на «правильных» — тогда и жизнь в школах станет бесконечно прекрасной.

Но Тендряков мало верит в замену «дурных» на «хороших». У него каждый человек — разный. С чертами и достойными, и сомнительными; с жизненными правилами, которые вызывают и уважение, и сомнение; и вольный, и невольный в своих решениях и поступках.

«Шестьдесят свечей» — книга о трагических противоречиях в торжественно-благополучной учительской биографии и в обычаях школы, «устроенной по всем правилам».

Николай Степанович Ечевин, образцовый учитель, гордость города, страница за страницей, шаг за шагом, оказывается почти разгромленным перед судом собственной совести.

Но Тендряков не разоблачениями увлечён; за образцовым учителем не скрывается тайный изувер, за порядками школы — особых жестокостей. Николай Ечевин — не злой, а сложный человек, и если чем-то он и выделяется особо — то как образец человека, которого всецело формировали время и обстоятельства.

Лишь после шестидесяти он вдруг сталкивается с необходимостью понять повороты своей судьбы, контексты профессии, последствия поступков.

Николай Степанович мучительно размышляет и лишь с трудом, гадательно, полуслучайно может разобраться, когда его действия и усилия ломали судьбу человека, а когда выправляли её.

Школьная биография вдруг предстаёт перед учителем в том свете самопознания, которого ему так долго удавалось избегать. Именно в том свете, который — по Тендрякову — должен освещать путь каждого юного человека во взрослую жизнь, становится сутью школьного дела.

Андрей Русаков



Фрагмент иллюстрации В.Ф. Тендрякова к роману «Свидание с Нефертити»

ВАШ СЫН И НАСЛЕДСТВО КОМЕНСКОГО

К дискуссии о проблемах среднего образования

*Публикуется
по статье
в журнале
«Москва»,
1965, № 11.*

Не думаю, что будет открытием, если сообщу, что ваш подрастающий сын ведёт стихийную борьбу со школой. Жалобы на это слышатся со всех сторон.

На моих глазах растёт паренёк с традиционно кудлатой шевелюрой, с комплексом самолюбивых надежд – скорее выскочить из зелёного возраста, показать себя миру в делах и подвигах. Он учится в девятом классе.

У него каждый день шесть-семь уроков, два раза в неделю школа даёт ещё восьмой час, какие-то консультации плюс домашние задания – пять часов, итого, рабочий день моего знакомого – десять-двенадцать часов в сутки, тогда как его папа отработывает свои семь часов.

Однако мой девятиклассник хочет заниматься спортом, не считает нужным читать лишь книги, предписанные школьной программой, его интересуют и научная фантастика, и приключения, и Брем, и Сетон-Томпсон, и «Охотники за микробами»... Кроме того, он мечтает заниматься в биологическом кружке. Его желания никто не осуждает, напротив, они удостоиваются похвалы – занимайся, читай, расширяй свой кругозор! И он поступает в секцию вольной борьбы, записывается в кружок биологов, проводит часы за книгой о гигантских кальмарах, которые никак не вмещаются в школьную программу...

А это не что иное, как выпад против школы, и школа на выпад отвечает выпадом: по алгебре, по геометрии появляются «двойки», нависает угроза остаться на второй учебный год, от учителей – пощёлки и проработки, в семье – трагедия. И вольная борьба заброшена, и кружок биологии забыт, и книги о неведомых зверях и заманчивых путешествиях вновь отменены учебником алгебры... Но проходит время, утихают страсти, и деятельная натура требует увлечений, выпад против школы повторяется. На выпад школа отвечает выпадом. Идёт борьба...

Время школьника и проблемы общества

Как-то я спросил одного педагога:

— Почему у нашего ученика такая перегрузка?

— Потому, что он живёт в двадцатом веке, — ответил педагог.

— Как так?

— Очень просто. Когда-то Коменский говорил, что человек должен «знать, уметь называть и понимать всё, что имеет в себе целый мир». Но Коменский жил триста лет тому назад, и его мир по сравнению с нашим был куда скромнее по масштабам.

И на самом деле, во времена Коменского не надо было изучать химию и биологию по той простой причине, что их не существовало, физика была в младенческом состоянии, бином Ньютона, который сейчас известен любому старшекласснику, тогда был высшим достижением, уделом немногих; история, литература, искусство — что ни возьми, всё выглядело неизмеримо скромнее. За триста лет духовный мир человечества вырос до необъятных размеров, а сама человеческая жизнь осталась прежней, по-прежнему в сутках — двадцать четыре часа, ценность времени возросла, его не хватает.

Не будем останавливаться на том, что стало притчей во языцех — мол, в наших школах не всегда по-хозяйски распоряжаются остродефицитным временем, пускают его по ветру. Неуклюжие учебные программы, предлагающие для изучения необязательный, а подчас совсем ненужный материал. Недостаточная насыщенность уроков... Я, например, весьма грубо и приблизительно подсчитал, что мой знакомый девятиклассник проприсутствовал на опросах своих товарищей более трёхсот часов, то есть около сорока трёх семичасовых рабочих дней, полтора рабочих месяца. Как бы меня ни уверяли, что это время не потерянное, что мой знакомый, слушая своих товарищей, закрепляет, усваивает пройденный материал, я не могу согласиться — слишком пассивен такой метод усвоения, его, так сказать, коэффициент полезного действия равен нулю.

Потери самой большой — не восстановимой ценности — времени — существуют, это признано, об этом говорят. Но мне бы хотелось проследить, когда неудачное использование времени школьника перерастает в угрожающую общественную опасность.

Начнём с того, что время времени — рознь.

Час жизни Гоголя и час жизни человека типа миргородского обывателя Ивана Ивановича не равноценны. Гоголь за этот час мог написать полстраницы, пусть даже одну вдохновен-

ную строчку, которая наряду с другими войдёт на века в сокровищницу мировой культуры, тогда как Иван Иванович за свой час в лучшем случае съедал дыню, записав для памяти на бумажке время этого «исторического» события. Для общества особую ценность представляет время, принадлежащее наиболее способным людям.

А на уроке в нашей школе происходит систематическое обкрадывание именно наиболее способных.

Педагог приступает к изложению нового материала. Перед ним сидят тридцать-сорок учеников, все они не однородны по способностям. Задача учителя — добиться, чтобы материал усвоили все. Он не может ориентироваться на самых способных, которые «схватывают на лету»; остальные не поймут, не усвоят, не будут знать. Учитель не ориентируется и на самых неспособных, потому что опять же весь остальной класс, уже усвоивший всё, станет непродуктивно тратить время, обучение пойдёт черепашим шагом, школьные программы придётся растянуть на десятилетия. Учитель держит курс на среднего ученика. А наиболее способные, талантливые вынуждены подстраиваться под «среднячка», они не имеют возможности быстрее усваивать материал, их развитие тормозится.

Я учился в десятилетке с некоей Лидией Шагаровой, которая блестяще окончила физико-математический факультет Томского университета, сразу же после этого стала преподавателем в том же университете, получила учёную степень кандидата, сейчас, по всей вероятности, уже доктор. Я же в математике был тугодум, если и добивался «пятёрок», то только мозолями на заднем месте, теперь давно все математические премудрости начисто забыл, не решаю уравнение с одним неизвестным. Но вот парадокс — по окончании десятилетки знания по математике как у Шагаровой, так и у меня были почти одинаковы. Я ведь тоже знал программу, получил на экзамене «пятёрки». Почему она, неизмеримо меня способнее, знала столько же? Да потому, что учитель и школьная программа ориентировались на меня, быть может, даже на более «тугих» в математике, и мы, «среднячки», тормозили Шагарову, отнимали у неё время.

Школа, сама того не желая, благосклонна к посредственности и обижает способных.

Школа не отдаёт предпочтения какому-то одному предмету. Она твёрдо стоит на том, что ученик в равной степени должен знать всё: характеристику хордовых, крестьянские возмущения времён царя Алексея Михайловича, творчество Маяковского, вычисление объёма усечённой пирамиды... В равной степени всё!

На свете не может быть двух совершенно одинаковых по духовному складу людей — истина, не блистающая новизной. Если в классе сидит тридцать-сорок человек, то все они отличаются друг от друга уже по своей природе. Я, например, не способен к математике, мой ум теряется, когда отрывается от зримых вещей. Недостаток? Может быть, но врождённый. Презирать меня за это так же несправедливо, как и презирать за то, что

я не родился с физическими задатками Юрия Власова. И так, математика для меня чужда, трудна, плохо поддаётся усвоению. А, скажем, историю люблю, знания по ней даются без напряжения, легко, победно. Но знай всё в равной степени, одинаково — таков закон школы. Трудна геометрия — уделяй ей больше сил и времени. Больше времени — нелюбимому предмету, меньше — любимому. Знай всё, раскрывай секреты усечённой пирамиды без души, без любви, голой усидчивостью.

Больше времени — нелюбимому, меньше — любимому. Убивается в зародыше увлечение. И тут-то проблема времени перерастает в проблему творческого становления человека.

Нельзя стать творческой личностью, не пережив увлечения. Только увлечение, которое перерастает в страсть на всю жизнь, страсть, подчиняющую все другие желания и все силы, делает человека целенаправленным, толкает на поиски, заставляет творить. Разумеется, не каждое увлечение перерастает в творчество, но творчества без увлечения не бывает. А школа упрямо заставляет: знай всё в одинаковой мере, преодолевай свои пристрастия и интересы. Не потому ли выходят из школы люди без определённых желаний, без определённой цели, не зная, куда приложить свои силы и знания? Они бросаются на первую попавшуюся профессию, поступают в первый подвернувшийся институт (в тот, куда легче попасть), тянут ляжку нелюбимого дела, живут без страсти, без интересов, бесцветно, серо.

Труженик, работающий без интереса, без души, ради рублишка — плохой работник. А если такие работники — массовое явление, то результат — общее снижение производительности труда, экономическое отставание в стране. Если рабочий без любви и заботы относится к своему станку, крестьянин — к земле, руководитель — к людям, то нечего и говорить о нормальном развитии общества, охваченном бездушием и казёнщиной.

И ещё немаловажная опасность. Государство стремится к тому, чтобы сократить рабочий день, предоставить личности больше свободного времени. Свободное время — а что с ним делать человеку, у которого с детства убиты увлечения, который не знает, чего хочет, что ему интересно? Хорошо, если рука потянется к развлекательной книжонке, хуже — забивание «козла» во дворе, ещё хуже — пьянство и дебоши. Не исключено, что такие люди могут пополнить ряды преступных элементов. Коммунизм предусматривает наличие значительного свободного времени у человека, но если человек не сможет с рассудком пользоваться им, нельзя мечтать о коммунизме.

Люди с неразвившимися в детстве духовными интересами — социально опасное явление. Вывод, выходящий за рамки школьного воспитания, но вспомним, что мы начинали с того, что школа неразумно распоряжается временем. Проблема школьного времени — общественная проблема!

«Нельзя объять необъятное»

Можно подумать — вся беда в том, что в школах, мол, работают бездарные учителя, а в министерствах просвещения сидят бездарные руководители. Наверно, и в школах, и над школами есть бездарные, как есть и талантливые.

Причины не в бездарности работников школьного воспитания. Причина в структуре, в самом устройстве, которое заставляет школьных работников действовать по-своему. Наша школьная система, мягко выражаясь, не совершенна.

Мы сказали «наша», но это не совсем так. Во всех школах мира — порой с частичными отклонениями и неординарными нововведениями — обучают сейчас по так называемой классно-урочной системе, которую впервые предложил великий педагог, мыслитель и гуманист Ян Амос Коменский, тот самый, который гордо заявил: человек должен «знать, уметь называть и понимать всё, что имеет в себе целый мир».

До Коменского не было распределения на классы, не было определённых программ, предусмотренных для каждого года, месяца, дня, даже часа. Прежде наставник собирал вокруг себя всех учеников скопом, не подразделяя их ни по возрасту, ни по багажу знаний, учил как бог на душу положит, не брезгуя при этом действовать и розгами. Школа с её берёзовой кашей была местом мучений. Гуманный и организованный метод Коменского был великим шагом вперёд. Недаром же Коменского долгое время называли «отцом новой педагогики». Мы и сейчас готовы назвать его «отцом», только смущает, что его педагогика для нас не очень нова, ей отроду триста лет! «Знать... всё, что имеет в себе целый мир». Мы сейчас на этот девиз можем только развести руками и ответить словами Козьмы Пруtkова: «Нельзя объять необъятное».

Знать всё в наш век просто нельзя, и школа не пытается справиться с этой фантастической задачей, но, тем не менее, — вот парадокс — придерживается принципа: знай всё в одинаковой мере, не считаясь с интересами, увлечениями ученика. Отсюда противоречия между обучением и творческим развитием.

И это в той или иной мере характерно для всех стран мира. И чем эти страны развитее в культурном отношении, тем болезненнее для них проблемы школьного воспитания. Страны отсталые, где только ещё приобщаются к сокровищам культуры и науки, не так остро чувствуют необходимость перемен в преподавании, они пока что могут удовлетвориться и старыми методами.

И если мы сейчас говорим о несовершенстве нашей школьной системы, то это вовсе не признак нашей слабости, наоборот — признак нашего духовного развития, признак силы! Тот,

кто из ложного страха — как бы о нас плохо не подумали, как бы не уронить наш престиж! — станет упорно твердить, что наше народное образование без изъяна, оно вне подозрений, совершит преступление перед обществом. Рано или поздно мы придём к выводу, что нельзя выправить положение одними лишь частными административными мерами, как-то: десятилетку перекроить в одиннадцатилетку, механически приклеить политехническое обучение и прочее. Рано или поздно жизнь заставит пойти на революционную перестройку нашего просвещения. И нужно ли доказывать, что чем раньше это случится — тем лучше, чем позже — тем больше шансов оказаться в хвосте у времени. Вопрос о воспитании нового поколения — вопрос нашего будущего! Откладывать его решение в долгий ящик — значит задерживать развитие нашего общества.

Изучение или знакомство?

Итак, знать всё в наш век просто нельзя. Мы в лучшем случае можем рассчитывать на то, что наш образованный человек будет иметь какое-то весьма и весьма общее представление о мире в целом и станет знатоком в одной области, которая больше всего ему нравится, отвечает его природным способностям, в обиходе называется специальностью.

Часто можно услышать вопрос, с лёгкостью обращённый к ребёнку: «А ну, скажи, что больше всего тебя интересует? Кем бы ты хотел быть?» Вопрос прямой и простой, на него, казалось бы, может быть такой же простой и прямой, без обиняков, ответ. Но как часто задающие этот вопрос взрослые дяди сами не знают, что им больше всего нравится в жизни.

Что больше всего нравится, что тебя увлекает — часть одного из самых трудных и сложных вопросов, с которым постоянно сталкивается человек: что ты такое? Не даром же самопознание у таких выдающихся людей, как Лев Толстой, занимало всю жизнь, выросло в мучительную трагедию.

Сделать выбор... Наверное, вся учёба ребёнка должна сводиться к этому — как выбрать дело всей жизни. То дело, к которому больше всего предрасположены его природные способности, то дело, которое из увлечения может перерасти в страсть, то дело, которым он станет полезен обществу — профессия, специальность!

Современная школа считает, что если ты будешь изучать всё с одинаковой добросовестностью, то в конце концов, наткнёшься на то, что тебе по душе.

Изучай всё!.. Школьник неизвестно кем ещё будет — астрономом или шофёром, биологом или металлургом, историком или делопроизводителем. Ему предлагают материал — скажем, Куликовская битва. Астроном и шофёр, биолог и металлург, человек любой профессии должен иметь какие-то общие сведения об этом событии, хотя бы знать, «где оно

лежит». Но скажите мне, взрослый читатель, астроном или шофёр, биолог или инженер-строитель, в каком году была Куликовская битва? Я специально опросил около пятидесяти своих знакомых, не имеющих прямого отношения к предмету истории, из них только один мне ответил. Причём, этот человек с некоторым виноватым смущением говорил о своей памяти: «Что грязная дорога: кто ни пройдёт — галошу оставит». Все они в своё время учили про Куликовскую битву, помнили год, помнили, да забыли, потому что память человека имеет счастливую особенность забывать то, с чем не приходится часто сталкиваться. Забыл и я, хотя историю люблю, книги про историю читаю. Время с одинаковой лёгкостью стирает как обильные, так и скудные знания, если они не прочно усвоены или если ими не приходится воспользоваться.

Доскональное преподавание, обрушивание мелких подробностей на неподготовленного человека не нужно и даже вредно. За обилием деталей может пропасть представление о целом, ученик не поймёт «вкуса» предмета и, разумеется, не сможет им увлечься. Значит, задача школы — помочь ученику найти своё пристрастие — не будет выполнена.

Преподавай обильнее — что-то останется! Это всё равно, что стрелять по цели с завязанными глазами — выпускай как можно больше пуль, глядишь, одна из них и попадёт в яблочко.

Идёт неразумная трата невозполнимых ценностей — времени и сил ученика. Расчёт на авось! Любой инженер-конструктор был бы посрамлён, если бы осмелился предложить проект машины, основанный на столь расплывчатом расчёте. В технике (да и только ли в технике!) подобное невозможно, а в педагогике — нормальное явление.

Говорят: «Из-за деревьев лес не видно». Школьные педагоги сразу же окунули меня в математические дебри, сначала заставив вызубрить таблицу умножения, потом перешли к дробям, к алгебраическим формулам, к логарифмам... На всём протяжении я видел только математические «деревья» и не получил представления о красоте и величии возделанного человеком сада — математики. Этим у меня отнимались удивление перед ним и любовь к нему.

Мы часто употребляем слова «ключевые позиции». А в плане обучения не является ли удивление и зарождающаяся отсюда любовь тем самым исходным положением, тем волшебным ключом, которым открываются сокровищницы наук? Наверно, нужно знакомить с той или иной наукой, чтобы дать в руки этот ключ.

Не случайная обмолвка — знакомить. Термину «изучение», каким мы до сих пор пользовались, противопоставляется термин «знакомство». Слова близкие, но каждому не трудно уловить в них разницу.

Напрашивается практический вывод: ребёнок должен не сразу приступить к изучению наук, а к знакомству с ними. Не изучение, а знакомство, не скрупулёзное требование —

усваивай знания все по порядку, а показ, так сказать, «товара лицом» — взглядишь, ознакомься, выбери то, что тебя интересует, к чему больше всего тебя тянет. И это поможет ребёнку как-то определить себя. Как-то, приблизительно, наверняка не точно, потому что ответить на вопрос — что ты из себя представляешь? — не так-то просто. Угадать своё призвание сразу, с детства — редчайший случай.

Классная доска и киноэкран

Как бы ученику ни нравился предмет, каким бы он ни казался скучным, но если заставлять изучать, — всегда можно добиться, что ученик будет знать его. Изучение, что-то теряя, может проходить и без увлекательного преподавания, как это, впрочем, часто и бывает.

Ну, а знакомство, которое ставит целью показать «товар лицом»? Сухое, скучное знакомство отпугнёт ученика, вызовет неприязнь к предмету; то есть приведёт к прямо противоположным результатам. Увлекательность становится непременным условием обучения.

Ставка на увлекательность! Не слишком ли утопично? Это значит, что все без исключения учителя должны обладать талантом образного, интересного, — не побоимся этого слова — поэтического изложения материала. Рассчитывать, что миллионные армии учителей будут талантливы, — беспочвенная маниловщина. Нельзя фундамент целой системы строить из личных качеств тех или иных людей. Рано или поздно эти качества могут оказаться не на высоте, и тогда всё выстроенное здание рухнет.

Но я и не собираюсь рассчитывать целиком и полностью на личные качества каждого в отдельности взятого учителя. Более того, считаю, что сейчас, при существующей системе обучения, от личных качеств учителя зависит неправомерно много. Ученик попадает к талантливому учителю — повезло, будет знать; попадает к бездарному — не повезло, грозит опасность выйти из школы неученым. В этом есть какой-то обидный элемент случайности.

Сейчас мы механизуем труд не только землекопа, шахтёра, лесоруба, но и труд лингвиста, филолога, конструктора. И только у нашего школьного учителя, как и сто, и двести лет назад, на вооружении всё та же классная доска, кусок мела и мокрая тряпка. Наша семья из четырёх-пяти человек в состоянии приобрести телевизор, а школа для тридцати-сорока человек не может поставить в классе узкоплёночный проекционный киноаппарат, который стоит дешевле телевизора.

Пришло время призвать в стены школы технику! Экран для показа учебных кинофильмов должен стать таким же привычным атрибутом в классе, как и классная доска, а производство фильмов для школьного обучения необходимо наладить так же, как налажено издание учебников.

Техникой спасти просвещение! Многие улыбнутся при этом. Но техника давным-давно стала могучим пособником в получении знаний — и не для несведущих учеников, а для осведомлённых и привередливых учёных. Галилей открыл горы на Луне и четыре спутника Юпитера с помощью подзорной трубы. Левенгук сообщил миру о микроорганизмах с помощью микроскопа, а это была хоть и примитивная, но техника. Без новой совершенной техники не были бы раскрыты секреты атомного ядра, не были бы познаны тайны Вселенной, технически оснащённые спутники приносят всё новые и новые сведения из космоса. И чем дальше, тем больше человек в просвещении самого себя станет рассчитывать на технику. Пренебрежительно относиться к ней в области школьного воспитания — значит становиться в позицию ничем не оправданного рутинёрства.

Впрочем, техника уже начинает входить в обиход школ и институтов как у нас, так и за границей. В МЭИ студенты сдают зачёт машинам. Идут поиски и разработки разного рода обучающих машин, начиная от «приспособления, едва ли не более хитрого, чем обычный учебник, до сложного механического и даже электронного репетитора» («Курьер ЮНЕСКО», март 1965 г.). Но поиск ведётся главным образом в направлении, как помочь изучению материала. Нас же в данном случае интересует не столько углублённое, подробное изучение, сколько широкое знакомство. И это упрощает задачу — нет нужды изобретать специальные технические новшества, можно пользоваться той техникой, которая давно уже широко вошла в нашу жизнь. Кино, телевидение, магнитная запись ежедневно знакомят миллионы зрителей и слушателей с научными открытиями и произведениями искусства. Кинофильм не в состоянии заставить изучать предмет, как может заставить живой учитель. Но там, где обучение ограничивается общим знакомством, показом «товара лицом», кинофильм справляется лучше рядового учителя, и не только потому, что он сопровождает свой рассказ показом, воздействует не на одну слуховую память, но и на зрительную, а главное — потому, что в фильме материал будет преподноситься не некий средний учитель, а лучший в стране мастер этого дела. Проблема случайности — попадает ли ученик под влияние преподавательского таланта или преподавательской бездарности — если не полностью, то частично снимается.

Увлекательность — непременное условие. Непременное! И тут, с появлением техники, приобретает огромное, неопределимое значение искусство.

Утверждают: искусство — особая форма общения. Особая, необычная, наиболее действенная! Самый подробный научный трактат не научит любить природу, как это может сделать картина Левитана. Сухая моральная сентенция, вроде «Возлюби ближнего своего», не способна вызвать такое искреннее участие к человеку, какое вызывают рассказы Чехова и Гоголя. Далёк от нас, жалок и даже ничтожен Акакий Акакиевич, герой «Шинели», но многие поколения переживают бурное сострадание к нему. Нет ничего более действенного, чем язык искусства, и им необходимо пользоваться при обучении. Это не значит, что для знакомства с математикой, физикой, историей нужно непременно создавать шедевры, привлекать корифеев по уровню не ниже Чехова или Гоголя, — вполне

достаточно, если о Лермонтове в школе будет рассказывать Ираклий Андроников, который умеет удерживать в напряжённом внимании многомиллионную армию телезрителей.

Увлечённость — непереносимое условие. Раз так, то внедрением одной техники не обойтись. Голая техника без преподавательского искусства, призвавшего на помощь мастерство литераторов, художников, актёров, просто беспомощна.

В настоящее время талантливость преподавания никак не поддаётся организации. Министерство образования не в силах потребовать от преподавателя более живого, образного изложения, как ни жми на него, как ни прорабатывай, а выше собственного уровня педагог не прыгнет. Но за бездарный фильм можно спросить с соответствующих организаций — почему не подыскали талантливых людей? Нет талантов? Неправда! В стране всегда есть таланты. Таким образом, увлечённость обучения может поддаться организации, на неё можно рассчитывать.

Может, можно... Конечно, не обойтись без оговорки, что при некоторой неуклюжести в организации увлечённость преподавания будет существенно страдать, будут выпускаться из рук вон плохие, скучные учебные фильмы, как нынче выпускаются плохие художественные фильмы, как выпускаются недоброкачественные учебники. Но мы ведём речь о принципиальной возможности. Она — реальность, а не утопия.

Ещё раз — изучение или знакомство?

Можно ли обойтись одним общим знакомством? Если мы хотим, чтобы каждый ученик знал иностранный язык, то мы не должны ограничиваться знакомством с этим языком, придётся требовать изучения, усваивания, запоминания. Кроме того, нельзя приступать к знакомству, будучи совсем неподготовленным. Каждый ребёнок должен уметь читать и правильно писать, знать арифметику, только после этого он может знакомиться с физикой, математикой, историей, литературой и пр. и пр.

Ага, всё-таки изучение нужно?

Да, конечно.

Но не значит ли это, что мы противоречим сами себе, не сводятся ли на нет все наши требования знакомства вместо изучения?

Изучение или знакомство? Или то, или другое? Почему так категорично? Даже в самой природе ничто не бывает в абсолютно чистом виде, в этом её сложность и многообразие.

Мы не построим новое общество, не взяв на вооружение что-то из старого, что-то такое насущно нужное, что станет равноправной частью нашей новой структуры. Или то, или другое — категоричность, говорящая лишь об ограниченности.

Мы стоим перед фактом: невозможно одинаково хорошо знать всё, ученик должен выбирать, что больше всего его увлекает, для этого необходимо широкое знакомство.

Знакомство становится насущной частью всего школьного обучения, быть может, самой существенной частью на этом этапе, но оно никак не исключает изучения в тех случаях, где оно нужно, где невозможно обойтись знакомством.

А как практически совместить знакомство и изучение, как сделать так, чтобы они были едины, помогали друг другу, представляли из себя стройную систему — я сейчас говорить не решусь, как не решусь и советовать, насколько практически приемлемы окажутся будущие технические нововведения. На всё это ответ дадут методисты, педагоги-экспериментаторы, те практики, кому придётся заниматься переустройством школы. Говоря образно, они должны провести сложную инженерно-техническую работу.

А я сейчас перехожу к тому моменту, когда ученик после какого-то времени, в основном отданного общему знакомству с науками, сделает свой выбор. «Увлекает такой-то предмет, тому-то хочу уделить больше сил, внимания и времени».

И вот тут-то изучение выступает в новом виде, становится на первое место.

В школе существуют особые группы, назовём их условно специализированными. Группы по изучению (уже по изучению, а не по знакомству) всех наук, предусмотренных программой: математики, физики, биологии, химии, истории и др. Каждый ученик по своему влечению волен выбирать для себя любую группу, воспитатель обязан помочь ему в этом, но ни в коем случае не должен навязывать свою волю. Изучение в специализированной группе требует какой-то, пусть минимальной, подготовки в выбранном предмете, каких-то конкретных знаний, основанных на интересах, на увлечениях, поэтому не лишне сопроводить приём в группу несложным экзаменом.

Увлечение не приходит по заранее составленному расписанию, не во всём согласуется со школьной программой.

Нельзя установить, к примеру, что до четвёртого года обучения всякие увлечения не допускаются, после четвёртого-пятого они обязательны. Разве не может случиться такое удивительное явление, что ребёнок ещё в семье, до школы, проявит феноменальные способности к математике? Перед ним просто не встанет вопрос, чем заниматься в будущем, к чему его влечёт; в то же время другой ощутит влечение к математике только после пяти лет учёбы в школе. Могут ли они войти в одну группу, специализирующуюся на математике?

один — по теперешнему счёту — первоклассник или второклассник, другой — ученик пятого или шестого класса? Почему бы и нет, если у них одно и то же влечение.

Раз ученик поступает по влечению, по желанию, значит можно рассчитывать, что он с желанием и будет заниматься, значит можно сделать упор на самостоятельное изучение под контролем педагога. Даже если ты малыш, чей школьный стаж равняется одному, двум годам, а тебе от роду семь, восемь лет, занимайся самостоятельно. Но при этом учитывается, что ты исключительно редкое явление, ты не заурядный ребёнок, а феномен, иначе так скоро не нашёл бы своего призвания. Дети с нормальным развитием почувствуют влечение немного позднее, ну, а если им по-детски просто покажется, что они испытывают это влечение, — воспитатель и экзамены для поступления в группу откроют им глаза на их заблуждение.

Всё строится на одном: считаешь данный предмет интересным, желаешь его изучать — изволь реализовать своё желание, приучайся заниматься самостоятельно. Для этого тебе созданы все возможности — есть определённые программы, своего рода руководство для учителя-консультанта, учителя-руководителя; есть опытный контролёр в лице этого руководителя; есть фильмы, рассчитанные уже не на обзор, а открывающие частности, углубляющие материал; есть учебники; не исключено, что будут существовать и запрограммированные обучающие машины, пусть даже простые и дешёвые — в виде настольной игры.

Мы уже говорили, что в современной школе педагог, ведущий урок, вынужден держать курс на «среднячка», что тормозит развитие способных. В специализированной группе не бывает уроков как таковых, учитель проводит лишь индивидуальные консультации и индивидуальные проверки, тем самым, изучая каждого ученика. Ты можешь обогнать товарищей, не причинив этим никому вреда, а если ты станешь отставать — опять же никого не удержишь, не украдёшь рабочее время. Твоё отставание — лишь твоя личная беда. И, конечно, маленький феномен и «нормальный» любитель математики пойдут каждый своим путём.

При этом они одновременно будут обогащаться и общеобразовательными знаниями. Маленький феномен — во всём остальном, кроме математики, нисколько не развитее нормального ребёнка — будет смотреть фильмы вместе со своими сверстниками, учиться грамматике, а более взрослый его коллега — со своим. Школа как бы утратит резко выраженные классы и отойдёт от урочной системы.

Цель найдена! Цели нет!

Выбор сделан. Но это вовсе не значит, что жребий брошен, рубикон перейдён!

Маловероятно, чтоб ученик без ошибки выбрал сразу то, что будет его интересовать всю жизнь, станет в будущем его профессией. Вундеркинды не норма, а, скорее, до-

вольно редкое явление. Вспомним, что большинство из нас не сразу нашло своё призвание. Поэтому право ученика — в любое время оставить свою специализированную группу, поступить в другую, пройдя опять несложную проверку. Сменить в школе несколько групп — менее безболезненно, чем в будущем метаться из одного института в другой.

Сам принцип самостоятельной работы — неумолимый контролёр. Если ты не сможешь заниматься самостоятельно, значит, не так уж велико твоё увлечение, произошла ошибка, ищи другое, — то, что больше по душе, — ищи, но помни, что можешь и не оседлать в школе своего конька. Это минус, лучше бы со школьной скамьи почувствовать заветную цель жизни, но такого может и не случиться.

Можно заранее предвидеть — не единицы, а многие будут бросаться из одной группы в другую, сталкиваясь с самостоятельной работой, по-детски станут лениться по той причине, что выбранный предмет не захватил до самозабвения. Выбор вольный, всё основано на желании, никто из учителей не станет заставлять ученика силой изучать то, что ему не нравится. Никаких дисциплинарных взысканий, никаких отметок о прилежании, никаких непреложных требований — выполняй, мол, от сих до сих, иначе быть тебе второгодником. Само понятие второгодничества отомрёт. Не хочешь учиться самостоятельно — воля твоя, выйдешь из школы с багажом общих знаний, основанных на обзорном знакомстве.

Можно с уверенностью сказать, что людей с какой-то одной гипертрофированной способностью куда меньше, чем разносторонне способных. И вот такие-то разносторонние, отнюдь не ограниченные, духовно не обеднённые люди вполне могут разбросаться и после школы не зная, куда направить свои стопы. А между тем школа не зажимала их способностей, они занимались тем, что их интересовало, занимались увлечённо, с душой, среди них наверняка будут встречаться по-своему талантливые.

Предчувствую панические возражения: «Ужасно! Выпускаются люди с поверхностными знаниями, основанными не на изучении, а на легковесном знакомстве. Один-два способных найдут своё призвание, а десятки, даже сотни учеников выйдут верхоглядами. Не слишком ли дорога цена?»

Нет, не большими верхоглядами, чем выходит обычный ученик после окончания современной восьмилетней школы. Он изучал и формулы, и даты исторических событий, но, выйдя из школы, став шофёром или трактористом, делопроизводителем в какой-либо конторе или учётчиком на заводе, забудет в скором времени и эти формулы, и эти даты, как я в своё время забыл год Куликовской битвы и последовательное доказательство теоремы Пифагора. Забудет, если не станет дальше учиться, укреплять свои знания новыми. У него останутся только общие представления о пройденных науках. Только у нашего ученика эти общие представления окажутся, по всей вероятности, более цельными, более яркими, более широкими. Наш ученик воспринимал общие знания через образное, увлекательное изложение, не замусоривал целостность картины подробностями, кото-

рым суждена короткая жизнь. А так как на зазубривание этих подробностей у него не уходило время, то была возможность получить более широкий обзор. К тому же наш ученик испытывал свои силы в разных специальных группах, что-то изучал — и изучал, возможно, с детским горячим желанием до тех пор, пока желание не остыло, — а это тоже отложилось в душе, стало его багажом. Поэтому навряд ли даже не нашедшие своего пристрастия ученики новых школ окажутся духовно беднее нынешних выпускников неполных средних. Есть все основания считать, что они будут богаче.

Но деятельность каждого учителя направлена на то, чтобы помочь ученику найти своё пристрастие, приобрести свою цель.

Учитель становится не столько глашатаем знаний, сколько учёным-исследователем и воспитателем в одном лице. Он изучает детей изо дня в день, какие и в какой степени интересы охватывают каждого из них. Тут он учёный. Но он не ограничивается одним лишь беспристрастным изучением. Поведение ребёнка во многом стихийно, неизбежны метания, необдуманные порывы, переоценка сил, или, наоборот, упадок сил от временных неудач. Обязанность учителя как-то регулировать эту стихию — здесь он воспитатель-творец. Облик учителя меняется!

Бесполезно сейчас говорить о мерах, какими будет пользоваться такой учитель. Они должны быть найдены в процессе практической работы. Но об одном стоит упомянуть.

Через что ещё учитель узнаёт стремления и интересы своих учеников, как не через опрос? Кроме того, нельзя допустить, чтобы дети уж совсем безответственно относились к тем знаниям, с какими их знакомят хотя бы через показ кинофильмов. Нельзя допустить, чтобы они росли с вялой, не развитой памятью, а память требует тренировки.

Проверка знаний, по всей вероятности, должна проходить как соревнование умов, соревнование памяти, а не основываться на категорическом требовании: знай всё без исключения. Проверка знаний через опросы останется, но останется ли в прежнем значении отметки?

Всё для того, чтобы ученик увлекался, как-то мог реализовать свои увлечения. Всё для того, чтобы он приобрёл цель своей жизни. У любого есть для этого возможности, но утверждать, что каждый приобретёт в стенах школы твёрдую цель, — утопия.

Тот, кто целеустремлён по своему характеру, по природным данным, — найдёт себя достаточно быстро. Кто не целеустремлён, — может метаться долгие годы, и предел этим метаниям зачастую установить нельзя. Отсюда вывод: школа не может ориентироваться на всех, иначе кого-то придётся держать на этом этапе обучения до весьма зрелого возраста. Семь-восемь лет — вот тот срок, который может выделить общество будущему гражданину для первоначальных поисков своей цели.

Значит, после семи-восьми лет обучения будут выходить ученики, нашедшие себя и не нашедшие.

А дальше?

Коротко о спецшколах

Разберём более простой случай: ученик нашёл себя, свою цель. Он навряд ли подготовлен к поступлению прямо в институт, хотя при новом обучении такие случаи и возможны. До института ему ещё надлежит учиться года два-три и, конечно, в школе, соответствующей его влечению.

У нас уже существуют школы, которые специализируются на преподавании какого-нибудь предмета: музыки, живописи, математики и т.п. В одни спецшколы — музыкальные, живописи — набирают учеников из начальных классов. Другие отбирают способных из старших классов, например, физико-математические. В ряд спецшкол я бы поставил и малочисленные в нашей стране техникумы и училища, дающие законченное среднее образование. Правда, эти техникумы и училища не всегда-то рассчитывают на одарённость или даже на простое влечение. Приходи любой, сдавай экзамены по общим предметам, о специализации, о направлении твоей будущей профессии тебя не спросят. Предполагается, что ты, поступающий, не имеешь об этом никакого представления. Будешь учиться — узнаешь, чем это пахнет. Свидится — слюбится.

Другое дело, когда после семи-восьми лет обучения школьник как-то нашёл себя, он может выбрать своё призвание не наугад, он ищет определённую спецшколу, профиль которой соответствует его влечению.

Спецшколы, которые не являются чем-то принципиально новым, спецшколы, соответствующие уровню современных техникумов и училищ, — вот последующая ступень обучения.

Чтобы поступить в такую школу, ученик обязан сдать экзамен. Экзамен важен не только для проверки знаний, одарённости, степени увлечения, но и для того, чтобы государство имело возможность как-то регулировать количество нужных обществу специалистов. До сих пор ученик считался только со своими вкусами и желаниями, но эти желания далеко не всегда будут совпадать с общественными нуждами. Желаю стать историком, а историков на данном этапе в обществе достаточно, нужны специалисты-техники...

Безоговорочно считаться с желанием каждой отдельно взятой личности просто невозможно. И гражданину будущего придётся временами поступаться личными интересами в угоду общественным. Никакой школьной, ни даже государственной системой — будь она

верх совершенства — не исключишь из жизни случаев разочарования, крушения надежд, неисполненных мечтаний. И поэтому часто и при новом обучении юношеские надежды будут разбиваться о неумолимую экзаменационную комиссию, отбирающую только лучших из лучших.

А куда денутся неудачники? И только ли неудачники?..

«Люби труд»

И тут-то мы должны разобрать случай — ученик не нашёл себя, свою цель. Куда ему идти? На производство? Но он и к производству не подготовлен, он не знает ни одной профессии, в лучшем случае может стать разнорабочим, пойти на неквалифицированный, грубый физический труд, которого со временем станет всё меньше и меньше.

Человек, не нашедший в школе ясной цели, не обязательно бездарен, напротив, он может быть разносторонне даровитым. Его нельзя считать изгоем в обществе, преступление отступить от него, отказывать в дальнейшей учёбе. Вполне возможно, что таких людей окажется подавляющее большинство.

Напрашивается вывод: необходимы школы с некоторым универсализмом, где ведущей дисциплиной является труд как таковой, труд с тем или иным уклоном, труд, призванный в воспитатели. Помимо разнообразных специализированных школ должны существовать и разнообразные производственные. Можно ожидать, что они станут самым массовым видом школ, дающих среднее образование.

Но здесь нам придётся поговорить о современном трудовом воспитании, о так называемой политехнизации.

Слов нет, чрезвычайно важно привить человеку любовь к труду. Но вот вопрос, как это сделать? Сунуть лопату в руки, сказать: «Копай. Люби труд»?

Просто любить труд ради самого труда, самого процесса? Труд ради труда, ковыряние лопатой ради ковыряния лопатой — бессмыслица.

Правда, иногда сам трудовой процесс может доставлять какое-то удовольствие: хорошему косцу приятно пройти «играючи» с косой, приятно иногда, чувствуя силу и ловкость в руках, колоть дрова, чтоб с хрустом лопались чурки под топором, со звоном отлетали поленья... Но если бы человечество трудилось только ради удовольствия, то вряд ли оно сумело бы построить города, создать машины, одеть себя в ткани; до сих пор жило бы в пещерах, щеголяло в звериных шкурах. Копание лопатой не всегда-то доставляет наслаж-

дение, скорей оно неприятно. Труд есть труд, и нельзя его фетишизировать. От него произошло слово «трудно», он очень часто тяжёл, утомителен до изнеможения.

Во фразе «Люби труд» есть что-то обывательски ограниченное, ханжеское, пришедшее к нам из морали эксплуататорских классов вместе с такими сентенциями, как «Возлюби ближнего своего». Скорей всего, фразу «Люби труд» придумали те, кто сами по настоящему никогда не трудились. Люди трудятся не из любви к труду, а из желания достичь этим трудом чего-то определённого, чего-то насущно полезного. Люди любят результат труда, его цель, трудятся, подчиняясь властному зову: «Нужно!»

Но вот этого-то властного зова и не испытывает современный ученик, приобщающийся к трудовому воспитанию. Его ставят у верстака или станка, а порой дают в руки лопату и заставляют делать примитивные табуреты, либо точить нехитрые детали, либо рыть картошку: «Учись работать, приобретай трудовые навыки!» Так учил в прежние времена мастер своего подмастерья, но подмастерье видел в этом всё же определённый смысл: «Научусь делать табуретки, буду зарабатывать кусок хлеба. Нужно!» Заветное «нужно» существовало. Теперь же ученик, равно как и учитель, в подавляющем большинстве случаев не считает, что умение делать табуретки станет в будущем его профессией. Казалось бы, табуретка о четырёх ножках — результат труда, самый вещественный. Но, как ни странно, эта табуретка, на которой можно сидеть, которой при нужде можно пользоваться, не имеет тем не менее практической ценности.

Сам ученик, его родители, его учитель в жизни пользуется более удобными и красивыми стульями, выпущенными мебельными фабриками, созданными руками рабочих-профессионалов. Табуретка не для продажи, да и вряд ли на неё отыщется покупатель, табуретка создаётся лишь для того, чтобы ученик приобрёл на ней трудовые навыки. Ради трудовых навыков, ради одного: «Полюби труд». Труд ради труда, ради процесса; оказывается, табуретка несёт в себе лишь мнимый результат. Эту мнимость, эту фальшь ученик не может не чувствовать.

Случается иногда, что школа приспособливает трудовую учёбу учеников под какие-то практические нужды, например, заставляет клеить картонные коробки, которые потом сдаются (или продаются) школой в торговые организации для упаковки товара. Кажется, тут-то результат труда налицо, но... не для школьников, а для неизвестных им торговых организаций или для хозяйственников школы, которые получают какую-то выгоду от продажи картонных коробок. Эта выгода может идти на пользу самим школьникам, но вся операция продажи, получения дохода, его реализации идёт за спиной школьников, в ней они не участвуют, могут знать о её существовании лишь понаслышке, короче — результата не видят. Право же, как ни горько это говорить, но понятие о результате своего труда у ученика примерно такое же, как у ветхозаветного батрака, работающего на хозяина. Пожалуй, батрак даже больше ощущал насущную необходимость своего труда, чем современный ученик, так как труд для батрака был источником существования, перестань он трудиться — хозяин выгонит в шею,

он, батрак, умрёт с голоду. Над нашим учеником угроза нищеты и голода не висит — трудись ради навыков, люби труд. Больше шансов на то, что ученик, вместо того, чтобы полюбить такой бесцельный труд, возненавидит его вкупе с табуретками, унылыми картонными коробками и не менее унылыми наставлениями — «Возлюби труд».

Доход в роли педагога

Ученик вряд ли в будущем станет трудиться в одиночку, скорее всего он вольётся в какой-нибудь коллектив колхоза или завода, бригады строителей или транспортной организации, которые создают коллективные результаты труда — жилые здания, машины, центнеры хлеба...

Вспомним Макаренко. К сожалению, из этого талантливой педагога сделали парадную фигуру. А как часто парадную мишуру на выдающихся людей вешают те, кто хотел бы чужим блеском прикрыть собственную духовную серость. За спину Мичурина прятались подозрительные дельцы при биологии, порой за широкими плечами великого Павлова гнездились рутинёры-физиологи, некоторые театральные режиссёры прикрывали своё творческое бессилие именем Станиславского. Не избежал такой печальной участи и Макаренко.

Но вспомним его и зададим себе простой вопрос: почему ученики-макаренковцы охотно, даже с азартом убирали, скажем, грязную свёклу, ухаживали за свиньями? Эти ученики ещё недавно были испорчены беспризорщиной, они вовсе не видели смысла своей жизни в уборке свёклы или выгребании навоза, а мечтали стать инженерами, агрономами, врачами, красными командирами. И, тем не менее, работали с охотой, с азартом, отнюдь не из-под палки... Ясно, они чувствовали властный зов: «Нужно». Как, через что, какой силой Макаренко и его помощники заставили поверить их в этот зов?

Макаренко сделал одну важную вещь: сумел приобщить даже самого последнего колониста к результатам труда, к распределению дохода.

Доход — это слово напоминает нам скучные экономические выкладки. Но между этим бухгалтерским термином и понятием «жизнь» — прямая связь. Оттого, что заводы, обработанные поля, животноводческие фермы дают доход, появляются жилища, пища, машины, развиваются науки, рождаются высокие идеи и замыслы, расцветает искусство. Без прозаического дохода от прозаических предприятий не полетят в небо космические ракеты, художники не создадут новых Венер Милосских...

В колонии Макаренко текущие хозяйственные вопросы решал выборный Совет командиров. Наиболее важные вопросы выносились на общее собрание.

Чтобы что-то сделать по хозяйству, нужны какие-то средства. А откуда они возьмутся? Не с неба, не из кармана доброго дяди-мецената, а из доходов, добытых трудом. Решение хозяйственных вопросов во многом упирается в умение распределять доход.

Карл Маркс в «Критике Готской программы», разбивая лассалевский «неурезанный доход труда», раскрывает сложную сущность дохода. Каждый, кто с ним сталкивается, должен заранее учитывать и возмещение потреблённых средств, и выделение средств на расширение производства, на резервные фонды, на страховые фонды, на издержки управления, на удовлетворение чьих-то совместных потребностей — обучение, культурный досуг и т.п.

Это сухое перечисление говорит о том, что распределить доход непросто, нужно иметь опыт, навыки, нужно вглядываться, вдумываться, решать определённые хозяйственные задачи. Рядовой колонист колонии Макаренко в одиночку вряд ли бы справился с распределением дохода, он мог и не обладать достаточным опытом в организации хозяйства. Но этот колонист находился в коллективе, состоящем из опытных и неопытных, проницательных и непроницательных людей. Рядовой колонист вынужден был прислушиваться к тем, кто опытней его, учиться у них, словом, он как-то рос, развивался, совершенствовался. Распределение дохода становилось вместе с тем и школой жизни.

Труд создал человека, он продолжает его совершенствовать и сейчас. Эту истину мы часто повторяем, но ещё чаще забываем, что порой вне поля деятельности рядового труженика остаётся самая важная, наиболее способствующая развитию человека часть трудового процесса — распределение дохода.

Колонист вместе со всеми решил: «Нужно сделать то-то!» Нужно! Сам дошёл до этой необходимости, сам приказал себе, и уж ради этого «нужно» он готов на всё — порой отказывается от новых штанов, готов делать самую грязную, самую непривлекательную работу — выгребать навоз, таскать на носилках свёклу. Нужно! Осознаю! Не приходится благопристойно напоминать: «Люби труд». Труд — целеустремлён, каждый предвидит его результат.

Если мы хотим, чтобы труд воспитывал, то обязаны не только славословить Макаренко, но и воспользоваться его опытом, привлекать к организации труда каждого ученика. Тогда сами школы должны представлять из себя автономные хозяйства с уклоном в какую-либо отрасль промышленности или сельского хозяйства. Эти школы должны иметь свой доход, распределение которого — посильный долг каждого ученика, ибо только через распределение дохода можно приобщиться к результатам труда, осознать его высокую необходимость.

Свобода есть осознанная необходимость. Осознать необходимость труда — значит почувствовать себя свободным от унижительного ига, от его тяжести, и тем острее испытать радость от тех результатов, которые несёт труд. Радость достигнутого — самая значительная из всех доступных человеку радостей. Не это ли называется — полюбить труд?

Кроме того, участие в распределении дохода заставляет думать, набираться опыта, приобретать практически нужные знания.

И это не всё. При коллективном распределении доходов происходит постоянное общение труженика с тружеником, волей-неволей приходится внимательно прислушиваться к мнению товарища по работе, считаться с его взглядами, принципами, вкусами. Коллективное распределение дохода неизбежно будет влиять на взаимопонимание, а, следовательно, на укрепление товарищества, что весьма важно для общества.

Вот что такое распределение дохода!

Узкая специализация и широкий кругозор

Государству только на первых порах придётся взять производственные школы на полное обеспечение, со временем они сами начнут поддерживать себя, экономически крепнуть, возможно, даже целиком перейдут на самообеспечение. Возможно, но доход, экономическая выгода не должна стать самоцелью. Школа есть школа, нельзя превращать её в доходное место. Доход для школы — лишь могучий способ воспитания.

Могучий, но не единственный. Огромное количество знаний нельзя приобрести через распределение дохода, им нужно обучать.

Школа — не доходное место, поэтому работа на производстве не должна занимать у школьника много времени. Он обязан отрабатывать каких-нибудь три часа в сутки, остальное должно быть отдано учёбе, спорту, досугу. Макаренко не единожды жаловался на производственную перегрузку своих коммунаров, считал, что это сильно мешает воспитанию.

Время для учёбы — в первую очередь. Ученик производственной школы уже не ребёнок, он вступил в пору юности, он работает, создаёт реальные ценности, распределяет доход, наверняка должен постоянно сталкиваться с тем, что не хватает знаний. Его ставят к станку, от него самого зависит — ограничиться ли минимумом, освоить станок, или же узнать и принцип его работы, теорию, с ним связанную, а значит — физику и математику на соответствующем уровне. И здесь тоже к его услугам специальные группы, где можно изучать под руководством педагога любые науки. От его способности, от его настойчивости зависит — выйдет ли он из школы со знаниями квалифицированного техника, для которого с охотой откроют двери институты, или же выйдет рабочим со средней квалификацией. Всё зависит от индивидуальных способностей, а способностям — широкая дорога.

Все усилия нового обучения направлены к тому, чтобы ученик вошёл в русло специальности. И тут невольно возникает опасение — не сделает ли такое обучение людей узкими

и ограниченными, а значит, духовно бедными? Тонкие специалисты в своей области, слепые и несведущие во всём остальном, вплоть до слепоты в социальном плане, в отношениях друг с другом. И недостаточно, что школа преподносит какие-то общеобразовательные знания, как-то расширяет кругозор. Не исключено, что ученик, охваченный стремлением к чему-то одному, будет снисходительно относиться ко всему, что прямо не затрагивает его интересов. Правда, распределение дохода заставляет считаться с интересами других. Но это же распределение не сможет привить, скажем, глубину ощущений и тонкость вкусов. А мы должны стремиться к тому, чтобы человек был совершенен во всём.

И тут-то опять обратимся к искусству. Мы уже говорили, что оно становится одним из мощников обучения, проводником знаний. Но искусство способно и на большее, чем увлекательно преподносит физику или химию.

Очень часто необходимо научить человека не тому, чего он не знает, а заставить его проникнуться тем очевидным, давно известным, что не принимается в расчёт. Сколько людей знают, что следует быть честным и принципиальным — знают, однако же, пренебрегают этим. Научные рассуждения о подлости, какими бы доказательными они ни были, вряд ли будут воздействовать так, как действует, к примеру, образ Иудушки Головлёва. Конечно, наивно думать, что с помощью искусства можно излечить мир от пороков, но не пользоваться искусством, его влиянием, его эмоциональной силой — значит, обкрадывать самих себя.

Если та или иная наука, будь то математика или физика, химия или биология, несёт в себе некую специфичность, не всем в одинаковой степени необходима, то искусство нужно в равной степени всем — и математику, и химику, и биологу. Нельзя жалеть время на искусство!

Но нужно помнить ещё, что там, где начинают искусство преподавать — преподавать как науку, — оно вянет. Слова добросовестного учителя: «Пушкин в образе Евгения Онегина показал представителя вырождающегося дворянского сословия...» — неизбежно убивают поэзию. А что важнее — эта ординарная информация или пушкинская поэзия?

Искусство нужно всем! Нельзя жалеть время на искусство!

Народная копейка и будущее наших дней

Перейти на новую систему обучения — решить воистину революционную проблему. И тут неизбежны трудности.

Первая трудность самая банальная — затраты. Придётся создавать специальные киностудии учебных фильмов, переоборудовать каждый класс в кинозал. А гигантский расход

плёнки, а оборудование производственных школ механизмами, специальными помещениями! Бессмысленно в этих школах использовать механизмы, отслужившие свой срок, поступившие с завода и из ремонтных мастерских, по принципу: «На, боже, что нам не гоже». Человеку будущего необходимо знакомиться с техникой, какая соответствует нынешнему уровню, ребёнок должен учиться и трудиться в благоустроенных помещениях — школа не падчерица у государства.

Правда, есть слабые утешающие моменты в этом плане. Те же производственные школы, когда они окрепнут, будут давать какой-то доход, если не целиком станут обеспечивать себя, то наверняка окажутся самыми дешёвыми из всех школ, существовавших когда-либо.

Техника везде и всюду облегчает труд, сокращает число рабочих рук, даёт экономию. Наверно, при использовании кинофильмов не обязательно будет посылать в каждый класс на каждый учебный час учителя. Специализированные группы с их самостоятельным обучением помогут, вероятно, сократить число учителей. Там, где раньше работало трое, начнёт справляться один. Учителей в нашей стране больше двух миллионов, в будущем, по идее, это число должно вырасти. Сократить их количество — в интересах государства и в интересах самих учителей. Воспитатель грядущего поколения должен стать одной из самых уважаемых фигур в обществе, и долг общества обеспечить его так, чтоб он ни в чём не нуждался. Сокращение числа учителей даст возможность поднять их экономическое благополучие.

Государство должно быть готово идти на значительные траты. Карл Маркс указывал, что расход на просвещение «будет всё более возрастать по мере развития нового общества». Природа, которую учёные берут за пример скупости и экономичности, — даже природа, когда дело идёт о будущем того или иного вида, проявляет нехарактерную для неё расточительную щедрость. Вспомним школьный пример с одуванчиком или треской, которые, обеспечивая право на будущее своему виду, разбрасывают астрономическое количество семян и икринок. И здесь речь идёт о нашем будущем. Если мы хотим, чтобы наши дети построили совершенное общество и жили красивой жизнью, мы не имеем права скупиться на их воспитание.

Быть может, самым успокаивающим сообщением явится то, что государству не придётся вкладывать затраты сразу, оптом, в какой-нибудь один или два года.

Не придётся потому, что переход от старой школьной системы к новой не может быть быстротечным, как взрыв, как лобовая атака, как революционная кампания, требующая сжатых сроков и ударных темпов. Этот процесс непременно должен растянуться на какое-то количество лет, возможно, на десятилетие-другое.

Школа не только откладывает отпечаток на ученика, она откладывает отпечаток и на учителя. Вот уже несколько веков учителя преподают по классно-урочной системе, этому учи-

ли их в институтах, это закреплялось практикой и традициями, прочно вошло в кровь и плоть. Миллионная педагогическая армия не может быстро перестроиться. Учитель перестаёт быть глашатаем знаний, он становится скорее исследователем ученика. Надо переучиваться. А учиться-то приходится чему-то неуловимому — творческому подходу, его не вызубришь как правило правописания.

Старую, устоявшуюся веками, не удовлетворяющую нас, но всё-таки функционирующую систему можно сломать и быстро: ломать — не строить, — но как бы не оказаться потом среди развалин.

Я на свой страх и риск сделал черновое, возможно, не квалифицированное предложение. Это не проект, не теория, а гипотеза. Её цель одна: давайте поговорим, давайте подумаем.

Недавно академик В.А. Энгельгардт в одном из своих выступлений сказал, что плохо, когда учёный-первооткрыватель имеет под рукой всего одну рабочую гипотезу, только одну, — тогда она становится чем-то вроде единственного ребёнка для матери, к ней особое пристрастие, особая любовь. А это может ослепить, помешать беспристрастному отношению к делу. Лучше, когда гипотез несколько, одна опровергает другую.

Я пробую предложить гипотезу, и плохо, если она будет единственной. Должны идти споры, обсуждения, всеобщие поиски. Будем считать — перчатка брошена, готов вынести заслуженные колотушки, если что-либо сказал опрометчиво или же по неведению изобрёл в педагогике деревянный велосипед.

Старая школа глушит способности личности, новая обязана их развивать. Вот в этом направлении и нужно думать.

1965 г.



А. Д. Сахаров
Фрагмент фотографии Юрия Ростя,
работы которого
особенно ценит В.Ф. Тендряков

ПИСЬМО АКАДЕМИКУ А.Д. САХАРОВУ

Уважаемый Андрей Дмитриевич!

Навряд ли мне нужно уверять Вас в том, что я один из многих и многих, кто пристально следит за Вашей общественной деятельностью, отдаёт себе отчёт о её самоотверженном характере, удивляется Вашему мужеству, не сомневается в Вашей высокой честности. Хочу думать, что и Вы в свою очередь имеете обо мне какие-то, пусть случайные и отрывочные, сведения, но достаточные, чтоб поверить в мою непредвзятость и искренность.

Я только что прочёл Вашу последнюю работу «О стране и мире», вспомнил Ваши предыдущие работы... Меня уже тогда поражало в них сочетание человеческой чистоты и неподкупной требовательности с весьма упрощённым, более того — наивным подходом к общественным проблемам. Упрощённое понимание болезни неизбежно ведёт и к упрощённому, а значит и не действенному, методу лечения. По первым статьям я не считал себя вправе со-ваться к Вам с критикой. То, что не удовлетворяло меня тогда, могло быть приёмом, локальной позицией, просто начальным этапом поиска. Но вот Ваша третья работа, расходящаяся по всему миру, и я вдруг почувствовал: промолчать — преступление. Если не обмениваться мнениями, избегать спора, то можно ли рассчитывать на рождение истины. А истины-то в данном случае имеют общественный характер.

Широко распространённое убеждение: в нашей стране тоталитарность, бюрократизм, грубое попираание прав гражданина, отсутствие свободы слова и пр. и пр. оттого только, что во главе государства засела коррумпивная кучка личностей, которым чужды какие-либо нравственные нормы, гуманные понятия, передовые взгляды. Стоит от них потребовать — измените свои взгляды и поведение, а ещё лучше сменить стоящих у власти лично непривлекательных людей на более гуманных и демократичных по натуре, — как общество исправится, его язвы исчезнут.

В несколько более усложнённом плане это убеждение присутствует и в Вашей работе, в ней звучит настойчивый

Неотправленное письмо
А.Д. Сахарову
найдено в архиве
В.Ф. Тендрякова.

Первая
публикация:
Владимир
Тендряков.
Письмо
академику
А.Д. Сахарову /
Вступление и
публикация Марии
Тендряковой //
Знамя, 2018, №11,
с. 150-157.



призыв: откажитесь от тоталитаризма и бюрократизма, дайте демократические свободы, разрешите такие-то права! И создаётся впечатление, что достаточно доброй воли государственных руководителей, высокого декрета с их стороны и — требования исполнятся, порочное исчезнет, благое появится. Вы уже не рассчитываете, что косные руководители совершат это под давлением своего народа — «люди нашей страны тотально зависимы от государства, и оно поглотит каждого, не поперхнувшись». Приходится рассчитывать на нажим извне, со стороны других могущественных государств, скажем США, — пусть их общественность потребует, нажмёт, заставит, вызовет международные осложнения, добродетельно спасёт нас от собственного несчастья.

Допустим на минуту — высокий руководитель, типа Хрущёва или Брежнева, обладающий неограниченной властью, вдруг примет эти требования, проникнется горячим желанием провести их в жизнь. Удастся ли тогда ему ликвидировать тоталитарность и бюрократизм, объявить росчерком пера демократические свободы? И не было ли в нашей истории случая, когда подобные похвальные желания пытались реализовать наше высокое руководство?

Было. Тот же бюрократизм пример тому. Не думайте, что бюрократ невыносим только для простого труженика. В меньшей степени распространение бюрократизма мешало и государственным руководителям. Низовые бюрократы, подходящие к делу формально — абы отчитаться и с плеч долой! — тормозили развитие индустрии, снижали продуктивность, ослабляли мощь страны. Право же, в интересах высоких руководителей — ликвидировать бюрократизм. И Ленин едва ли не в первые же месяцы своего прихода к власти, как никто, решительно выступал против этой болезни, называл её «грозной опасностью». И он же, спустя три года, подводит печальный итог борьбы, говоря, что зло стало ещё грозней. Можно не сомневаться, Сталин, если б мог, охотно уничтожил бы низовых бюрократов, оставив лишь за собой право прибегать к бюрократическим приёмам. А разве Хрущёв не пытался воевать против бюрократов, но добился лишь одного — многократно их расплодил. Только голая предвзятость может помешать увидеть очевидное — высокое руководство страны порой загоралось, право же, благими порывами и... в бессилии отступало.

Если оно бессильно было уничтожить бюрократизм, то почему мы должны рассчитывать, что справимся с задачей уничтожения тоталитарности или демократизации страны? Не следует ли нам разобраться — какова степень возможности наивысших руководителей, свободны ли они в своих поступках?

Но прежде, — увы, придётся отступить и поговорить — насколько вообще поступки любого человека зависят от его воли и его личных желаний.

Тривиальная очевидность — даже поведение животного определяется его окружающей средой. Кошка всю жизнь может прожить в городской квартире и не проявить врождённых инстинктов хищника. Не на чем — нет мышей.

Человек острее воспринимает среду, глубже в неё проникает, неизмеримо тоньше животного предугадывает те последствия, которые могут произойти от столкновения с окружением. А потому окружающая среда сильнее воздействует на поведение человека, на его поступки.

Для отдельной же личности самой существенной, самой влиятельной частью окружающей среды является её человеческое окружение. Ни с какими проявлениями природы отдельный человек так часто не сталкивается, как с внешним окружением себе подобных, ни от чего так не зависят его поступки, как от других людей.

Самый простой бытовой пример. По пути с работы мне необходимо забежать в магазин, купить колбасы на ужин. А к прилавку — очередь. Я голоден и устал, моё насущное желание — быстрее купить колбасы, быстрее попасть домой, насытиться, отдохнуть, — но я стою, терпеливо жду, пропускаю к прилавку других. Очередь, состоящая из других людей, диктует мне поступки, противоречащие моим личным желаниям, моей воле.

Обратим внимание на факт — я подчиняюсь не просто людям, а очереди, некоему человеческому построению. И если мы внимательно приглядимся, то увидим — наше человеческое окружение почти никогда не бывает в виде бесформенной массы, всегда как-то построено. Очередь к прилавку — самое примитивное, сугубо временное человеческое устройство, но устройство с определённой функцией, требующее от меня, коль я оказался его членом, строго определённого поведения. Если я захочу поступать по своим личным желаниям, сообразуясь только со своей волей, мне придётся нарушить это построение, упорядоченность заменить хаосом. А любая, пусть самая несовершенная, упорядоченность всё же лучше полной дезорганизации. Люди, лезущие неорганизованно за колбасой, сокрушающие друг другу рёбра, согласитесь, весьма неприглядное в плане человеческого поведения явление.

Очередь к прилавку — примитив, а тот коллектив людей, в котором я работаю (завод, учреждение), уже куда более сложное устройство. И оно тоже диктует мне поступки, весьма часто вопреки моим желаниям и моей воле.

Общество, в котором мы живём, конгломерат народов, объединённых одним управлением, — тоже грандиозное построение. И личность, находящаяся внутри этого сложившегося устройства, не может поступать как ей заблагорассудится — зависима, несамостоятельна, малая частица действующего целого. Зависима и несамостоятельна любая личность в каком бы месте общественного механизма она ни находилась. Любая! В том числе и та, что держит в своих руках кормило власти, признаётся всеми неограниченным диктатором.

Попробуем представить принципиальное устройство нашего общества. Это не столь уж и трудно сделать, его принцип в своё время объявил Ленин: «Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства». Заметим, что провозгласить это Ленина

заставили самые благородные намерения — добиться заветного равенства в обществе. Все без исключения служащие по найму, хозяева-частники аннулируются, все на одинаковом положении, все равны.

И вот, как только этот нехитрый принцип начал воплощаться в жизнь, заманчиво-благородные надежды равенства начали не просто рассыпаться, а перерождаться в некую устрашающую противоположность. Служащий утрачивает равноправие ещё тогда, когда только-только собирается им стать — в момент найма на службу. И в самом деле, служащий потому и называется служащим, что кому-то служит, находится в чьём-то подчинении — человек подневольный, сам себе не принадлежит.

Все служащие, все зависимы, один надзирает за другим, младший по службе подчиняется старшему, старший более старшему и так далее — иерархическая пирамида, схематическая конструкция нашего общества.

Если в ней, где-то внизу, какой-то младший служащий не окажет повиновения, не выполнит приказ свыше, то его начальник, стоящий на следующей ступени, против своей воли тоже незамедлительно окажется неповиновущимся, а следующий над ним — тоже, и т.д. и т.д. Одно неповиновение плодит множество, болезненно отзываясь на всей системе, грозит развалом. Но как незавиден такой порядок, всё-таки он лучше полного беспорядка, нет ничего хуже, когда каждый не сообразует свои поступки и действия с другими. Тут уже общество перестаёт быть обществом, неорганизованное сборище людей не в состоянии наладить производство, признавать единые законы, в том числе и моральные, сильный станет проявлять насилие над слабым, вооружённый над безоружным, разруха и голод охватят страну, понятия нравственности отойдут в область преданий.

Для системы, где все служащие по найму, повиновение — жизненно важный фактор. Никогда ещё в человеческой истории оно, повиновение, не играло такой значительной роли. Если раб не повиновался, господину наносился определённый урон, но [неповиновение раба] не заставляло его не повиноваться своему кесарю. Неисполнительность крепостного не вынуждала сеньора быть сразу же неисполнительным по отношению к королю, равно как бастующий рабочий не делает забастовщиком капиталиста перед правительством. Тем не менее [если] при всех предыдущих формациях неповиновущих[ся] наказывали с соответствующей жестокостью, то уж общество служащих должно бороться с неповиновением с удесятёрённым рвением. Удивительно ли, что у нас проявляется жестокий тоталитаризм, настороженное до болезненности к любым, даже крайне слабым, проявлениям демократизма — опасно, грозит развалом, дезорганизацией! Действующая система обычно стремится к самосохранению.

Ленин искренне желал демократии, вслед за Марксом он повторял о необходимости установить власть «массы над кучкой, а не наоборот». Но буквально через полгода после революции он заявляет о «подчинении воли тысяч воле одного». Что это — предательство своих прежних принципов, бесстыдный ход политика, желающего превратиться в еди-

новластного самодержца? Ой нет, службистское устройство оказалось несовместимым с властью «массы над кучкой», оно развалилось бы, превратилось в неуправляемый человеческий хаос, ему жизненно необходимо подчинение «воли тысяч воле одного». Ленин и рад бы да не в состоянии действовать демократически, он вынужден был отказаться от своих прежних благородных желаний, успокаивая себя тем, что, авось, каким-либо образом они исполнятся в неопределённом будущем.

И только детски наивный человек решился бы выставить перед Лениным требования: уничтожь тоталитарность государства, разреши демократические свободы! С таким же успехом можно потребовать от водителя автомашины: подыми её в воздух, соверши на ней перелёт. Увы, не та конструкция.

Наши нынешние правители находятся в общественном устройстве, которое принципиально не изменилось со времени Ленина — по-прежнему у нас все граждане служат по найму у государства, по-прежнему ступенчатая службистская иерархия держится на жёстком дисциплинарном повиновении, требующем тоталитарности, не совместимой с демократизмом. Чтоб отделаться от этой тоталитарности, получить демократические свободы вкупе с гражданскими правами, записанными в известной Декларации, необходима не добрая воля и согласие правителей, а структурное изменение нашего общества — принципиально иное построение, отнюдь не службистское.

А какое? Кто это знает? Мы даже не даём себе труда задуматься над тем, в каком устройстве сейчас живём, как оно функционирует, как движет личностью, а уж проникновение в устройство будущее... да боже упаси, темна вода в небесах!

Вы можете мне возразить: а зачем нам ломать голову, искать какое-то новое общественное устройство? Есть же готовый образец — общественное устройство развитых стран Запада, где отсутствует жёсткая тоталитарность, существуют вождеделенные демократические свободы. Нам лишь остаётся перенять, пересадить на свою почву.

Я, право же, с трудом представляю эдакую революцию навыворот, когда общество, живущее уже без малого шесть десятилетий на базе государственной собственности, вновь повернёт к частному предпринимательству. Пришлась бы уйти далеко в сторону, чтоб разобрать те, на мой взгляд, непреодолимые осложнения, с которыми столкнётся общественность в этом революционном кульбите — назад через голову! Но предположим, что он возможен, и тут я позволю себе задать вопрос — а капиталистическое устройство Запада так ли уж идеально, не лишено ли и оно своих недостатков?

Для Вас, возможно, прозвучит крамолой — меня, например, не устраивает сама демократия Запада.

Принято считать — мнение большинства самое правильное, воля масс наиболее разумна по характеру. Опять широко распространённое заблуждение. Кому-кому, а уж Вам, как

учёному, должно быть известно, что самые верные идеи в науке, самые пронизательные открытия возникали сразу не в массах голов, а рождались сначала у одного или считаных единиц, в головах людей исключительно выдающихся из масс, своеобразных чемпионов прозорливости. Не массы открыли гелиоцентричность, а Коперник, массам же понадобилось около двух столетий (!), чтоб преодолеть свою косность мышления, понять коперниковское. Если в науке массам присуща косность понимания, то почему в общественном мышлении они должны быть более пронизательны, не косны? Почему в науке не считается нужным руководствоваться большинством голосов, а в жизни общества это должно делать — подчиняться мнению масс, считать их руководством к действиям?

Вглядимся в демократические выборы в США, где самый непосвящённый, никогда не задумывающийся над общественными проблемами человек имеет такой же голос, как и выдающийся учёный социолог. Выдающийся ум встречается крайне редко, заурядности — подавляющее большинство. Голоса заурядно мыслящих решают, с ними в первую очередь считаются политики. С невежеством не борются, к нему применяются. И какая тут благодатная почва для нечистоплотных махинаций, для обмана, для беспринципного ловкачества. Право, я не хотел бы перенести всё это в наше будущее. Уж если мы стремимся избавиться от своих недостатков, то какой смысл тащить к себе недостатки чужие. Ей-ей, копирование существующих систем не выход, надо искать нечто принципиально иное.

У Вас, боюсь, создаётся впечатление, что я вообще против демократии, против масс, эдакий, прости господи, мизантроп, спесиво относящийся к людям. Просто я не считаю демократией то, что сейчас существует на Западе, из своего далека дразнит наше воображение. Массово заурядная мысль и воля в конечном счёте приносит тяжкий вред самим массам, опасно осложняет их существование. А на кой ляд демосу вредное самовластие! В людских интересах жить по тем законам, которые открывают наиболее талантливые представители рода человеческого. А потому перед массами следует не угодничать, а учить их. Как поднять духовный уровень масс — вот, на мой взгляд, непреходящая задача истинных демократов, то есть той части прогрессивной интеллигенции, которая болеет за народ.

К сожалению, вот уже едва ли не два столетия прогрессивная интеллигенция преимущественно устремлена к борьбе, к силовому воздействию на существующие правящие круги и пренебрегает осмыслением происходящего. Без конца повторяется сказка про белого бычка, — в своё время активные борцы с капитализмом выступали за некий гипотетический коммунизм, имея о нём весьма и весьма смутные представления. Что получилось из такой борьбы, мы уже знаем. Нынешние борцы за демократические свободы ещё меньше прежних знают, как выглядит вождёленное будущее. Чем же они, собственно, отличаются от «женихов революционной Пенелопы» прошлого?

Вы в последней работе даёте красноречивый образец современного «прогрессивного» мышления. Вы пишете: «Необходимы демократические реформы, затрагивающие все сто-

роны жизни, будущее страны — в ориентации на прогресс, науку, личное и общественное нравственное возрождение». Необходимы, ой как необходимы! Но какими общими, пустыми словами выражена эта необходимость, можно ли от них обогатиться хоть крупинцей знания о предстоящих реформах. Звук и нечто, не несущий смысла. И далее: «Нельзя ограничивать пути этого возрождения только религиозной или националистической идеологией, или какими-либо патриархальными устремлениями в духе Руссо. Никто не должен рассчитывать на быстрое и универсальное решение великих проблем. Все мы должны набраться терпения и терпимости, соединяя их, однако, со смелостью и последовательностью мысли...». Можно было бы приветствовать Вас за эти слова, если б Вы ещё подсказали эту смелую и последовательную мысль, а не продекларировали её учительским тоном. Вы не считаете, что следует рассчитывать исключительно на религию, как это провозглашают другие, хотя бы тот же Солженицын. Но тем не менее Вы пишете: «Ведь не случайно религия и философско-этические жизнеутверждающие системы, например, близкие взглядам Швейцера, обращают своё внимание к человеку, а не к нации, именно человека призывают к осознанию вины и помощи ближнему».

Задумаемся: случайно ли эти призывы религии (и прочих с нею «жизнеутверждающих систем») к человеку — осознать вину, любви ближнего, не убий, не укради, не лжесвидетельствуй и пр. — не привели к ощутительным результатам, хотя и воздействовали в течение тысячелетий? А как быть с теми случаями, когда человек принимал и осознавал благое, но, попадая в жёсткие условия, поступал вопреки своему благородному осознанию, вопреки своим личным стремлениям и желаниям. Осознавал, например, что сеять кукурузу у полярного круга бессмысленная и вредная деятельность, а вынужден был сеять. Глубоко был убеждён, что убийство преступно, но, попадая в действующую армию, убивал.

Оглянитесь, над чем мы, собственно, бьёмся, какие проблемы решаем — проблемы взаимоотношения людей друг с другом. И при этом предлагается «обращать своё внимание к человеку», отдельно взятому, изолированному от других. Не к группе взаимосвязанных между собой людей, не к нации, представляющей общество, определённым образом построенное и взаимосвязанное, — к абстрактному, вырванному из своей среды индивидууму! И этим-то рассчитывать упорядочить людские взаимоотношения! Возможно ли?..

Мы жаждем новых преобразований, но пытаемся открыть новое старыми-старыми приёмами, которые уже из-за своей обветшалости не удовлетворяли наших предшественников. Новые подходы могут быть найдены только через осмысление. А тут-то мы сейчас слабы, и что хуже всего — не замечаем своей слабости — вещаем желаемое и тем ограничиваемся.

Я вовсе не хочу сказать, что не приемлю начисто всю Вашу работу — благодарен Вам за неизвестные мне сведения, касающиеся разоружения, не собираюсь Вас оспаривать по вопросу выбора страны проживания, хотя и не считаю этот вопрос столь уж и важным в ряду огромных проблем. Вы применили в естественных науках большой познавательский талант, я, как читатель, вправе рассчитывать, что он проявит себя и в общественной

жизни. А потому я жду и буду от Вас ждать не просто неких решительных заявлений, какие могут произнести и опалённые жаждой справедливости, бесхитростно прямолинейные мальчишки, типа Вл. Буковского, а чего-то такого, неведомого, что углубит нашу пока скудную общественную мысль.

Надеюсь, то, что я не промолчал, а заговорил с Вами без дипломатических ухищрений, без сглаживания острых углов, Вы примете как доказательство моего неравнодушия к Вам, моей искренности.

Уважающий Вас – В. Тендряков
9 декабря 1975 г.

Послесловие-комментарий Марии Тендряковой

Письмо А.Д. Сахарову найдено в архиве В.Ф. Тендрякова. Первый экземпляр, отпечатанный на машинке, подписан от руки и вложен в конверт, конверт не надписан. Насколько нам известно, письмо не было отправлено.

Почему не отправлено?

Ведь девять машинописных страниц, – продуманный, выверенный по точности изложения мысли текст. Мы знаем, что папа обычно много правил написанное, что-то переделывал, уточнял, переформулировал, и даже «чистый» вариант хранит следы такой правки. В концентрированном виде в письме содержится то, что было развёрнуто В.Ф. Тендряковым в виде серии рассказов и публицистических работ о религии и нравственности, демократии и тоталитаризме, о социальных структурах, в которые встроены человек и которые заставляют его действовать тем или иным путём. Это письмо не простая констатация расхождения во взглядах, а шаг навстречу диалогу.

Такие разговоры, очные и эпистолярные, были главной питательной средой для писателя, который большую часть времени писал «в стол», не надеясь увидеть свои работы опубликованными.

Вечерние многокилометровые прогулки с психологом А.Н. Леонтьевым, снимавшим летом дачу по соседству. Перечень собеседников, с которыми «везло», очень разнообразен. Временами, всегда неожиданно и без предупреждения на нашей аллейке выростала массивная фигура Роя Медведева, с ним шёл обмен книгами (теми самыми, за которые давали срок) и мнениями. Из ГДР прилетал издатель и переводчик Ральф Шредер – и следовали

долгие часы чтения вслух рукописей «из стола». Среди друзей были физики П.Л. Капица, В.Л. Гинзбург; Виктор Некрасов, некогда одарённый высшими государственными наградами, потом попавший в суровую опалу; археолог и диссидент Г.Б. Фёдоров, кибернетик Я.Н. Лугинский, который был главным консультантом во всём, что касалось вычислительной техники; когда писался роман «Покушение на миражи», он даже организовывал папе специальную экскурсию в Главный вычислительный центр и встречу с программистами... Как ни узок был круг «тех, с кем приходилось содержательно беседовать», я упомянула лишь немногих. Все эти разговоры были далеки от гладкой бесконфликтности, это были споры, взрывы эмоций, интеллектуальный натиск. Искали общий язык, порою не находили, разбегались, с кем-то на время, а с кем-то навсегда... К одним сам В.Ф. Тендряков относился с великим пиететом, особенно если собеседник был из старшего поколения, отступался, щадил, но оставался при своём...

Так почему же письмо А.Д. Сахарову не отправлено? Ведь оно могло стать началом разговора о том, что для обоих было важнее всего? Страх общения с диссидентом отвергаю. Вот уж к чему никогда не прислушивался, так это к советам или угрозам нашего государства, с кем дружить, с кем не дружить, отношение всегда отстраивалось только своё, личное. К тому же можно было просто не писать. Сейчас нам остаётся только гадать, почему В.Ф. Тендряков, написав письмо, не отправил его А.Д. Сахарову.

Письмо датировано 9 декабря 1975 года. Из биографии А.Д. Сахарова известно, что в 1975 году ему «была присуждена Нобелевская премия мира. В советских газетах были опубликованы коллективные письма деятелей науки и культуры с осуждением политической деятельности А. Сахарова». Нобелевская премия обернулась новой волной гонений на Сахарова и организованным потоком писем в прессе и адресованных ему лично, в которых его критиковали и обвиняли во всех грехах целыми коллективами и в одиночку, простые рабочие, знатные доярки и выдающиеся деятели науки и культуры. Убийственные формулы гражданского остракизма и истерическая ненависть таких посланий хорошо известны.

Думаю, что в этой атмосфере всеобщего «ату его» В.Ф. Тендряков решил письмо не отправлять, всё-таки он тоже Сахарова критикует. Не захотел попадать в общий поток негатива, не это сейчас надо человеку, когда и так вся тоталитарная система навалилась на него и душит. Хотя содержательно критические замечания Тендрякова по поводу реформаторских идей Сахарова ничего общего с развязанной травлей не имели – это из письма очевидно.

Письмо пролежало в архиве более сорока лет. О письме домашние ничего не знали. Конкретно о нём В.Ф. Тендряков не говорил. Но не раз была свидетелем, что по ходу упоминаний о Солженицыне (он был знаком, встречались, уважал его за правду о сталинизме, но категорически не принимал его взглядов уже тогда, в 1970-е годы), при разговорах об уповании на спасительность религиозного возрождения или других диссидентских для того времени идеях, с которыми был не согласен, – папа говорил, что лишён возможности возражать и спорить. Любое его возражение было бы на руку той системе, с которой

он и сражался, и восставал против неё по самому большому счёту: заложенные в основу советского социально-экономического устройства отношения чреватые тоталитаризмом. Все репрессии, сталинизм с его культом личности, преследование инакомыслия — всё это не «сбились с пути», не цепь ошибок, не хороший или плохой правитель, а закономерные плоды жизнедеятельности социалистического Левиафана. Это открытие он совершил, сидя за письменным столом. Как мог, говорил об этом, «протаскивал» эти мысли в публикуемое, поручал озвучить своим героям:

«В своих произведениях я высказываю не чьи-то мысли, не чьи-то ощущения, а только свои. Именно для их выражения я и призываю на помощь различных литературных героев, как разделяющих мои взгляды, так и отвергающих их».

(Из ответов читателям. Архив)

Но основные размышления писались «в стол» или «проворачивались» в разговорах в своём узком кругу.

Письмо так и осталось неотправленным. Скорее всего, сам автор письма счёл критику А.Д. Сахарова неуместной.

Счёл бы В.Ф. Тендряков уместным содержание этого письма сейчас? Ведь там разговор не только о безысходности советской тоталитарной системы — с этим всё ясно и Сахарову, и Тендрякову. Вопрос, как из этого выбраться? В письме же и критика демократического устройства — тоже несовершенно, тоже свои изъяны. Только не надо путать и смешивать эти критические размышления с тем, что творится сейчас. Это не противостояние типа «мы уникальны, и Запад нам не пример», а разговор об издержках уравнивания всех мнений в праве решать судьбу страны и общества. Это вопрос о правде меньшинства, тогда, в 1970-е, об этом ещё не было и речи. Эта тема и сейчас только прокладывает себе дорогу.

Как бы удивились диссиденты и инакомыслящие эпохи социализма, если бы узнали, что в наши дни, в России XXI века, слова «демократия», «либерализм», «свобода личности» стали звучать как обвинительный вердикт. Насколько мы теперешние далеко ушагали от понимания основных ценностных ориентиров человеческого бытия!

Диалог *А.Д. Сахаров — В.Ф. Тендряков* так и не состоялся. Как и многие другие диалоги. Как многое осталось непроговоренным, не озвученным вслух, непережитым. И продолжает оставаться. На одни темы накладывает свой запрет патристичный Левиафан, другое сами забываем и замалчиваем, бежим бередящих душу страниц истории, говорим о них в прошедшем времени, списываем их в прошлое. А оно никуда от нас не девается, прорастает в будущее, грозит и грезит возвращением.



В.Ф. Тендряков в лодке-дoblёнке на Валдае

ШЕСТЬДЕСЯТ СВЕЧЕЙ



Кто из нас знает,
сколько человек
он обидел...

К. Чапек

Иллюстрация В.Ф. Тендрякова
к рассказу А.П. Чехова «Детвора»

Повесть

1

В зале потушили свет, и ресторанные музыканты — ударник, скрипач, пианист, известные в городе под общим названием Три Жорки — заиграли туш. Из распахнутой, сияющей потусторонним светом двери в торжественную темноту горячим букетом вплыл зажжённый торт. Нервные золотые зёрна свечных огоньков, натужно красный пещерный свет, беспокойный блеск стеклянных подвесок в воздухе и сократовский лоб пожилого официанта...

Шестьдесят свечей на юбилейном торте. Как внушительно это выглядит!

Официант со лбом Сократа поставил трепещущий торт передо мной. И я снова удивился его горячему изобилию: шестьдесят свечей, собранных в одно место!

Ещё вчера по проспекту Молодости проходил обычный человек в серой фетровой шляпе, в тёмно-синем длинном пальто, старый, почтенный, но не настолько, чтоб в минуту наступления обеденного перерыва продавщица бакалейного киоска не осмеливалась хлопнуть перед его носом окошечко: «Вас много, а я одна!» Вчера я был простым учителем, каких тысячи в нашем городе.

Сегодня на первой полосе нашей городской газеты помещён мой портрет — солидно носатый, с недоуменными кустиками бровей, с мятыми щеками-мешочками. Шестьдесят лет никто не выделял меня из числа других, а неделю назад вдруг оказалось, что я не простой учитель, а старейший, горожанин не такой, как все, а единственный в своём роде.

Наш город Карасино молод, очень молод. Он много лет переживал своё бурное рождение и бурный рост, жил в строительных лесах, в густой непролазной грязи, в строительном хаосе цементных плит, разбросанных труб, завале битого кирпича. Наконец-то строительство вместе с непролазной грязью отодвинулось на окраины, а город обрёл себя. Быть может, он и не был в числе красавцев, но, право же, имел всё, что присуще любому городу: многоэтажные дома с балконами и даже лоджиями, витрины магазинов, выпирающие на мостовые, широкие прямые улицы со светофорами, переходами типа «зебра», милиционерами-регулирующими в белых ремнях. У нас два Дворца культуры, около десятка кинотеатров, лодочная станция, уважаемый ресторан «Кристалл» с ультрасовременной джазовой музыкой братьев Шубниковых, в просторечии просто Жорок.

Город Карасино возник, и это стало очевидным фактом для других городов страны и для него самого, ему теперь не хватало только своих традиций и своих героев. Не героев-строителей — крановщиков, экскаваторщиков, монтажников, каменщиков, а героев-жителей, героев-граждан.

И вот я, рядовой учитель, один из многих, Николай Степанович Ечевин, оказался в героях.

Мне исполнилось шестьдесят лет. Гороно послал соответствующие бумаги в соответствующие учреждения: почтить, наградить, присвоить звание. И там, наверху, проглядывая посланные на меня бумаги, кто-то из дотошных удивился:

— Позвольте, тут написано, что он родился в Карасино...

— Да, он здешний.

— И он все шестьдесят лет тут так и жил?

— Если не считать нескольких лет учёбы в педучилище.

— Но здесь написано, что он сорок лет непрерывно работает в школе. В какой школе он работал? Разве в деревне Карасино школа была?

— Была, и, представьте, известная всей России. Да в какой-то степени она и до сих пор существует.

Оказывается, юный город Карасино — не без роду, не без племени, нашёлся живой свидетель и участник его истории. Я некий прародитель города, первый его гражданин.

Мой портрет в городской газете, видные руководители, отцы города, съехались на мой юбилей в ресторан «Кристалл». Три Жорки играют в честь меня туш.

И шестьдесят свечей собраны в одно место. По году на свечу, годы растянуты по всей жизни.

2

Кончились чествования, забылась газета с моим портретом — брови кустиками, грациный нос. После этого, наверное, я бы должен с грустью сообщить: «Жизнь моя потекла по старому руслу».

Так-то оно так, по старому. Я, как обычно, вставал в семь, не спеша умывался, обстоятельно брился, вдумчиво завтракал под покорным, кроличьим взглядом моей больной, располневшей жены. Потом я скидывал пижаму и опять не спеша, обстоятельно одевался — галстук под хрустящий воротничок, жилет, пиджак с побелевшими от многократной чистки швами, серая, многоношенная, но сохранившая форму шляпа, тёмно-синее пальто, старое, добротное, монументально-тяжеловесное.

Я живу далековато от школы, но транспортом пользуюсь редко. Утром я люблю не спеша пройтись, вот уже несколько лет встречаю на пути одних и тех же людей... Тучного, с толстой палкой и закрученными усами а ля Ги де Мопассан мужчину в какой-то форменной тужурке, долговязого молодого человека с рыжей бородкой и не вызывающими доверия ласковыми, бархатными глазами, утконосную девицу, прогуливающую слюнявого поджарого боксёра, встречаю многих, о которых затруднительно что-либо сказать, но я их помню и по выражению лиц вижу, они помнят меня.

Когда я переступаю порог своей школы, прохожу по вестибюлю мимо гипсового пионера со вскинутой рукой, часы у раздевалки показывают без семи минут девять.

Шестьдесят свечей отгорело на юбилейном торте. По году на свечу.

Не то чтобы я прежде совсем не ценил себя — нет! Я необходим, но моя полезность похожа на полезность опорного болта, таких болтов много.

Но вот меня заметили — оказывается, не такой уж я стандартный. Я разрешил убедить себя в этом. Каждый человек индивидуальность, не похожая на других. Хорошо бы каждому изредка напомнить со стороны: «Ты уникален! Ты никем и ничем не заменим!»

Как у любого из нас, у меня были свои недоброжелатели (не хочу называть их врагами — слишком!). Наивно думать, что они все вдруг стали моими преданными друзьями. Но раньше я постоянно на них наткнулся — ранил себя, ранил их. Сейчас же я легко и как-то всепрощающе их не замечаю...

Кончились чествования, забылась газета, возвеличивающая меня, но осталась праздничность. И я думал, подмывающее ощущение этой праздничности будет согревать меня до конца моих дней.

3

Прошёл месяц с небольшим. Всего месяц! Мне ещё продолжали приходиться поздравительные письма и телеграммы. В каких-то уголках страны мои бывшие ученики узнали, что их школьному учителю стукнуло шестьдесят.

Был вечер, над моим столом горела лампа. Несколько писем лежало в стороне, я не спешил их распечатать. Сперва надлежало съесть рабочую похлёбку, потом уже, смакуя, проглотить сладкое.

Передо мной была стопка сочинений десятиклассников.

Я преподаю историю в седьмых — десятых.

Люблю историю... Когда-то к событиям давно минувших веков я относился с молодой страстностью. Я лютой ненавистью ненавидел Святополка Окаянного и восторженно почитал Святослава Игоревича. Все столетия были переполнены моими личными друзьями и недругами. Детское неравнодушие, им частенько болеют даже прославленные историки.

Давно уже нет у меня личного отношения к Святополку Окаянному. Плох он или хорош, наивный вопрос. Он просто часть того времени, той далёкой жизни, той почвы, из которой выросли мы с вами. Если бы Иван Калита оказался человеком благородным, то вряд ли ему удалось бы под татарским игом сколотить сильное Московское княжество. Беспринципная лесть и неразборчивое ловкачество — оружие Калиты, не будь его, как знать, сколь долго существовала бы ещё татарщина и как бы выглядела теперь наша Россия?

Люблю историю такой, какая есть! Что бы ни случилось со мной, со страной, со всем миром, я уже знаю — бывало и не такое, ничему не удивляюсь. Люблю историю и заставляю серьёзно, не по-детски любить её своих учеников.

Раз в неделю они должны мне написать сочинение. Тема может быть самой неожиданной. По программе ты проходишь революцию 1905 года, а я прошу написать тебя об Иване Грозном. Ты должен знать всё, что в веках предшествовало этой революции, даже то, что, казалось бы, никоим образом не было с нею связано.

Меня считают беспощадным учителем, зато скажу, не хвастаясь: мои ученики всегда поражают на экзаменах широтой знаний.

Стопка сочинений десятого «А» класса на моём столе. Каждое, в общем-то, бесхитростно утверждает: «Борьба Ивана Грозного против родовитых бояр носила прогрессивный характер...»

Сочинение Лёвы Бочарова. Я его всегда жду, не скрою, настороженно.

Если другие ученики страдают обычно от недостатка способностей, то несчастье Лёвы — излишне способен, феноменально способен. Пока учитель добивается, чтоб поняли все, Лёва уже изнывает от безделья. Он разучился слушать на уроках, он перестал выполнять домашние задания. Он, не смущаясь, даже с удовольствием получает двойку за двойкой, чтоб за короткий срок, одним усилием победно исправить их. Это он называет «играть в поддавки». Он нашёл для себя подленькое развлечение — читал дома специальную литературу, чтоб на уроке невинными на первый взгляд вопросами поставить учителя в глупейшее положение. Кое-кто из учителей просто ненавидел Бочарова, случались даже — право, неблагоприятные — попытки завалить его на экзаменах. Но не тут-то было, в отличие от большинства учеников Лёва Бочаров любил экзамены любовью спортсмена, верящего в свою непобедимость.

В прошлом году разудалым пренебрежением к учёбе Бочаров заразил весь класс — упала дисциплина, упала успеваемость, надо было принимать самые решительные меры. Явились родители Лёвы, мать — секретарь-машинистка, отец — бухгалтер, оба полные, оба робеюще тихие, с одинаковым выражением скрытой тревоги на помятых лицах. Они из тех, кто никогда не изумлял дерзостью ума, никогда не буйствовал от избытка сил, никогда даже в мыслях не ставил себя выше других. Мне они говорили обычные слова: всего, мол, год до окончания, в институт не попадёт... А я понимал и то, что не договаривали: «Стоит ли жить, если сын окажется неудачником...»

Сочинение Бочарова... На этот раз оно ничем не отличалось от других: «Борьба Ивана Грозного против родовитых бояр носила прогрессивный характер...» Скучное, гладенькое, без блеска правильное.

Следующая тетрадь Зои Зыбковец. Что такое?.. Всего полстранички девичьим почерком.

«Ходил в его (Ивана Грозного) время рассказ, что у одного дьяка он (Иван Грозный)... отнял жену, потом, вероятно, узнавши, что муж изъявил своё неудовольствие, приказал повесить изнасилованную жену над порогом его дома и оставить труп в таком положении две недели; у другого дьяка была

повешена жена над его обедом» (Н. Костомаров. «История России в жизнеописаниях её главнейших деятелей». Том 1, стр. 418).

Такой человек не мог желать людям лучшего. Если он и давил бояр, то просто от злобы. Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга».

И всё.

Зоя Зыбковец, очкастая некрасивая девица, не в пример Бочарову собранная, старательная, замкнута тихая и... средних способностей.

От Бочарова получить куда ни шло, но от неё!.. Вот уж воистину, в тихом омуте черти водятся: «Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга».

И щит из цитаты Костомарова...

Костомаров — один из тех историков, которые готовы попрекать Ивана Калиту за то, что он не высоколобый и не благородный, забывая, что история двигалась вперёд отнюдь не усилиями высоколобых.

Как часто педагогу приходится вступать в борьбу с самим собой. Вот и сейчас, кажется, наступила минута такой борьбы.

Я оторвался от тетради Зои...

Итак, Зоя думает по Костомарову, старомодно.

Если б думала «не по-моему» — пожалуйста, твоё право. Но старомодно, не в духе времени, не по-нашему...

Может показаться, ущерб невелик. Прости и даже поощри самостоятельность. Но в следующий раз Зоя снова выкопает чьи-то заплесневелые суждения, манера присваивать «не наши» взгляды станет нормой, Зоя начнёт не так глядеть, как глядят другие, не так думать, не так поступать. Значит, противопоставленный обществу человек. Значит, жизнь против течения.

Привычно умиление: такой-то учитель добр, хотя ни для кого, в общем-то, не секрет — доброта и покладистость учителя преступны.

Нужно ставить Зое двойку, нужно отчитать её завтра на уроке, пусть вынесет весьма заурадное ощущение — впредь не повадно, — пусть обидится. Не будь покладистым!

Но... И не одно, а несколько.

Но не убьёшь ли ты этим у Зои любовь к истории?.. По карликовому сочинению видно, что она читает не только учебник, значит, интересуется, значит, любит.

Не восстановишь ли Зою против себя так, что уже только из чувства противоречия будет думать иначе, тянуться к Костомаровым?

Но, наконец, виноват Костомаров, вина же Зои лишь в том, что он подвернулся ей под руку.

Минута борьбы с самим собой. Эта минутная борьба не столь мелочна и незначительна, как может показаться на первый взгляд, тоже, мол, гамлетовский вопрос: «Быть или не быть двойке?» Судьба человека за ней!

Я решил не ставить двойку. Завтра обсудим, выясним.

4

Вечерняя порция рабочей похлёбки съедена — с сочинениями покончено. Передо мной письма.

Одно я уже успел прочитать. Оно пришло вместе с посылкой, где лежал... морской кортик. Поздравление от человека, которого, увы, давно не было в живых.

Неизвестный мне капитан второго ранга, некий Пешнев писал:

«Дорогой Николай Степанович!

Этот кортик когда-то носил лейтенант Бухалов, мой друг и Ваш ученик. Двадцать три года я хранил его у себя. Признаюсь, и сейчас с трудом расстаюсь с этой дорогой для меня реликвией. Но Вы воспитали Григория Бухалова, а ему я обязан всем — и тем, что остался жив, и тем, что стал боевым офицером. В конечном счёте я обязан Вам, Николай Степанович. И ничем другим не могу выразить свою благодарность — только оторвав от себя единственную память о лучшем друге, о том человеке, который всегда был мне ближе брата. Примите от меня и от Гриши...»

Многих своих учеников я успел забыть — свыше трёх тысяч прошло мимо меня за эти сорок лет, где всех запомнить. Гриша Бухалов... Гришу-то помню...

В ту пору, когда село Карасино ещё и не собиралось стать рабочим посёлком, появилось на улицах существо — лохматая шапка, сопливый нос, рваная, волочившаяся полами по земле поддёвка, большие разбитые лапти. Существо презренное — сынишка гулящей Мотьки, отца не знает. Сама Мотька ушла стряпухой к сплавщикам и не вернулась. У сироты в селе судьба обычна — иди в подпаски, гоняй коров и коз.

Нельзя было взять за рукав, привести в школу, усадить за парту, в списке охваченных всеобучем поставить единицу. Надо вымыть и выпарить эту единицу, надо во что-то одеть и обуть, надо где-то поселить, надо кормить и поить, чтоб снова не одичал, чтоб прилежно сидел за книгой.

Я тогда с год как был женат, и жена ходила беременной, жили в чужой избе. Но у жены раньше, чем у меня, появилась к сироте жалость — мы взяли Гришу Бухалова к себе в дом.

— Зря вы со мной возитесь, проклят я человек, всё одно коз пасти.

«Прокляту человеку» в ту пору было только девять неполных лет.

Зимой я отвёз жену рожать, вернулся — нет Гриши, сбежал. Его нашли в дальней деревне — ходил по дворам, просил милостыню.

— Ты что же это?

— Да у вас теперь свои дети. Зачем я вам?

Через два года в соседнем районе, в селе Обьедково, в бывшей помещицкой усадьбе организовали межрайонный детский дом. Гриша сам настоял, чтобы мы отдали его туда, а у нас должна была родиться вторая дочь...

Он вырос в красивого паренька — румяный, черномазый, порывистый: «Проклят я человек». Господи! Как давно это было...

Ещё до войны его призвали во флот. В войну уже командовал катером. В своём последнем бою он потопил какие-то транспортные суда, осколком оторвало руку, командовал до тех пор, пока не вывел катер из-под огня, спас команду, самого же доставили на берег мёртвым. Посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Сейчас в нашей школе пионерский отряд носит его имя, в пионерской комнате висит его портрет — морская фуражка с «крабом», юное правильное застывшее лицо, из которого усердные ретушёры вытравивали какие-либо следы схожести с живым Григорием Бухаловым.

Я вынул из ящика стола морской кортик.

Узкие ножны стянуты начищенными латунными кольцами, крупная рукоять с заполированными глазками — заклёпками, потянул за неё, и поползло на свет никелированное жало. Всё-таки оружие, а не нарядная игрушка, тещащая мужское тщеславие. Кортик выглядит новеньким, словно только что из оружейной мастерской, да носил ли его Гриша, погибший четверть века назад? Впрочем, это оружие парадное, его носят не часто.

Война прошла мимо меня — не слышал свиста пуль, не сидел в окопах. Ещё в юности обнаружилось плоскостопие, хотя и теперь, в шестьдесят лет, мои ненормальные ноги мне верно служат — в школу хожу пешком, только походка заметно тяжёлая. Но в армию меня не взяли — не годен к строевой службе. Не годен в мирное время, но не в дни войны, медкомиссией в военкомате было уже вынесено решение — направить меня в строительный батальон.

А я тогда недавно стал директором школы. И ушёл на фронт заведующий роно, заменить его, кроме меня, некому. Нужен в районе, меня не пустили рыть землянки и таскать брёвна... Не слышал свиста пуль, не видел, как умирают на фронте, зато слышал об этом, пожалуй, чаще других.

Мне произносили имя — убит! И я неизменно сразу же вспоминал мальчишку за партой, кудлатого или коротко стриженного, бойкого или застенчивого, добросовестного или шалопая. Со многими из них у меня были, ой, не гладкие отношения, но тут каждый вызывал смятенное чувство вины, каждый становился непостижимо значительным — отдал жизнь, чтоб жили другие, в том числе и я. Казалось бы, чего мне стыдиться — не спасал себя, не прятался от фронта, нет вины. А поди ж ты, попробуй перед собой оправдаться.

Только смерть Гриши Бухалова вины не вызвала. Была потеря, та родительская, опустошающая прожитое, обворовывающая будущее. Гриша — моё творение, Гриша — часть меня, самое красивое и едва ли не самое значительное в моей жизни. Перед ним нет стыда — дал всё что мог.

Гриша Бухалов щедро отблагодарил меня после смерти — правом гордиться!

Много, даже не сосчитать, погибло моих учеников, но, как они гибли, ни про одного не известно. Просто в боях, подходя под общую формулу: «Пал смертью храбрых». А вот гибель Гриши Бухалова в общую формулу по укладывается — сверххрабрый, выдающийся, слава о нём разнеслась по стране. Как мне не гордиться им, а значит, и собой тоже. Гриша — часть меня!

Смертью смерть поправ, Гриша продолжал жить рядом со мной. Жить и поддерживать меня. Спасибо судьбе, что столкнула нас.

Я положил кортик на стол так, чтоб мог всегда его видеть. Конечно же, я отдам его в школу, там почтительно положат под стекло на специальном столике возле портрета Героя Советского Союза, комсомольца, лейтенанта Бухалова. Ребятишки станут обмирать от почтительности... Отдам в школу, но не сразу, сначала сам налюбуюсь досыта.

Гриша Бухалов поздравил старика.

Вскрывая конверт с видом Сочи, я думал, что это одно из писем от случайных, но обязательных знакомых: «Разрешите поздравить от всей души...»

«Вы вряд ли помните меня, — начиналось оно, — тогда как я ежедневно, ежечасно вот уже в течение почти двух десятков лет Вас вспоминаю.

Кто я? Я алкоголик, и это самое яркое моё отличие. Во всём остальном ничтожество: человек без профессии, без семьи, даже не вор, не преступник...»

Странно. Да мне ли это?.. Какая-то белиберда. Я взглянул на конверт. Конверт с видом Сочи, адрес школы, моё имя — всё точно.

...Даже не вор, не преступник, хотя легко бы мог стать им. Я просто представитель человеческих отбросов, а обязан этому не столько своему ничтожному характеру, сколько Вам, Николай Степанович Ечевин! Вы искалечили меня! Но если бы только меня одного! Страшно, что Вы стали тем, на кого почтительно и требовательно будут указывать — берите пример.

Почему бы мне хоть единожды не помочь людям, доказать, что всё-таки не зря прожил свою паскудную жизнь. Я не могу во всеуслышание сказать: люди добрые, берегитесь! Кто мне поверит, подозрительному философу забегаловок? И я не вижу иного способа заставить меня выслушать, как убить Вас! И тогда суд! Пусть суд надо мной станет судом над Вами. Возразите: преступлением открывать правду!.. Но какое же это преступление — уничтожить многолетний очаг общественной заразы. Совесть моя чиста, остальное меня не волнует. Скорей всего, я потеряю жизнь никому не нужного пьянчужки.

По мне не станет убиваться жена, не заплачут дети.
Итак, готовьтесь!
Ваш бывший ученик».

Ниже ещё несколько слов:

«Мне не надо спасать свою шкуру. Это намного облегчает мою задачу, а потому даже могу позволить себе такую роскошь — написать Вам письмо, известить, кто Вы такой и что Вас ждёт».

Письмо, написанное на тетрадном разлинованном листке, широкие приседающие буквы нацарапаны плохим пером. Вид письма какой-то отрезвляющий, будничней, в общем-то, безобидный.

Был вечер, ещё не слишком поздний. За окном внизу с треском проносились мотоциклы — весьма распространённый вид отдыха в городе Карасино. За дверью, тяжело ступая, ходила жена. Скоро она уйдёт на кухню, загремит посудой, потом позовёт ужинать. А там разойдёмся спать — она в свою комнату, а я в свою.

Перед глазами поблёскивает горячей латунией офицерский кортик — Гриша Бухалов поздравил старика.

Уютный свет настольной лампы освещает мои руки, крупные, мосластые, с узловатыми венами и золотистой шёрсткой. Мои руки, лежащие на письме...

5

Скорей всего, гнусная шутка. Кому-то захотелось подкрасить юбилей — мол, в бочку мёда ложку дёгтя.

Безответственно написать слово «убить»...

Взрослый человек вряд ли решится на такую шуточку, только тот, кто без царя в голове.

Самый падкий в школе на шуточки — Лёва Бочаров. Он давно уже ведёт весёлую войну с учителями. Что-то новое... Не откажешь в изобретательности: «Я алкоголик...» Ишь ты.

«Убить...» — надо сильно ненавидеть, чтоб написать такое.

За что?!

За то, что оберегал дурака от собственной глупости.

Глуп?.. Ну нет, он-то себя считает первым умником: «Задачки с двумя неизвестными шёлкаю, как орехи». Пуп земли!

«Убить Вас...» То-то испугается старый дуралей. Лёва Бочаров решил пошутить от всего сердца. Он, конечно, догадывается, что шуточка перерастает границы дозво-

ленного, но ведь и сам Лёва — личность, не уместяющаяся в обычных рамках. «Убить Вас...» Он слегка презирает всех и считает, что в ответ на это снисходительное презрение все должны отвечать любовью.

Когда видишь себя пупом земли, трудно понять, что люди могут ответить тебе ненавистью. Ненависть со всех сторон! Тут уж будет не до шуточек и не до презрения, сам заразишься бурным ненавистничеством. «Убить Вас...» Мысль-то привычна, почему бы, защищая себя, не исполнить её на деле...

От сомнения — ненавистничество, от ненавистничества к ножу хулигана короткий шаг.

Вот от чего хотел оберечь!

Не оберёг. Шуточка-то — вот она, на столе. Гнусней не придумаешь.

Я постоянно делал Лёве мелкие уступочки: «Феноменально способен, светлая голова, чудит — пусть себе...»

В прошлом году он систематически доводил учителя математики до истерики. Конечно, этот учитель не отличался ни глубокими знаниями, ни твёрдостью характера, ни находчивостью в ответах, на его уроках Лёва Бочаров устраивал для класса спектакли. Я осуждал Лёву и защищал его: «Феноменально же способен...» А математику пришлось перейти в другую школу.

Недавно мне не хватило решительности сказать «нет» родителям Лёвы. Уж очень робки, очень любящи, единственный сын — пусть себе.

В юности почти в каждом сидит Лёва Бочаров. Юность почти всегда неразумна, самомнительна, эгоистична, лишена самоконтроля. Учитель, по доброте потекающий порокам молодости, — преступник!

Я отыскал в стопке тетрадей сочинение Зои Зыбковец и поставил под ним жирную, красно кричащую двойку. Завтра обсудим?.. Что ж, обсудим!

Нашёл заодно и сочинение Лёвы Бочарова...

6

Невыразительное сочинение и выразительное письмо легли рядом. Приседающие буквы... В почерках не было никакого сходства, да это и понятно.

«Убить Вас...» Сказано скупое, без нажима. Правда, эти слова торопливо подчеркнуты, но, похоже, не ради того, чтобы произвести впечатление, скорей, автор выделял важный вывод: не вижу иного выхода.

И пришла трезвая мысль: шутник, желающий до смерти напугать своей шуточкой, непременно бы порезвился, уж постарался бы наполнить письмо угрозами.

И «я алкоголик». Что-то уж очень искусное, не молодое, не ученическое. Эдакая хитрость с аморальным креном.

И «страшно, что мир слеп». Забота обо всём мире, обвинение от лица общества, и всё для того, чтоб пошутить?

И приписка... «Мне не надо спасать свою шкуру. Это намного облегчает мою задачу...» Что-то продуманное, выношенное, нет, не шуточный экспромт. И если это совместить с «я алкоголик», то с исцарапанного плохим пером листка подымается такая фигура, что содрогнись и зажмурься.

Невыразительное сочинение и выразительное письмо, я, кажется, напрасно положил их рядом, напрасно вгорячах обрушился на Лёву Бочарова. А может, и не сгоряча, скорей всего, просто обманывал себя: неправдоподобно, нельзя верить, куда проще предположить — это же шутка! И свалить на того, кто под рукой, — Лёва Бочаров на следил.

Кто он? «По мне не станет убиваться жена, не заплачут дети». Подписался: «Ваш бывший ученик». Признался — я твой убийца.

Кого я мог так сильно обидеть? Не работал прокурором, никого не бросал за решётку, учительствовал, а не судействовал. И он это знает: «Ваш бывший ученик».

Есть, конечно, такие, кто меня не любит, кому я крайне не нравлюсь, как, право же, не все нравятся и мне. Но никогда у меня не возникало желания: хорошо бы убить такого-то. Наверное, и у моих недоброжелателей до этого не дошло. «Ваш бывший ученик». А ученик ли?..

Вспомнил о конверте, схватил его. Конверт с видом Сочи. Тем же испорченным пером нацарапан адрес школы, моя фамилия. Штемпель на марке довольно отчётливый: название известной станции, полсуток езды до нашего города. Опущено письмо вчера.

Письмо дошло, мог прибыть и автор.

Конверт с видом Сочи, солнечного далёкого города — места отдыха, места здоровья, места продления жизни.

«Убить Вас...»

За что?!

Я не испытываю страха. Сильнее страха недоумение.

Я искалечил чью-то жизнь, я страшен сам по себе, страшен через моих ядовитых учеников, страшен мой дух... Слишком много взвалил на меня автор письма, чтоб это было правдой.

«Выдающийся... Самоотверженный... ум и совесть нашей педагогики...» Конечно же, нет! Я не настолько самонадеян, чтоб безрассудно верить шумному славословию, которое раздавалось во время моего юбилея. Но я никого не убил, не обездолил, ничего по украл, не брал взяток, не растлевал малолетних, не морил голодом престарелую тещу. Я не ангел, часто бываю раздражителен, срываюсь без нужды, нередко поступаю несправедливо, в чём обычно раскаиваюсь. Кто из нас без греха?.. Уж если мне суд, меня убить, то жить на земле придётся лишь каким-нибудь исключительным праведником.

За что?

Если ты выносишь приговор, да ещё смертный, изволь уж подробно ознакомить и с составом преступления, а не отделяться общими словами: страшен, ядовит, дух, видите ли, не тот.

— Коля! — донёсся из кухни привычный голос жены. — Иди чай пить. Пора.

Я вложил письмо в конверт с видом Сочи, сунул его в ящик стола.

Встал и подошёл к окну, заглянул в тёмную пропасть, заполненную беспечными голосами, смехом, шарканьем ног по асфальту, шумом моторов и шорохом шин — заполненную жизнью. Заглянул в пропасть, но увидел себя, своё отражение в чёрном стекле — плоский лоб, глубоко запавшие глаза, нос клином.

Он, возможно, дежурит там внизу, в гуще голосов и смеха, из глубины звучащей жизни следит сейчас за моим окном — бывший мой ученик, ныне мой убийца.

Я старательно задёрнул занавеску и тут же усмехнулся: уж он-то, наверное, предусмотрел, что приговорённый им к смерти Николай Степанович Ечевин станет плотней задёргивать занавески и тщательней запирает двери.

В тесной светлой уютной кухне за накрытым столом сидела, оплывая вниз на слишком узкой табуретке, жена. У неё горделивая посадка крупной седой головы, озабоченное выражение на широком близоруком лице — знакома, как неизменно повторяющийся сон.

Мы сейчас выпьем по чашке чая, скажем друг другу несколько ничего не значащих слов и разойдёмся спать — жена в свою комнату, а я в свою...

— Тебе с лимоном или без?..

Оказывается, на кухонном окне у нас вовсе нет занавесок, с верхних этажей дома напротив мы здесь просматриваемся насквозь.

7

Сквозь сон я услышал — кто-то скребётся за окном!

Комната словно затянута грязным табачным дымом, как учительская, где полчаса назад кончился педсовет. Все разошлись, но табачный дым не рассеялся — серо и неприкаянно скучно.

За окном кто-то скребётся, сомнений нет. А окно на пятом этаже.

Удары сердца отдавались в голове. Я не дышал.

«Да это же сон... Я не проснулся...» Трезвая мысль и сам рассвет слишком трезвый — серо и неприкаянно скучно. И ухаёт сердце не в груди — в черепе. И звуки за окном — железо скребёт о железо. Окно на пятом этаже!

Не кричать ли?..

Жену за стеной всполошу, а соседей не скоро раскачаешь.

Не сон, не блажь, явственно железо скребёт о железо. Кто-то за окном, кто-то висит над асфальтовой мостовой на уровне пятого этажа.

Непослушной рукой потянул с себя одеяло. Пружины матраца оглушительно завопили. Замер... Замер и тот, но только на секунду. Снова — железо о железо, острожно, боязливо, воровски, по-ночному преступно.

Холодный пол обжёг босые ступни. Последний раз взвизгнули пружины. Я встал.

На цыпочках по холодному полу, по стенке, по стенке, к окну, к косяку, потянулся к занавеске... Сейчас, вот в эту секунду гляну в лицо своему убийце. Сейчас, при сером рассвете встреча, он, отчаянный, между небом и землёй на высоте пятого этажа, я в комнате, и разделять нас будет только стекло окна.

Ну!.. Рука деревянна, тело неподатливо, каменно и набатно раздаются в череде удары сердца. И совсем, совсем рядом странные звуки — чужая жизнь, с упрямой острожноностью рвущаяся ко мне. Чужая жизнь и моя смерть.

Ну!.. Занавеска чуть отошла...

Словно воздух из туго накачанного мяча, вырвался страх, я сразу весь обмяк, обессиленно задрожали коленные чашечки, ватной рукой уцепился за косяк, чтоб не упасть.

За окном по карнизу гуляют голуби, цепляясь когтистыми лапками за кровельную обшивку, — железо скребёт о железо.

Я перевёл дух и решительно откинул занавеску. Голуби трепыхнулись, но не улетели. Пододвинул к окну стул, устало, с наслаждением свалился на него.

Как полная чаша, которую боязно расплескать, лежала пустынная улица, до крыш залитая застойной синевою. Горели вялые фонари, и свет их был дремотен, как и сам город. И мирно кумовали за нечистым, заплаканным стеклом голуби. Молодые деревья купали в синей, осязаемо плотной дымке чёрные ветви. Голые деревья на весенних утренних заморозках. Через несколько часов их пригреет солнце, начнёт шевелить застоявшиеся соки. Скоро набухнут и лопнут почки!

Возможно, они не успеют лопнуть...

Где-то он, без лица, без имени, бывший ученик...

Он существует и носит в себе десятилетиями скопленную, непонятную для меня ненависть. Ненависть прорвётся, и почки не успеют лопнуть, выкинуть зелёный лист...

Тишина в городе, тишина и сумрак в моей комнате. По стене притаились фолианты с широкими затылками. Историки прошлого века писали много и обстоятельно. За стеной покойно спит жена.

Я, подтянув под стул босые поги, с наслаждением глядел в окно. С наслаждением потому, что улица за окном пуста. Он не стоял там, не прятался, а значит, хоть эти минуты можно прожить без страха. С наслаждением потому, что видел просыпающийся мир за окном, а кто знает, сколько раз я ещё увижу такое?

С шумом сорвались с окна голуби, и стало совсем безжизненно. Столь непоколебимо тихо и засасывающе грустно, что невольно пришла на ум мысль: «Словно уже

туда переселился...» Если б там было так же покойно и мирно, пожалуй... готов, ничуть не страшно.

И неожиданно я возмутился: «Как он смеет! Что я сделал такого? Что?!» Возмутительна даже не сама угроза — убью! — а вопиющая несправедливость: очаг общественной заразы! Да как он смеет! Что я сделал плохого? Чем нехорош? Сорок лет учил, свыше трёх тысяч учеников прошло через мои руки. А нажил ли я за эти сорок лет себе богатство? Ради ли собственного удовольствия я старался? Легка ли моя жизнь, счастлива ли? Да что в ней было такого, чтоб зачеркнуть? Очаг заразы — чудовищно!

Лежал передо мной спящий город, горели усталые фонари. Мой город, родившийся и выросший на моих глазах, место на земле, приютившее меня. Я глядел на него и перебирал свою жизнь.

8

Легка ли она? Счастлива ли?..

Первое, самое первое, что помню, — вкусный запах новой кожи и большой стеклянный шар, заполненный водой. Шар на низеньком подоконнике слепого оконца.

Сейчас с высоты пятого этажа я вижу кусок улицы, просторной, с деревьями, с пятиэтажными корпусами, украшенными весёлыми балкончиками, похожими друг на друга, как матрёшки на полке игрушечной лавки. Это центральная улица нашего города, гордо названная проспектом Молодости. Я родился где-то здесь, неподалёку. Где-то. Кто теперь укажет, в каком точно месте стояла избёнка сапожника Стёпки Ечевина? Село Карасино стало городом Карасино, немало пыльных и муравчато травянистых улочек и проулков подмял под себя безжалостно прямой и широкий проспект Молодости. Но где-то здесь, совсем рядом, стучал по колодке мой отец, принаравливаясь, чтоб собранный стеклянным шаром свет из мутного окошечка падал «под молоток». Где-то здесь шестьдесят лет назад прокричал впервые младенец, крещённый под Николу-вешнего.

А шестьдесят ли? Не триста ли?.. В дни моего детства село Карасино знало соху, но не ведало о тракторе, ездило на телегах с грядками, но и слухом не слышало об автомашинах, доходили слухи о чугунках, о «больших самоварах на колёсах», но железные дороги ещё не приползли сюда, и не пользовалось село ни телеграфом, ни телефонами, хотя считалось не столь уж глухим — мимо проходил тракт на Москву, раз в году со всей округи сюда съезжались на ярмарку, торговали, гуляли, пили, пели, кто как умел — тоскливо или разухабисто.

Легка ли жизнь? Счастлива ли?

Рос на кислой капусте и картошке, видел много чужих сапог, но щеголял в опорках, прятался от отца, когда тот напивался и буянил, постоянно слышал надрывный крик матери: «Хлебогады! Чтоб вы все сдохли! Всю кровь мою выпили!»

Но, право, кислая капуста, опорки, пьяные скандалы отца не делали меня несчастным. Детство есть детство — свои радости я имел, в голову не приходило, что жизнь может быть иной.

Незадолго до революции я переступил порог самого высокого — два этажа с мезонином! — самого красивого в округе здания — школы Граубе, стоящей на отшибе от села. Переступил и уже не расстался с ней. Лет десять назад старую школу снесли, вместо неё появилась школа номер пять, торжественно светлый огромный корпус. А намного раньше совсем забылось имя Ивана Семёновича Граубе.

Но в те годы его имя и его школа были известны по России.

Школа называлась народной. Граубе не считал её своей собственностью, не брал за обучение денег. Выстроил школу и содержал учителей брат Ивана Семёновича, российский миллионер, железнодорожный магнат, покровитель художников и лошадей, сторонник просвещения Алексей Семёнович фон Граубе.

Жил он далеко, но слухи о нём доходили и до Карасино. Рассказывали, что в его конюшнях перед каждой лошадью в стойле стояло большое зеркало, рассказывали, что он был семь раз женат, что славился среди крестьян щедростью: «Только заикнись, корову даст!» И ещё рассказывали, что после революции он ходил по деревням, кормился Христовым именем, бабы потчевали миллионщика чечевичной похлёбкой, плакали от жалости.

Иван Семёнович был почему-то просто Граубе, без «фон» и небогат, сам получал от брата учительское жалованье. Он окончил Сорбонну, добровольно забрался в глухое село, куда его брат не успел ещё протянуть железную дорогу.

Был он чахоточно тощ, довольно высок, с объёмистым лысым черепом. В рассеянном взгляде сквозь золотые очки, в нерешительной складке губ, спрятанных в рыжеватую бородку, даже в лёгкой сутуловатости постоянно ощущалось что-то сокрушённо виноватое, почти монашеское. Казалось, он постоянно сдерживается, чтоб не сказать покаянно: «Прости меня, братец». Но он заговаривал, и один лишь звук его голоса, неожиданно сильного, глубокого, насыщенного бархатными басовитыми интонациями, вызывал у каждого смятение. Покаянно виноват, монашески смирен — э-э, нет, будешь слушать его и слушаться, не возразишь, скорей присохнет язык. Ни разу я не слышал, чтобы он повысил голос. Самым высшим упреком из его уст было: «М-да-а!» Коротенькое междометие и поворот спиной, остро выступающими лопатками из-под сукна пиджака. Школяр ты или почтенных лет учитель, но всё равно останешься пришит к месту этим «М-да-а!».

Иван Семёнович наиболее бедным покупал к зиме валенки, иногда даже полушубки. Иван Семёнович постоянно для кого-то выпрашивал какие-то пособия, кого-то выручал, кого-то посылал в город, устраивал бесплатные обеды в школе. И, странно, никому и в голову не приходило благодарить его за это. Благодарят обычных людей за то, что они совершили нечто не совсем для себя обычное. Иван Семёнович ни на кого не похож, что ни сделает, так и должно быть, а потому простое «спасибо» как-то не шло к нему.

Не испытывал и я благодарности, хотя почему-то он выделял меня. Получал от него не только валенки, полушубок, книги, но и внимание: «Как дома, Ечевин?» А дома у меня без перемен — отец по пьянке бил горшки, мать выла на всю улицу. Я был из беднейшей семьи и прилежен к наукам — этого достаточно для Граубе, чтоб выделить. Благодарности я не испытывал, почтение — да.

У Ивана Семёновича была единственная дочь — Таня, моя ровесница. Мечтательница, выросшая среди отцовских книг.

И мне и Тане исполнилось по четырнадцать лет, когда в школу назначили нового заведующего, Сукова, а Граубе стал простым учителем.

Иван Суков ещё молод, открытое лицо, румянец во всю щёку, быть бы ему первым парнем по деревне, да стал школьным вождём. Румяное лицо, вылинявшая гимнастёрка, стоптанные сапоги, не разгибающаяся в локте после ранения под Варшавой рука. Он, пожалуй, не уступал в доброте Ивану Семёновичу, хоть последнюю гимнастёрку с плеч, зато уже люто ненавидел «буржуйских недобитков». А Иван Семёнович Граубе — белая кость, дворянин, университеты за границей кончал, брата-миллионера имел, подарки от него получал, с «фоном» Граубе или без «фона», а для Ивана Сукова — волк в овчине.

Иван Суков. Уже после Граубе он сделал для меня всё, чтоб я стал «пролетарским учителем». Это он послал меня на курсы, он силой вырвал у райнаробраза единовременное пособие, чтоб я мог явиться на курсы не бос и наг. И он же, Суков, добился, чтоб меня после курсов определили не на сторону, а в свою старую школу. Суков поставил меня на рельсы, по которым я катился сорок лет, качусь по сей день.

Что ещё можно вспомнить?..

Круги. День за днём, как лошадь в приводе: дом — школа — дом, от воскресенья к воскресенью, с перерывами на каникулы, которые выдерживал с трудом, ждал с нетерпением, чтоб начать привычное: дом — школа — дом. День за днём — сорок лет. Был завучем, был и директором своей школы, но не бросал преподавания истории...

Где-то на самых первых кругах женился, одна за другой появились три дочери. Жил всегда туговато. Пока село не разрослось в город, копался на огороде, картошка была подспорьем к не слишком щедрому учительскому окладу. Только теперь, когда остались вдвоём с женой, без особой науги сводим концы с концами. Всегда на строгом счету каждая копейка. Правда, особо и не бедствовали, хлеб и кой-какой приварок имел даже в голодные военные годы. На фронт не попал — плоскостопие... Лёгкая ли жизнь? Счастливая ли? Нет, будни. Люди решили отметить её праздником, когда мне стукнуло уже шестьдесят.

«Ваш бывший ученик...»

Человечество просто перестанет существовать, если ученики начнут разбивать черепа своим учителям. Страшнее этого преступления может быть только отцеубийство.

Улица уже не пустынна, по лиловому асфальту по-хозяйски важно гуляют чёрные галки. И деревья сейчас чутко ждут, когда из-за высоких домов упадёт на них первый луч солнца, кончится окостенение, обмякнет древесная плоть, тронутся к почкам соки.

Полчаса назад я просто хотел видеть лопнувшие почки. Полчаса назад сидел перед окном затравленный зверь. Ничего иного, только желание жить. Сейчас гнев, сейчас готов бороться и сокрушать. Маньяк собирается поднять руку на святое святых, ученик замахивается на учителя.

Голуби на карнизе заставили обливаться холодным потом — стыдно! «Я алкоголик, и это самое яркое моё отличие». Тебе ли бояться его, своей силы не сознаёшь. За твоей спиной весь город Карасино! И только ли город?

«Очаг общественной заразы...»

А письмо незнакомого мне капитана второго ранга Пешнева, пославшего кортик лейтенанта Бухалова: «...ничем другим не могу выразить свою благодарность...»

И сам кортик внушительно поблёскивает перед глазами.

А поздравительные письма и телеграммы из всех областей, со всех концов страны...

И всё потому, что я «очаг заразы»?!

Да пусть попробует заикнуться, что «очаг», будет взрыв. Как мошка на пламени, сгоришь от людского негодования ты, озлобленный анархист-кустарь. Бывший ученик, не святотатствуй!

Я пришёл в себя, почувствовал силы и поддержку. За моей спиной встанет армия нормальных людей. Каждому очевидна опасность — ученик замахивается на учителя! Это противно разуму, грозит бедствием всему роду человеческому!

Но нельзя забывать, что слепая ненависть маньяка родственна взведённой mine, любая неосторожность может оказаться смертельной. Осмотрительность — вот первая заповедь на то время, пока война не кончится. Надо надеяться, что она не будет продолжительной.

Галки, важно разгуливающие по улице, взлетели с водопадным шумом. Тихонько застонало оконное стекло. Сотрясая улицы и обступившие дома, испуская угрожающий рык, давя морозно лиловый асфальт тупыми скатами, беззастенчиво дребезжа гулким железным кузовом, промчался первый самосвал.

Наш город всё ещё помешан на строительстве. Новостройки отодвинулись на окраины, но у нас и по центральной улице, по парадному проспекту Молодости с утра до вечера идут строительные машины. Эта самая ранняя.

И под стеной качнулась фигура первого прохожего. И солнце выплеснулось в просвет между домами, полыхнули окна, от молодых деревьев легли лёгкие тени.

День родился над городом Карасином, ясный весенний день.

— Доброе утро, Коля. Как ты спал?

Каждый мой день начинается с этого вопроса — семейный озабоченный лозунг.

Ватно мягкой, грузной поступью вошла жена. В её расплывшейся фигуре слоновье добродушие, под застиранным халатом — величавость, сохранившаяся с девичества. Рослая, полнотелая, вальяжная, она когда-то отличалась застенчивой белизной кожи, смущённым румянцем, наивностью голубых глаз. При первом знакомстве казалось — вот воплощение домашнего покоя, уюта, уравновешенности. Но чуть ли не на первой неделе выяснилось — у неё скачущий характер, нечаянного слова или даже беспреднамеренного молчания было достаточно, чтоб от нежности перешла к замкнутости, от веселья к слезам, от сентиментальной размягчённости к капризам. Тогда-то у нас с ней началась многолетняя война, мелочная и утомительная. Она окончилась скучным миром. Соня мало-помалу утратила порывистость, а вместе с ней и нежный цвет лица, стройность, стала носить очки в тонкой оправе, придававшие её рыхловатому, в парном румянце лицу какое-то кроткое, беспомощное выражение. Нет, она не перестала любить меня, я её тоже, но ещё я полюбил уединение в стенах дома.

— Доброе утро. Как ты спал?

Я уже повязывал галстук, когда она вошла ко мне. Машинально прибрала брошенную пижаму, повесила аккуратно на спинку кровати, со вздохом опустилась в кресло у окна. В то самое кресло, в котором я провёл утро.

— Я думала ночью... — бережно и вкрадчиво начала она, глядя сбоку мне в скулу. — Я думала, Коля... Не надо тебе так с Верой...

Она думала ночью о Vere, у меня же был повод думать об ином. С младшей дочерью Верой — много же крови она нам стоила — у нас самые сложные и острые отношения. Решать их в эту минуту?.. Мне необходимо освободиться от всего, мне сейчас мешает присутствие жены. Прежде чем переступить порог, нужно позвонить в милицию. Об этом звонке Соне лучше не знать. Её следует выпроводить хотя бы на несколько минут.

— Извини. Не можешь ли ты сходить сейчас к Золотовым? Этот книгочей в прошлую субботу забрал у меня «Домашний быт» Забелина. Очень нужен.

Этажом ниже жил слесарь Золотов, самозабвенный почитатель всякой учёности, в подвыпившем виде навещавший меня с просьбой: почитать чего-нибудь существенное. А существенность книги он измерял её толщиной, выбирал всегда самые увесистые тома, безразлично какие — пухлые романы Дюма-отца или же учёные труды по истории.

Она долго и осуждающе глядела сквозь очки мне в скулу, вздохнула и молча поднялась. Конечно, обида, конечно, немой упрёк в чёрствости, в бессердечии, но мне не до щепетильности — ради неё самой выпроваживаю, к чему Соне знать о письме.

Я услышал, как захлопнулась за ней входная дверь. Не завязав галстука, я вынул из стола письмо, положил в карман, бросился в прихожую, где висел телефон, снял трубку.

Казалось, просто: набери номер милиции, сообщи всё, а уж там их дело обеспечить безопасность.

Я замешкался с запевшей в руке трубкой. Сообщи, но как?.. Оказывается не так-то легко. Мол, здрасте, получены сведения... Заранее чувствуешь недоуменную немоту на том конце провода. Видавшая виды милиция такого случая наверняка не знает. Не обойдётся без вопросов, вкрадчивых и недоверчивых: как, почему, по каким причинам?.. А чёрт их знает, эти причины! И всё это объясняй какому-то дежурному, который сам решений не принимает, готов доложить по инстанции. А уже в каком виде он преподнесёт, неведомо.

Спросить номер телефона начальника управления майора Фомина? Он, кстати, мой ученик. Но именно поэтому-то Фомин отнесётся с особым любопытством, с неслужебной заинтересованностью. И он сразу, конечно, не поверит в опасность — нелепо же! — наверняка, как и мне, ему сначала придёт мысль: «Гнусная шутка». Придётся разубеждать его в этом, а ничего нелепей и унижительней быть не может, непременно вызовешь усмешку: «Эге, затравили медведя». А если всё кончится благополучно?.. Не миновать, усмешечка выползет наружу: «Дыма без огня не бывает». Рано или поздно слухи доберутся до школы. Нет ничего страшней для учителя, как оказаться смешным. За все сорок лет шутком не был никогда, ни на минуту! Разумней всего держаться так, чтоб все видели — тебе нипочём, презираешь: «Опасно! Какие пустяки!» Тогда повода для улыбок не появится, ни у кого не повернётся язык сказать: «Дыма без огня...»

Я повесил гудящую трубку на рычаг. Нет, по телефону не выйдет. Неужели и это предусмотрел автор письма? Неужели он догадывался, что быть расчётливо осторожным не так-то просто? Отопри дверь, выйди на лестничную площадку, спустись по лестнице, от парадного начни свой обычный путь к школе. И на каждом шагу он может ждать. Он не собирается спасать собственную школу, самое людное место ему не помеха.

А если сказатьсь больным?.. Мой дом — моя крепость. Но не до смерти же сидеть в осаде? Придётся выйти, подставить себя.

Весь мир, все нормальные люди на моей стороне, а защиты нет. И с тоскою вспомнились утренние деревья под окном, голые ветви в пасмурной дымке. Скоро лопнут почки...

В это время за дверью послышалась грузная поступь жены. Я поспешно вернулся к себе, непослушными пальцами принялся затягивать узел галстука.

Жена вошла, молча положила на стол книги, направилась на кухню готовить завтрак.

Я справился с галстуком, натянул на плечи пиджак, вышел в столовую, по привычке остановился перед трюмо. Жёлтое лицо, щёки, свисающие дряблыми мешочка-

ми, седые, со стальным отливом виски, крупный, неподкупной твёрдости нос — вон он, Николай Степанович Ечевин, человек, добившийся почёта, у кого собираются отнять остаток жизни. От бессонной ночи, от переживаний глаза в зеркале сухо и гордо блестя над крупным носом. На этот раз я нравился самому себе.

Что же, на войне как на войне. Придётся рискнуть, выйти наружу. Авось бог не выдаст, свинья не съест.

11

Дверь, выпустив меня во враждебную зону, захлопнулась за спиной.

Что я делаю?..

Ради того, чтобы кто-то не усмехнулся по моему адресу, кто-то не обронил: «Дыма без огня...» Да глупо же! Навстречу смерти! Жизнью рискую! Так ли трудно вытерпеть непочтительные усмешки? Жизнь и усмешки — надо быть свихнувшимся идиотом, чтоб не понимать, насколько неравноценен обмен. Вернись, пока не поздно!

Я понимал и не мог вернуться, потому что дверь уже захлопнулась, потому что сказал жене — тороплюсь, потому что опять придётся встать перед телефоном, потому что не хочу терпеть усмешечек, потому что бог не выдаст, свинья не съест, потому, наконец, что я уже сделал несколько скованных шагов вниз по лестнице, оторвал себя от дверей.

Ниже этажом я увидел жену слесаря Золотова, вышедшую с мусорным ведром на лестничную площадку, и — надо же — приосанился, против воли напустил на себя отрешённо внушительный вид. Оказывается, для меня важно, как бы эта растрёпанная и нечёсаная, отдалённо знакомая женщина чего-то не угадала по моей внешности. Я не без величавости ответил на её «здравствуйте» и прошествовал мимо. Умри, но будь уважаемым.

За распахнутой дверью парадного — солнечный, яркий до боли в глазах, многолюдный и опасный мир. Если б за мной не спускалась с ведром Золотова, я, быть может, помедлил на пороге, но сейчас, задохнувшись от волнения, шагнул вперёд, окунулся в шум и солнце.

Город был накрыт густым и пахучим небом. По улице шли заляпанные грязью по крыши кабин тяжёлые самосвалы. Они рычали угрожающе и бесшабашно, напоминая городу, который успел забыть и плачущие сосульками карнизы, и отяжелевшие кучи нечистого снега, и мутные ручьи вдоль мостовых, что весна не кончена, она в разгаре. Смотрите, какие мы грязные, это ярая весенняя грязь окраин! Смотрите, какие мы напоистые, это весна в нас рычит и поёт, сотрясает наше машинное нутро. И раскипевшиеся людской сутолокой праздничные тротуары.

— Ах, вам не хочется ль
Под ручку пройтись?

— *Мой милый. Конечно.
Хотится! Хотится!*

Забытое ворвалось из далёкой молодости, когда ещё читал стихи, был способен страдать и пламенеть над строчкою.

Рычат самосвалы, растревожен белый свет. Где-то по раскипячённым улицам ходит моя смерть.

Шестьдесят лет за плечами, не мало. Но за шестьдесят-то лет только сильнее успел привыкнуть к жизни. Именно в шестьдесят, когда не дряхл, не измучен недугами, сильнее веришь в невозможное — в своё бессмертие.

— *Ах, вам не хочется ль
Под ручку пройтись?*

Я боялся, но ни сковывающего страха, ни потерянности не испытывал. Появилось только острое чувство неловкости, словно вышел на люди нагишом — спрятаться бы. И нервическое нетерпение — быстрее, быстрее действуй! Хотя мне предстояло лишь одно привычное действие — знакомой дорогой шагать в школу, и торопиться незачем, будет странно и подозрительно, если я явлюсь в учительскую раньше времени.

Безопасней было бы доехать на автобусе, не сразу бросишься в глаза, в автобусной толкучке убийце трудней развернуться. Но автобус нужно ждать, стоять в очереди, не двигаясь, а это выше моих сил — быстрее, быстрее, мне трудно сейчас заставить себя не бежать молодой рысью, а уж не двигаться, торчать столбом на месте нет, невозможно.

Я не побежал, даже не позволил себе идти быстро, расправил плечи, степенно двинулся вдоль проспекта. Умри, но будь уважаемым. И не проходило ощущение — слишком высок, слишком громоздок, всем бросаюсь в глаза. И вглядывался во встречаемых — который же, который? Вглядывался испуганно, почти с надеждой.

Странно, я проходил здесь каждый день и не видел двигающегося навстречу потока, держал в памяти только несколько примелькавшихся лиц. Сейчас я удивился оглушающей пестроте и разнообразию людей: шляпы, кепки, платки, косынки, лица озабоченные, лица углублённые, хмурые, весёлые, равнодушные, румяные, морщинистые, бледные, невыспавшиеся... Который же?! Смешно гадать — река течёт навстречу, купаешься в ней.

А вот и он, неуклюжий, усатый, мой тяжеловесный Мопассан. Как всегда, столкнулись глазами, как всегда, узнали друг друга, как всегда, появился позыв поздороваться и не поздоровались — расстались... До завтрашнего утра.

Будет ли это завтрашнее?.. Поток навстречу мне — лица, лица. Который же?.. Мой бывший ученик, алкоголик в настоящем. Я убеждён, что если вот так же, как с усатым Мопассаном, столкнусь глаза в глаза, то непременно узнаю и вспомню, каким он был в ученичестве, открою для себя, за что он на меня гневается. Стоит столкнуться гла-

зами... Но река течёт мне навстречу, купаюсь в ней. Многолюдным стал город, а наша улица центральная, не зря же на отличку от других она гордо называется проспектом.

Мелькнула рыжая бородка, почти родной среди чужих молодой человек с бархатными неискренними глазами.

Не психуй, приди в себя, подумай лучше, не теряя головы: стоит ли вот так катиться туда, куда несёт?..

И в самом деле, я, приговорённый к смерти, иду рассказывать о роли разночинцев-шестидесятников в революционном движении. Я не смог позвонить в милицию, а почему? Девичья застенчивость в пикантном положении. Рефлексируешь, угрызаешься, когда надо срочно действовать — ищи автомат, звони в милицию.

Телефонную будку заполняла широченная спина. Мне было очень трудно дожидаться, когда она вывалится наружу, я подозревал всех вокруг, и эту спину в том числе, уж очень она широка...

Наконец дюжий шофёр, потный и сердитый от горячего с кем-то разговора, освободил будку, прошагал к стоящему у обочины грузовику. Я нырнул внутрь и поплотней закрыл дверь.

Неожиданно для себя я набрал телефон школы, попросил позвать завуча.

— Надежда Алексеевна, я не могу прийти сейчас... Может, кто-нибудь согласится заменить свои последние уроки на мои первые?..

— Николай Степанович! Николай Степанович! — закудахтала завуч. — Не беспокойтесь, Николай Степанович... Да я сама, сама в случае чего...

Явлюсь лично в милицию, так всё-таки лучше, чем распространяться по телефону. Все увидят, что я не потерял головы, иронически отношусь к письму, но... шантаж, извольте принять меры. И ни у кого не повернётся язык обмолвиться за моей спиной: «Дыма без огня...»

12

Я свернул с проспекта на улицу Лермонтова, упрямо ползущую в гору к старой церкви. По ней неторопливо шли редкие прохожие, время от времени с натугой брал подъём грузовик. Асфальт сух и нагрет, но запахи сырости, запахи ещё зимней, непрогретой под асфальтом земли висели в воздухе. Из арок, со дворов обдавало погребной прохладой. Суета осталась за спиной, утренний дремотный покой разлит по улице Лермонтова. Я почувствовал, как мало-помалу становлюсь человеком нормальных размеров.

Вот и церковь, единственное оставшееся в целостности наследие села Карасино. Она глядела через дорогу на раскинувшийся внизу новый город Карасино. На тесноту коричнево спёкшихся железных крыш, на жёстко геометричные, одного крупноблочного покроя здания-близнецы, закрывшие собой когда-то вольную и ленивую речку Кара-

синку, на нарядно сливочные стены лодочной станции и дальше вглубь, за насыщенно голубую толщу воздуха на грозиво синие корпуса комбината — родителя города, его кормильца.

Старая церковь среди старых сосен. Когда-то она спесиво сторонилась села, спесиво и властно, как пастырь, глядела через пустырь на избяное стадо. Когда-то здесь был свой обособленный мирок, под сенью церкви и сосен пряталось нехитрое бревенчатое хозяйство звонаря, ключаря, сторожа, ветхого Амфилохия, деда Фильки в просторечии. А на задах, за церковной каменной стеной убегали из-под сосен на лысый жаркий пригорок пьяные кресты карасинского погоста. Под каким-то из этих крестов лежали неизвестные мне мои далёкие прадеды и прабабки.

Погост давно исчез, жилой квартал похоронил могилы. Давно уже не плавают под закатным огнём золочёные кресты, давно темны и ржавы купола-луковицы, и белизна церковных стен обманчива, там и сям они скалятся выщербленными кирпичами. Ничего другого не оставило городу село, только эту церковь и эти сосны. Всё снесено, перерыто, застроено. Сосны, мне кажется, ничуть не подросли. Они и в годы моего детства были столь же стары и величественны. Подозреваю, даже вороньи гнёзда на них всё те же.

Сохранилась почти в целости витая железная ограда на кирпичных столбах. Лишь сильно поржавела она да нет узорчатой калитки. И, конечно, давно нет деревянной скамьи, стоявшей возле той калитки.

С этой вросшей в землю скамьи село Карасино не походило на себя: река с чёрной, ртутно тяжёлой водой пряталась в пышные кусты, просевшие драночные крыши не выглядели нищими, чувствовалось, столетия обдували их, не разрушая, ничего не меняя, непоколебимо покойны, и закаты раскалённым морем разливались над селом, и разбегались по земле розовые певучие тропинки...

Одни закаты умирали над селом тихо и покорно, другие кроваво пятнали серые крыши, зажигали пламя в ленивой реке.

К нам часто вылезал дед Филька, прямой и тощий, как огородное пугало, с ночным мраком в запавших глазницах — не плоть, а тень, не человек, а кладбищенское видение. Каждый раз он говорил одно и то же удивительно мирным, почти баюкающим голосом:

— Любитесь, голуби? Дело божье. В писании сказано: «Плодитесь и размножайтесь».

Исчезал бесшумно — не плоть, а тень.

Недавно я услышал, что Татьяна Ивановна Граубе снова вернулась в наш город. Она, разумеется, видела мой портрет в газете, слышала всю шумиху, связанную с моим шестидесятилетием. Раз уж обстоятельства напомнили ей обо мне, то хотел бы я знать, что думает она сейчас про меня?

И вдруг я врос в асфальт, дикая мысль пришла мне в голову.

Но я сразу же свирепо возмутился собой: «Ты с ума сошёл! Какие основания?..» И потайной, трезвый голос холодно напомнил мне: «Ты же знаешь, что у неё есть основания».

Заломило поясницу, я вдруг почувствовал, что устал. Надо посидеть, отдохнуть, привести в порядок растрёпанное хозяйство в моей седой голове. Надо возразить своему потайному голосу. Таня достаточно умна, чтоб всё понять и оправдать...

Я прошёл между выщербленными и осыпающимися извёсткой кирпичными столбами, оказался за церковной оградой, в тени сосен. Я знал, что здесь, под соснами, стоит обыкновенная тяжеловесная садовая скамейка. Не могли догадаться поставить её под оградой возле столбов, где когда-то была ажурная калитка и где раньше стояла вросшая в землю наша скамья. Отсюда так плохо видно обновлённое Карасино, только трубы и башни комбината в синих даялах...

13

Таня достаточно умна, чтоб понять и оправдать...

Почему она, если не очень красивая, то уж, во всяком случае, не дурнушка, умная, прочитавшая кучу книг, русских и французских, единственная дочь недоступного для карасинцев Ивана Семёновича Граубе, почему она выделила среди других меня, носатого неловкого парнишку в дерюжных штанах, никак не умного, по её привередливой мерке?.. Почему?..

Я много, много лет решал для себя эту задачу.

Выбрала среди других... Не такой уж у неё был большой выбор в Карасино. Я носатый, я неловкий, дерюжный, но другие-то парни были ничуть не лучше меня — столь же неструганые и дерюжные.

А простонародно неструганое в те годы почиталось, как в старину боярская родовитость. Таня, пожалуй, это почтение усвоила во младенчестве от отца, учителя-народника.

Наконец, она просто дочь своего отца, в ней тоже сидела щедрая душа педагога и поэта, которая страстно требовала — делись всем, чем богата. Для людей с педагогической душой нет большей награды, чем чьё-то внимание. И она нашла это внимание, и, право, жадное, искреннее, у сына карасинского сапожника Кольки Ечевина.

Господи! Мне же шестьдесят лет, а я всё ещё помню её близкое лицо в сумерках, мраморно, по-кладбищенски белеющее, и мрак искрящихся звёздной пылью глаз, и её голос, ручейково влажный, и шум сосен над головой... Этим самым сосен. Они и сейчас шумят...

Я сидел с закрытыми глазами, слушал далёкий шум хвои. Неужели я и до сих пор её люблю?..

Таня достаточно умна, чтоб понять и оправдать...

Это началось с того, что меня вызвал новый заведующий школой Иван Суков.

Он сидел в граубевском кабинете за большим директорским столом с тумбами, упирающимися в пол львиными лапами, пил чай из железной кружки в скудную прикусочку от ломтя ржаного хлеба, аккуратно положенного на газету.

— Мне вроде бы не след по-бабьи нос совать в молодые дела, где есть сплошной интим, — начал он сумрачно и решительно, — но боюсь, как бы ты, пролетарий, за красивые глазки свою кровную революцию не продал.

— Ты это о чём? — спросил я.

Я был учеником, Иван Суков заведующим. Мне едва исполнилось четырнадцать лет, Сукову где-то под тридцать. Но такой уж порядок — нет старших, нет младших, все равны, любой и каждый имел право называть главу школы на «ты», иначе тот мог не на шутку обидеться: «Ты эти барские церемонии брось. Тут тебе не старый режим».

— Сам догадываешься, о чём. В истории, брат, примеры тому были наглядные. Вспомни Степана Разина. На что твёрдый мужик, да тоже чуть по пьянке не влип — на княжну позарился, законное негодование масс вызвал: «Нас на бабу променял». Так-то. Хорошо ещё вовремя спохватился, классово чуждый княжеский элемент в набежавшую волну бросил.

— При чём тут княжна?

— Дочь прихвостня крупного капиталиста, твоего скрытого врага, княжны стоит.

— Да какой же Иван Семёнович мне враг? Он учил меня, помогал. От отца я ни сапог, ни валенок в жизни не получал, а Иван Семёнович в первый же год мне купил.

— Валенки... А он их сам катал? Катал-то их какой-нибудь мытарь, вроде твоего отца. Один Граубе юшку с рабочих жал, да так, что сам сожрать не мог, братцу подкидывал, мол, на спасение твоей и моей души букварей купи ребятишкам, валенки на крайнюю нуждишку подкинь, чтоб мы оба красиво гляделись, чтоб нас простаки хвалили. Семейка разбойничков, донага на морозе разденут и пуговицу от рубахи отдадут — грейся, милок, в ножки кланяйся. Темнота ты темнота, классовой ненависти в тебе ни на понюшку.

Иван Суков смотрел с суровой прямоотой в зрачки.

Я и сам понимал: какую-то уступочку себе делаю, закрываю глаза на то, что Иван Семёнович не совсем свой для революции человек. Ну, а мой отец, чем он революции помог? Как тачал раньше сапоги, так и теперь тачает, как пил прежде горькую, так и теперь заливает. Но на моего-то отца Суков не замахивается. И я как умел выложил ему это. Иван Суков спокойно возразил:

— Твой отец в стороне, а почему? Тёмный он элемент. Просвети его, научи, открой глаза, будет свой. А почему в стороне этот Граубе — от темноты, от неучёности? То-то и оно, что он нас сам учить собирается. Он нас, а не мы его.

— Ну и пусть учит. Что тут такого?

— Эва! А ежели он научит тебя своего братца любить? Мол, добр был, на бедность валенки давал, зря вы, такие-сякие, немытые, против него революцию устраиваете. Ты и теперь верить ему готов. А таких, как ты, целая школа. Можем мы допустить, чтоб в школе враги революции росли? За революцию ты или против?

— За, конечно.

— Тогда и не защищай Граубе.

Я молчал. Иван Суков с прищуром разглядывал меня.

— Молчишь? Мнёшься? «Нас на бабу променял»? И я закричал срывающимся, петушиным голосом:

— А она-то в чём виновата? Она-то не учит, сама учится! Тоже враг!..

Суков не обиделся на мой крик, ожесточённо потёр небритую щеку.

— С ней, конечно, не всё ясно. Молода, но, поди, отец успел... Вряд ли наших взглядов.

— А если наших?

— Пусть докажет.

— Как?

— Выступит против отца. Честно! Напрямому! Без приседаний! Тогда доказано, девка наша. Вот проведи подготовочку!

«Проведи подготовочку» против родного отца!

Только аморальный тип не посовестится произнести эти слова подростку. Иван Суков аморальный?.. Ой нет! Иван Граубе, человек высокой души, нравственно был несколько не чище его, не беззаветней, да и не добрей тож.

Жил Суков, как птица небесная, спал то в кабинете на широком кожаном диване, то в сторожке при школе на дощатом топчане, ел когда придётся и что придётся, обычно на ходу ломоть хлеба, выуженный из кармана. Всё имущество — то, что на нём надето, да ещё плотницкий сундучок, где хранил единственную смену штопаного бельяшка и дорогой цейсовский бинокль, подаренный ему комдивом: «Прими, товарищ Суков, на всю жизнь и старайся разглядеть в него врагов революции». Из лапотной и мякинной деревни, из обморочной российской глухомани выбросило этого бесхитростного парня в кипучую гущу классовой борьбы, в разбушевавшийся мировой пожар. Он едва умел читать по-печатному, но всем сердцем принял лозунг, переложенный с французского: «Экспроприируй экспроприаторов!» Цельная натура, он не ведал ни сомнений, ни рефлексий, а потому верил, как в «Отче наш»: род людской расколот пополам на паразитов и тружеников, иных на земле нет. Слова гимна:

*Лишь мы, работники всемирной,
Великой армии труда,
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты — никогда! —*

стали для него святым законом. А так как сам он, Иван Суков, с раннего детства тяжело, по-мужичьи трудился, то и себя относил к полноправным властелинам планеты. К любому начальнику он являлся с несокрушимым убеждением, что и страна с её богатствами, и сам начальник с его учрежденческим столом принадлежат ему, Ивану Сукову. Он не кричал, не возмущался, а лишь шурил свои деревенской голубизны глаза и вразумительно напоминал: «Эй-эй! Опомнись, дорогой товарищ. Ты кому это не даёшь, кому отказываешь? Ты хозяину отказываешь, пролетарского хозяина заставляешь себе в ножки кланяться».

Для себя он никогда и ничего не просил, а для других добивался невозможного: школьный сторож Никанор вдруг начал получать зарплату больше самого Сукова, больше любого из учителей; двенадцатилетняя девочка, внучка глухой бабки Рычковой, была проведена персональной пенсионеркой на том только основании, что она «дочь сельского пролетария, безвременно загубленного эксплуататорами». Он многих поставил на ноги, многим дал путёвку в жизнь. И мне в том числе.

«Проведи подготовочку...» Мне и в голову не пришло осудить Ивана Сукова за эти слова, посомневаться в их праведности.

Не осуждал, но и не соглашался с ним, не хотел ему верить.

Моя мать ни разу не погладила меня по голове, постоянно мне напоминала, что я «хлебогад», «прорва», «постылое семя». Отец под пьяную руку из меня «давил масло», не помню, чтоб он когда-нибудь купил мне обливной пряник. И что я не «хлебогад», не «прорва», а человек, от которого можно ждать хорошее, убедил меня Иван Семёнович Граубе. От него я впервые получил подарки, и не обливные пряники, а валенки и полушубок. Из-за него даже мои родители стали глядеть на меня с надеждой: «Колька-то ужо-тко в люди выйdet».

И вот, оказывается, валенки, полушубок, апостольская возвышающая доброта неспроста... «Семейка разбойничков, донага на морозе разденут и пуговицу от рубахи отдадут...»

Я не хотел верить Сукову, но задуматься он меня заставил.

Иван Семёнович содержал школу на деньги своего брата, сам находился на его содержании.

Почему этот брат, известный миллионер-капиталист, помогал учить бедных, даже покупал им валенки и полушубки?

Был слишком добр?

Может, он и разбогател-то от своей доброты, а не оттого, что притеснял трудовой народ?

Я не знал, любить мне или ненавидеть Ивана Семёновича. Время от времени я голосом Ивана Сукова сам себе задавал беспощадный вопрос: «Кто тебе дороже — Иван Семёнович Граубе или революция?»

«Проведи подготовочку...»

Носить в себе тяжёлые сомнения и скрывать их от Тани — значит не доверять ей, значит заранее записывать её в число врагов. Я обязан раз и навсегда выяснить с ней все начистоту. Раз и навсегда, без «подготовочки»!

Село внизу рассыпалось раскалёнными на закате крышами, и лежала в берегах тяжело-ртутная река.

Таня слушала меня, низко наклонив голову. Был виден её прямой пробор в тёмных волосах, полоска известково-белой кожи.

На содержании... От доброты ли содержал? От доброты ли разбогател?.. Почему таких добреньких подмела революция?.. Таня слушала меня и не возражала, сидела с опущенной головой.

— Таня, ты должна выступить!

Она подождала, не скажу ли я ещё что-нибудь, спросила в землю:

— Против кого выступить?

— Вот те раз! Говорил тебе, говорил!..

— Против отца выступить?

— Таня: или — или!

И она подняла голову, блестящие недобрые глаза, придушенный голос:

— Скажи, я честный человек?

Я не сразу ответил, я боялся подвоха.

— Молчишь? Может, ты сомневаешься в моей честности?

— Нет! Нет! Не сомневаюсь!

— А я добрая?

— Да.

— А я умная?..

— Да.

На секунду замялась и спросила всё тем же глухим голосом:

— Ты... любишь меня?

Впервые произнесено это слово! Я выдохнул сипло:

— Да.

— Так вот, всё во мне от отца! От него честность, доброта и ум, какое имею. Если от таких отцов дети станут отказываться, знаешь... мир, наверное, тогда выродится.

И встала, хрупкая, лёгкая, непрочно связанная с землёй, плечики вздёрнуты, тонкая косица падает по узкой, жёсткой девчоночьей спине, остроносое лицо заносчиво отведено в сторону. Она не хочет со мной больше разговаривать, она сейчас уйдёт от меня, от нас!.. И я выкрикнул:

— Кто тебе дороже, отец или революция?!

— Знаешь... На провокаторские вопросы не отвечаю.

«Провокаторский...» Этого слова я тогда ещё не знал; она при мне его ни разу не произносила.

Если дети станут отказываться от отцов, мир выродится. Это было сказано сорок пять лет тому назад.

А сегодня мне самому пришлось вознегодовать: «Человечество перестанет существовать, если ученики будут убивать своих учителей. Больше этого преступления только отцеубийство!»

Сорок пять лет спустя я вдруг повторил Таню.

Нет! Нет! Она слишком умна, должна понять, должна оправдать меня.

14

Мне было пятнадцать лет, и я вместе с Иваном Суковым свято верил: сермяжная правда в бедности, и каждый, кто хоть как-то прикасался к богатству, нечист.

Иван Суков проповедовал полное решимости: «Весь мир насилья мы разрушим». Иван Граубе нечто жиденькое: «Ученье — свет, неученье — тьма».

Таня ушла от меня к отцу, к ним!

И была простая — проще таблицы умножения — логика: на содержании у богатого, богатым так просто стать нельзя, только насилуя, только грабя и обманывая народ. «Весь мир насилья мы разрушим...»

Таня ушла... Кто тебе дороже, Таня?..

Я не мог её ненавидеть, и никакой Иван Суков не заставил бы меня: чувствуй к ней это! Не мог ненавидеть я и её отца, Ивана Семёновича Граубе. Не было у меня ненависти даже к его нечисто богатому презренному брату. Но вопрос стоял так: кто мне дороже — они или революция?..

Таня ушла к ним...

Меня родная мать величала «хлебогадом», меня бил пьяный отец, с самого раннего детства на спине и на голове я чувствовал, что такое насилие. «Весь мир насилья мы разрушим...» Таня ушла к ним. Революция мне дороже.

Да, даже её!

Иван Суков среди прочего неколебимо верил в силу, пронизательность, справедливость коллектива. Один ум хорошо, а два лучше, пять лучше двух, десять — пяти, а целый коллектив уже столь умён, что никогда не ошибается. Ни одно серьёзное дело Иван Суков не проводил без общешкольного собрания, где в равной степени учитывалось слово и посевшего на nive знаний педагога, и сопливого мальчишки, вчера севшего за парту.

На общее собрание Иван Суков вынес и обсуждение Ивана Семёновича Граубе. Родственные связи с капитализмом, интеллигентские замашки, отрыв от масс и т.д. и т.п. — всё это умещалось в одной привычной формулировке «персональное дело».

На таком собрании не выступить, отмолчаться я не мог. Меня бы не исключили за это из школы, но про мена бы говорили, что я потерял классовое чутьё, снюхался с чуждым элементом, «нас на бабу променял».

Пусть вспомнит каждый свои пятнадцать лет и ответит: найдётся ли более страшное обвинение для человека в таком возрасте?..

Под потолком самого большого класса, в парно надышанном, сдобренном всеми ароматами дурно кормленной плоти воздухе под тусклым стеклом пятилинейной лампы медленно умирал вялый огонёк. Только лица сидящих впереди сдержанно бронзовели под его светом, а дальше был мир теней, живущих во мраке, шевелящихся, сопящих, вздыхающих... Иван Семёнович Граубе сидел в первом ряду, у него, как и у всех, было невнятно бронзовое лицо и бронзовая лысина да ещё остренько поблёскивали очки на носу.

Я излагал бронзовым бесстрастным лицам всё то, что уже говорил Тане, то, о чём всё это время думал — свой нехитрый логический ряд. Бронзовые лица — учителя школы — молчали, но тени за ними в своём пещерном мраке подхватывали каждое моё слово. Бронзовым лицам моя логика казалась, верно, слишком простой, а ребятам вполне понятной, близкой.

Я говорил и был непримирим ко всему на свете и в первую очередь к самому себе. Ради революции я жертвовал самым дорогим для себя — Таней! «В набежавшую волну!» Подвиг, сравнимый лишь с воспетым в песнях подвигом Стеньки Разина.

От Ивана Семёновича Граубе потребовали ответа. Он вышел на свет под лампу, повернулся лицом к бронзовым лицам, к мраку, заполненному тенями. Он гнулся под тяжестью своей объёмистой отблескивающей головы. Он долго молчал, рассеянно поправлял на носу очки.

А собрание дышало шумно и ожидающе. Настала захватывающая минута — лев загнан, но ещё силен, предстоит схватка!

Как всегда, первые звуки его голоса невольно поразили неожиданной силой, спокойствием, бархатными интонациями.

— Ечевин был моим учеником, — заговорил он. — Я учил его отличать ложь от правды и не научил. Учил ненавидеть зло, уважать добро — не научил. Я жалкий банкрот! Я попусту жил, зря топтал землю, ел хлеб. Тут выкрики, требующие наказать меня. Увы, уже без вас наказан — сильнее невозможно.

Он постоял, сгибаясь под тяжестью собственной головы, повернулся и ушёл при общем серьёзном и недоуменном молчании.

А утром его нашли в постели уже холодным. На столике лежало письмо: «Прошу никого не винить...» — и ключ от шкафа с химическими реактивами.

Хоронить Граубе неожиданно вышло всё село. Бабы плакали, мужики молчаливо стояли без шапок под дождём. Я прятался в самом конце толпы, за спинами.

У Ивана Сукова была чистая совесть, он ни от кого не прятался, даже счёл нужным сказать своё слово над гробом покойного: как всегда, призывал верить в грядущую мировую революцию и близкий конец гнивающей буржуазии.

В этот день мой отец напился пьяным и, завалившись домой, принял меня бить, как давно уже не бил.

— У-у, выродок! От людей совестно! Кругом несут: мол, змея выросил! У-у, рвотное! Мозги вышибу! Так и отца в одночасье за полushку!..

Я молча гнулся под отцовскими кулаками.

Таня какое-то время жила у одной учительницы, потом куда-то уехала.

Лет двадцать спустя, уже после войны, на областной учительской конференции я сидел в зале и слушал очередной доклад. Вдруг я виском ощутил направленный со стороны пристальный взгляд. Я обернулся и увидел: женщина с прозрачно бледным лицом, в синем шевиотовом костюме, униформе учительниц районного масштаба, отвела глаза. Я узнал её — Татьяна Ивановна!

Я постеснялся подойти к ней во время перерыва. А постеснялся ли?.. Нет! Она достаточно умна, чтоб понять и простить.

15

Сосны шумели у меня над головой. Почтенные сосны, старше города, старше меня.

Тане, Татьяне Ивановне Граубе, в этом году тоже должно исполниться шестьдесят — мы ровесники.

Я сошёл с ума! Я думаю, не она ли с непостижимой женской хитростью возвеличила себя — «я алкоголик», подписалась «Ваш бывший ученик»? Таня, дочь Граубе, грозит мне смертью? Несуразная дикость!..

«Выдающийся... самоотверженный... ум и совесть нашей педагогики!» Шумный юбилей! Николай Ечевин завоёвывает мир!

А что должно мешать Тане считать меня убийцей своего отца? Причём наверняка таким, который действует из-за угла.

Но нет, нет! Она слишком умна...

Умна, чтоб понять, если я и убийца, то по неведению, не из-за кошелька.

По неведению?.. Отец Тани несколько лет подряд изо дня в день учил меня, а безнадёжно глупым меня не считали... Почему должна она оправдывать меня — не ведала, что творил?

Я виноват в том, что создал простенький, как частушка, логический постулат: тебя содержит богатый, каждый богатый враг, значит, враг и ты! Откуда мне было знать в пятнадцать лет, что чаще всего приводит людей к беде слишком простая логика.

Она, дочь известного русского педагога Граубе, сама педагог, не может не считать, что только с чистыми руками и кристальной совестью можно заниматься воспитанием детей.

Человечество перестанет существовать, если ученики будут убивать своих учителей. Боже мой! Я в её глазах именно такой вот убийца!

И я справил триумфальный юбилей.

Есть ли на свете ещё человек, который бы имел столь ощутимый повод ненавидеть меня? Ненавидеть и считать меня опасным для общества.

Но... «Я алкоголик... представитель человеческих отбросов... подозрительный философ забегаловок...»

Ты допускаешь, естественно, что полученное тобой письмо написано поддельным, подложным почерком, тогда столь же естественно, что и портретные черты автора должны быть в нём ложны, как и сам почерк.

И откуда знать, что Таня не нашла себе помощника, который может про себя сказать с чистой совестью «Я алкоголик» и даже «Ваш бывший ученик». Через меня прошло более трёх тысяч учеников, не все они были Григориями Бухаловыми.

Таня?.. Нет! Всё-таки невероятно! Не умещается, в мозгу! Бред!..

Я встал и вышел из-под шумящих сосен. И снова внизу передо мной раскинулся мой город — весёлое нагромождение нагретых солнцем железных крыш, каменных стен, тесные пропасти переулков, асфальтовые озёра площадей. А давно ли дремлющее среди огородов, как овцы на выпасе, избяное стадо... Не верится, что за одну неполную человеческую жизнь можно навозить столько кирпича и так загромоздить землю этаж над этажом.

Земля, на которой я родился, изменилась, ничего похожего с прежней. Изменился и я, но так ли уж, чтоб ничего похожего?..

16

Я словно вынырнул из прошлого, как герой немудрёного научно-фантастического рассказа, с лёгкостью путешествующий во времени. Стою на солнечном тротуаре, какой порой своего тела ощущаю плывущую мимо жизнь, до оскомины знакомую, до невменяемости страшную. Письмо?.. Да здесь, здесь это письмо, в кармане, напротив сердца. О нём я не забывал даже в стране Прошлого.

Плывёт мимо знакомая жизнь, нужно прыгать в её поток. Я, кажется, шёл в милицию за спасением... Перед милицейской фуражкой всегда чувствуешь себя виновным. Там спросят: «А кого вы подозреваете, уважаемый товарищ Ечевин?»

Подозреваю Таню, виноват, Татьяну Ивановну Граубе. Слышал, она недавно вдруг ни с того ни с сего вернулась в родной город, подозрительно!

И Таню вызовут... И Таня подумает: «Каким ты был, таким остался. Бьёшь по-прежнему из-за угла...»

Во главе городской милиции стоит Вася Фомин... Он не исчезал надолго из моего поля зрения, уходил на фронт и возвращался, женился, рос по службе, ныне майор,

но должность занимает такую, куда обычно ставят полковников — заметная принадлежность новенького, с иголки города Карасино. Был когда-то стриженный крепыш, тихоня, аккуратист, себе на уме, в учёбе надёжный среднячок...

Сколько лет знаю, но сейчас с удивлением почувствовал, что не могу ответить на такой важный для себя вопрос: как бывший ученик Фомин относится к своему старому учителю? Уважает ли? Любит ли?.. Ну, любит, положим. Учителя не обязательно бывают самоотверженными, а ученики благодарными. Знания — не сладкий плод, а горький корень. И чем настойчивей учитель кормит своих учеников этим неудобоваримым корнем, тем меньше шансов рассчитывать ему на их любовь. Конечно, Фомин встретит вежливо, даже внешне любовно — чтить и уважай старого учителя, но как знать, не подумает ли: «Отливаются кошке мышкены слёзы...» Бывший ученик...

— Здравствуйте, Николай Степанович.

Полная женщина в обвисшей кофте с двумя набитыми авоськами в руках, на лице взволнованный румянец, словно нежданно-негаданно встретила свою давнюю, неперегоревшую любовь, мать Лёвы Бочарова. И я наперёд знаю её вопрос:

— Как Лёва, Николай Степанович?

— Всё в порядке на этот раз.

Сейчас я чувствую себя виноватым перед всеми, хочется искупить какую-то вину, каяться, жаловаться, оправдываться. Хочется умиляться... Но это непедagogично, и я не добавлю ни слова к своему ответу. Однако и такой чёрствый ответ делает мать счастливой.

— Он слово нам дал, Николай Степанович. Мы с отцом ему сказали: будь, как все. Если что, мы тебе просто не родители, иди работать. Так и сказали. И, честное слово, выполнили бы. Понял, обещание дал.

Я неопределённо промычал. Почему-то меня не обрадовала родительская поддержка. А мать счастлива, цветёт молодым румянцем.

— Спасибо вам, это вы нас надоумили и поддержали. Большое спасибо, Николай Степанович.

— М-м... Не за что.

Мы простились. Она двинулась своей дорогой, сгибаясь под раздутыми авоськами, набитыми хлебом, кулками с крупой, бутылками с молоком, — любящая мать, охваченная родительским счастьем, ибо сын пообещал быть, как все.

И я вспомнил последнее сочинение Лёвы, которое лежит у меня в портфеле. Как у всех, даже хуже...

Мне вдруг захотелось встретиться с Таней. Не с той, какой её помню, а с сегодняшней, в сущности, незнакомым мне человеком. Встретиться, чтоб выслушать в лицо упрёки. Но это мечтание, а жизнь-то течёт, и мне надо поспевать за ней.

В милицию мне идти незачем, значит, в школу.

Сравнительно недавно снесли школу Граубе — бревенчатый дом в два этажа с высокими печами-голландками, с деревянными лестницами, с крашеными изношенными полами, с тесными классными комнатами. Стены той школы хранили камерную уютность, в них всегда ощущался особый, сложный запах — чернил, старых, лежалых книг, копившейся десятилетиями пыли. Последнее время мы страдали от тесноты, но то была теснота скученной семьи.

Старую школу снесли, на её месте поставлен небольшой магазин обуви, новая выстроена чуть в стороне по проспекту.

Она безупречна, эта новая школа. У неё гордый фасад — красный кирпич с прослойками белого, силикатного. По фасаду развёрнуты ряды одинаково размашистых окон, стекла больше, чем кирпичных простенков, за широким входом посреди вестибюля безмолвно трубит гипсовый горнист, призывает подняться по лестнице. Коридоры по-больничному светлы. На белых дверях нет табличек — «V класс», «VI класс»... Нет классных комнат, есть только кабинеты — физики, математики, географии, истории, биологии, литературы, русского языка... Они же и классы, чёрные доски в них могут быть накрыты белыми экранами — смотри кино, правда, не смотрим, нет учебных фильмов. Есть конференц-зал, который легко превращается в театр. Есть обширный спортзал, где нельзя играть только в футбол. Новая школа раз в пять больше старой. В новой школе нет своих особых запахов, да и своего лица тоже нет — в точности похожа на остальные новые школы города.

Я признаю свою школу и красивой, и удобной, работаю в ней вот уже десять лет, но почему-то не перестаю чувствовать себя новосёлом.

Только что кончился перерыв. Коридоры пусты, двери отрешённо закрыты, смутно доносятся из-за них голоса учителей, ведущих уроки. Из разных дверей разные голоса и неясные, сдержанные звуки, создающие насыщенную атмосферу рабочего дня. Она меня всегда взбадривает, попадая в неё, я молодею.

Открывая дверь в учительскую, я услышал раздражённый разговор и невольно поморщился — каркающий голос Евгения Сергеевича Леденева, преподавателя литературы в старших классах.

Старая граубевская школа кончила свой век, магазин обуви — памятник на её могиле. Но кое-что из той старой школы перекочевало в новую. Кое-что и кое-кто — вещи и люди.

В просторной солнечной учительской стоит длинный, под зелёным сукном стол. Ещё до революции Иван Семёнович Граубе собирал за ним своих педагогов. В прежних стенах стол казался подавляюще громадным, он не просто занимал всю тесноватую учительскую, он сам собой представлял учительскую, в семейную спай-

ку он объединял ещё не слишком разросшийся тогда преподавательский коллектив. И в те времена за этим столом никогда не слышалось раздоров, споры были чинны, сдержанны, учтивы, и учителя подымались из-за олицетворявшего педагогический оплот стола с ощущением надёжности, ясности, наперёд зная — так похвально, а так запретно.

В новой же учительской старый стол не кажется большим, занимает лишь часть комнаты, и давно уже все педагоги не умещаются за ним во время педсоветов. И всё чаще и чаще за этим столом нарушаются мир и согласие, нередко вспыхивают склочные баталии, недостойные тех, кто своим примером призван воспитывать.

Первый в баталиях авангардист Леденев. Он окончил московский вуз, привёз с собой столичные (последнего образца!) взгляды и столичную самоуверенность. Он но стесняется в открытую ругать не только утверждённые программы обучения — их все помаленьку поругивают! — но и кланёт всю Систему просвещения: классы устарели, урочный подход — анахронизм, отец существующей педагогики Ян Амос Коменский — трёхсотлетняя древность!

Я не выношу ни его залихватских теориек, ни его самого. Мне крайне неприятен его голос — только язвительный, только напористо крикливый, никогда не нормальный, его угловатое лицо, тонконосое, тонкогубое, обезьяньи подвижное, с недобреньким блеском смородиновых глаз, его собранная, спортивная, наилегчайшего веса фигурка, его манера одеваться с подчёркнутым презрением к общепринятым нормам — не носит галстуков и белых сорочек, является в школу в свитерах дамски бешеной расцветки.

Сейчас в пустой учительской Леденев спорил с завучем Надеждой Алексеевной. Этот спор начался тогда, когда Леденев переступил дорог нашей школы, а кончится он наверняка с кончиной добросовестнейшей страдальцы Надежды Алексеевны. Впрочем, на ловца и зверь бежит, Леденев тогда найдёт себе новую жертву.

— Я не могу допустить, чтоб дети на уроках слушали безнравственные стишки, воспевающие пьянство! — уже причитающим голосом выдавала Надежда Алексеевна.

А Леденев спокоен. Леденев холоден, сидит, небрежно перекинув ногу на ногу, в своих трещащих от модности брючках. У него своя манера вести спор — быть спокойным до равнодушия и доводить противника до белого каления. И когда выведенный из равновесия противник сорвётся, скажет глупость, неточно выразится, Леденев тут взрывается, начинает художественно неистовствовать.

— Во-первых, дети... — хмыкает он. — Этим детям, Надежда Алексеевна, шестнадцать, семнадцать лет. Уверяю вас: все они давно уже знают, что младенцев находят не в капусте.

— Может, вы предложите сделать это предметом преподавания?

— Может, и нужно будет когда-то ввести такой предмет. Надежда Алексеевна в ответ лишь воздела к лустре руки.

— Во-вторых, как вы выразились, стишки... Извините, не стишки, а великие стихи — рубаи Омара Хайяма. В-третьих, считать шедевры мировой классической лирики безнравственными есть ханжество или крайнее невежество!

— Николай Степанович! — как к свалившемуся с неба спасителю возвала ко мне Надежда Алексеевна. — Николай Степанович! Вы послушайте только!

Мне неприятен Леденев, но на этот раз и Надежда Алексеевна не вызывает сочувствия. Воистину простота хуже воровства, надо же наброситься с упрёками — читает ученикам не запланированного программой Омара Хайяма. И бабий беспомощный вопль: «Спасите, Николай Степанович!»

— Не могу согласиться с вами, Надежда Алексеевна, — сухо сказал я. — Бессмертные рубаи Хайяма не безнравственны, а, напротив, высоконравственны.

Леденев небрежно перебрал ногу на ногу, ухмыльнулся. Его ухмылочка означала и то, что вряд ли я, по его мнению, человек не только старый, но и косный, могу оценить Омара Хайяма и что — ха-ха! потешная ситуация! — Ромео и Джульетта карасинской педагогики вдруг не сошлись мнениями.

А Надежда Алексеевна захлебнулась от отчаяния:

— Николай Степанович! Вы же знаете, что Евгений Сергеевич только то и делает, что вытаскивает на уроки бессмертных! То Омар, то сонеты Шекспира...

— Так вы бы должны за столь широкий охват объявить мне 'благодарность в приказе, — подсказал Леденев.

— Но на экзаменах-то у ваших учеников будут спрашивать не весёлые, извините, всё-таки с долей алкоголя стихи, не творчество новомодной поэтессы!..

— Вы хотите, чтоб я нацелил их только на экзаменационную отметку и не позволил молодым людям оглядываться по сторонам? Вы требуете, чтоб я запрещал им видеть многообразный мир человеческой культуры?..

— Но что, если ваши ученики угрожают время на алкогольные и безалкогольные произведения и не сдадут выпускных экзаменов?.. Вы им жизнь ломаете, Евгений Сергеевич! Жизнь! Элементарнейшая человеческая честность должна будить в вас чувство ответственности!

И наконец-то Леденев взвился со стула.

— Ах, честность... Вот вы о чём заговорили! Честность по принципу «чего изволите!» Честность по директиве! Честность, которую можно сменить при случае, как поношенную рубаху, если придёт иное указание. Чем эта принципиальная честность отличается от трусливой беспринципности?!

Сегодня у меня нет никакого желания закрывать своей грудью Надежду Алексеевну. Я прошёл в кабинет директора, бросив её на растерзание Леденева. А Леденев за моей спиной гремел о казённой добросовестности и добросовестной казёнщине, о бесстыдном лицемерии и стыдливой самостоятельности — художественно неистовствовал.

Кабинет директора свободен почти всегда. Наш директор непоседлив. Он свято верит, что у него в школе опытный педагогический коллектив, на который можно полностью положиться, а потому утонул целиком в хозяйственных делах. Летом наша школа первой в городе закончит ремонт, все ученики необеспеченных родителей будут устроены в пионерлагеря, многие учителя во время отпусков получают путёвки на курорт... И всё это директор проворачивает не из своего кабинета.

Я уселся за директорский стол, открыл портфель, достал пачку проверенных сочинений — Иван Грозный против родовитых бояр...

18

Сочинение Зыбковец: «Такой человек не мог желать людям лучшего... Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга». Жирная двойка — не наших взглядов...

А что наше и что чужое?

Станный вопрос, родственный детскому:

Крошка сын к отцу пришёл,

И спросила кроха:

Что такое хорошо?

Что такое плохо?

В дни моей молодости, где-то в конце двадцатых годов, любой царь осуждался с ненавистью — глава господ, верховный угнетатель, кровопийца народа номер один. Любой царь, в том числе и далёкий Иван Грозный. Тогда бы я не сказал Зое: «Не наших взглядов».

Теперь никто не удивляется, когда превозносят кибернетику, а давно ли — буржуазная лженаука, никак не наша.

А каким враждебно не нашим был когда-то монах Мендель! Теперь он полностью наш, в почёте и славе.

Был не нашим и Иван Семёнович Граубе, поживи дольше, наверняка стал бы нашим.

Что наше, что чужое? «Что такое хорошо? Что такое плохо?» Могу ли я быть судьёй?

И вообще кто я такой, на что я способен?

Вдруг как-то устрашающе полез мне в глаза знакомый кабинет. От фронтовиков приходилось не раз слышать: в минуты смертельной опасности начинаешь видеть то, что в обычном состоянии невозможно заметить. Один уверял меня: незадолго до своей контузии он разглядел на лице сидящего рядом товарища нечто — его конец. Две минуты спустя этот товарищ был убит наповал осколком разорвавшегося снаряда, а мой знакомый сильно контужен. Он узрел будущее.

И сейчас я не обычным зрением, а каким-то особым прониканием воспринял лицо кабинета. Я увидел не просто широкий полированный стол, телефон на нём, мягкие кресла по углам, я узрел не наглядные, грубо материальные вещи, а скорей то, как эти вещи связаны между собой. Увидел связи, а не предметы, не лицо окружающего мира, а его освобождённое внутреннее выражение — душу сущего.

Стол, за которым я сидел, стоял парадно, столу было отведено тронное место, но сидеть за ним было неудобно, свет из окна косо падал на правую руку, бросал тень на бумагу. А кресла засунуты глубоко в углы, стоят симметрично, но посетителю и в голову не придёт ими воспользоваться. Хозяин, оснащавший кабинет, честолюбиво гордящийся мягкой полированной мебелью, повторял лишь то, что обычно без раздумья делают и другие. В таком кабинете, наверное, никогда не родятся дерзкие идеи.

Раньше этого я не видел... Я сейчас увидел многое в себе, чего и не подозревал.

Что наше, что чужое? Что такое хорошо? Что такое плохо? Я учитель! Но если я не отвечу на эти вопросы, то как же мне тогда учить других? Как и чему?.. А мне уже шестьдесят лет, жизнь позади...

Непривычно коротенькое ученическое сочинение лежало передо мной. Под ним моей рукой выведена жирная двойка. Я судья...

Назойливо лезет в глаза парадно сиротская душа чисто прибранного, сверкающего лаком заброшенного кабинета. Неуютно. Хочется встать и уйти. Но куда? Где мне теперь уютно?

Открылась дверь, вошла Надежда Алексеевна, лицо из одних багровых щёк, тонкая батистовая кофточка сдерживает напор бурно вздымающихся грудей, уставилась мокро сверкающими глазами. Мне так нужно разобраться с самой собой, но придётся выслушивать рыдающие жалобы.

— Сил нет! Нет больше сил! Самовлюблённый эгоист! Ничего святого! Наплевать на учеников! Наплевать на интересы коллектива!..

Хлынуло.

Я слушал, глядел на Надежду Алексеевну, на её багровое лицо, на вздымающиеся груди. Она вот не сомневается, что может быть судьёй. Ей наперёд известно, что хорошо, что плохо, что наше, что чужое, где правда, где кривда.

— Наши законы для него, видите ли, не писаны! Трудовая дисциплина не обязательна! Что хочу, то и ворочу! Да ещё с хамством, с наглой издёвочкой. Сколько можно терпеть?..

Как, однако, постарела Надежда Алексеевна, как чудовищно раздалась, потолстела...

Лет двадцать назад явилась в школу студенточка, которой пришлось учиться в голодные военные годы: истощённое в голубизну лицо, прозрачные руки, тощие плечики и шестимесячная завивка. А я уже тогда был учителем, работал директором, исполнял обязанности заведующего роно, проявил настойчивость, чтоб вернуться в школу,

к преподаванию. На моих глазах она наливалась осанистой полнотой. С моей помощью научилась понимать, что хорошо, что плохо. Она вот и сейчас это твёрдо знает, добросовестная ученица.

И вдруг Надежда Алексеевна всхлипнула, поспешно вынула из кармана платочек.

— Господи! И он, он упрекает... В чём? Нечестна, мол, беспринципна!.. Николай Степанович, вы же меня знаете. Двадцать лет без передышки кручусь — днём уроки, вечерами общественные нагрузки, ночами ребячьи тетрадки. Пусть не сорок, как вы, а добрых двадцать лет я прикована к галере школьного обучения! А этот... Этот только что рядом с нами сел за весло и уже упрекает — нечестно гребёшь... Выгребика с моё!.. Николай Степанович, что же вы молчите, надеюсь, не думаете обо мне по-леденевски...

— Не думаю, — сказал я. — Вы честный человек, Надежда Алексеевна.

Она мгновенно утешилась, облегчённо вздохнула, промокнула платочком глаза.

— Столь же честный, как я сам, — добавил я, возражая с тоской письму, лежащему у меня в нагрудном кармане, напротив сердца.

Надежда Алексеевна встрепыхнулась было, чтоб обобщить с бурным возмущением — нет-де никакой необходимости утверждать очевидную банальность, — но тут раздался звонок.

Я засунул сочинение Зои Зыбковец в портфель, вышел из кабинета, предоставив Надежде Алексеевне немного поостыть в одиночестве.

В пустой учительской сидел Леденев, что-то углублённо читал, тербил чёрные жёсткие волосы.

19

Я стоял лицом к окну, спиной к дверям.

За окном виднелся тесный и тихий школьный двор, обсаженный акациями. Выбежали две девушки в форменных коричневых платьицах и чёрных передниках — первые ласточки очнувшейся от очередного урока школы. Через минуту двор будет кишеть ребятами, все высыплют на солнышко.

А за моей спиной просторная школа заполнялась знакомым гулом перемены, учительская — голосами учителей, шумом передвигаемых стульев, лёгким запахом табачного дыма.

Мне не нужно оборачиваться, чтоб узнать, кто вошёл. По хлопку дверей, по голосу, по звуку шагов, даже по шороху платья я представлял себе вошедших учителей, видел их.

Вот, вежливенько посапывая, уютно уселся в кресло учитель географии Колесников, наверняка щупает ласковым глазом мою спину, ждёт, когда обернусь, чтоб любезно поздороваться. Он ещё молод, но уже рыхловато полон, с сибаритской ленивой

осаночкой, которая, впрочем, ему идёт. Он появился недавно, но сразу же вписался в ансамбль школы. Он ладит со мной, ладит с Надеждой Алексеевной, ладит с Леденевым, но себе на уме: без шума, не афишируя, делает странные вещи — не задаёт домашних заданий, не проводит на уроках опросы, заставляет учеников вести какие-то дневники путешествий, выставляет за них оценки.

А вот, бесплотно шелестя крепдешинном, прошла химичка Берта Арнольдovна. И сразу же за ней раздалась тяжёлая поступь низкорослой, коренастой, мужеподобной математички Анны Григорьевны. Сейчас они сойдутся и озабоченно заговорят о только что выставленных, свеженьких, с пылу с жару отметках:

— А Кошкин у меня снова «два» схватил. Не знаю, что с ним и делать...

Всю жизнь устремлены к одному — к благообразно выглядящим страницам классных журналов.

Гулким сварливым кашлем известил о своём появлении другой математик школы, Георгий Игнатьевич Каштан, в ребяческом обиходе Жорка Жёлудь. Он всего на два года моложе меня, работал до войны в комплексной школе, в деревеньке среди глухих болот, в войну воевал, трижды ранен, увешан орденами. На войне, по слухам, он был удивительно храбр, в школе же ни чудес храбрости, ни примеров энтузиазма не проявлял, скандалил по мелочам, но с оглядкой, побаивался, как бы его не направили куда-нибудь обратно в болота, к чёрту на кулички. Он знает свой предмет, неплохо его преподаёт и почему-то не уверен в себе, мне кажется, что не любит преподавательское дело, болезненно утомляется от уроков, сейчас вот ждёт не дожётся того дня, когда выйдет на пенсию.

И ещё один старый кадровик, Василий Емельянович, учитель физики, добродушнейший человек, всё терпящий и всех любящий. Впрочем, не всех. Он тайно недолюбливает двоих — Лёву Бочарова и Альберта Эйнштейна. Теория относительности Эйнштейна — мозги свихнёшь, а Лёва Бочаров нагло с ней-то и надоедает на уроках.

Громкие голоса, всплески смеха, шум передвигаемых стульев — учительская ожила на свои десять отмеренных минут, до нового урока.

Я стоял спиной к ней, но видел её во всех подробностях.

— Николай Степанович, голубчик, здравствуйте! Что же это вы в байроновской позе? Так сказать: «Коварной жизнью недовольный...»

Василий Емельянович, светясь очками, лысиной, золотой коронкой во рту, подошёл ко мне.

— А вы знаете, кого я вчера на улице встретил? Представьте себе...

Василий Емельянович всегда со свежими новостями, всегда кого-то внезапно встречает, от кого-то передаёт приветы.

— Елькина Антона помните?.. Немало же он всем нам крови попортил...

— Елькин?

— Вернулся, так сказать, в родные Палестины. И знаете, положительное впечатление на меня произвёл. Ничего схожего с прежним. Одет этак основательно — токарь высокой квалификации, женат, двое детей...

— Антон Елькин?..

— Именно! На углу проспекта наткнулся. Не узнал бы, если б он сам меня не окликнул. Поговорили на ходу, о вас он в газете читал...

Антон Елькин...

20

Я никогда не поверю в его благообразие. «Ничего схожего с прежним...» То-то и оно, что он никогда не повторялся, никогда не походил сам на себя.

Антон Елькин...

Думается, что каждый учитель, кто достаточно долго проработал в школе и пропустил через свои руки изрядное количество детей, рано или поздно сталкивается с таким — одним из сотен или даже тысяч, — который начинает вызывать обострённую, почти болезненную ненависть или отвращение, порой до ужаса. Ни силой воли, ни профессиональной тренированностью не вытравишь из себя это. Можно лишь спрятать, притворяться, что, мол, нет ничего, но не отделаться.

Как-то до войны первого сентября я явился на первый урок в пятый класс, сформированный из учеников начальных школ. По случаю открытия учебного года я вырядился в белые — тогда модные — отутюженные брюки, в белые, начищенные зубным порошком брезентовые туфли. Я поздоровался с классом, попросил садиться и сам не без ритуальной картинности опустился на стул.

Опустился и почувствовал, что прилип к стулу своими белоснежными, без пятнышка, брюками, прилип основательно, что называется, всей площадью, постепенно ощущая противно тёплую, медленно проникающую сквозь ткань клееобразную массу. Ощутил и этакий знакомый смолистый запах, запах сапожной дратвы, сообразил, что сиденье моего чёрного стула кто-то покрыл слоем гудрона, валявшегося кучами рядом со школой. Если я и сумею незаметно отодрать себя от стула, то мои ослепительные брюки окажутся с тыла в чёрной жирной гудроновой коросте. Со стороны, наверное, это будет выглядеть как и положено, то есть смешно до колик.

Я сидел и взирал на класс, а класс простодушно ждал, что скажет новый учитель. Я понял, что весёлая затея не была коллективным творчеством.

И тут я увидел автора. Я учуял его шестым чувством и невольно содрогнулся от своего тоскливого ясновидения — он с этой минуты начал против меня беспощадную длительную партизанскую войну. Прилипший к стулу зад — первая вылазка!

Да, его лицо выделялось среди других. Всё оно как-то тянулось вслед за носом — короткая, не прикрывающая крупные зубы верхняя губа, покатый подбородок... Маль-

чишка напоминал мне юного зубастого акулёнка, не откровенно злобного, однако хищного. Он смотрел со своей парты на меня округлым от любопытства маленьким глазом, и что-то жестоко весёлое мнилось мне в его взгляде.

— Встань, пожалуйста. Да, да, ты.

И он охотно встал, не сводя с меня весёлых пуговичных глаз: «Ты угадал, но попробуй-ка докажи». А я, приклеенный к стулу, как муха к капле меду, невольно признал его право на торжество.

— Как тебя зовут?

— Тошкой, а чё?..

После того, что сделал, он позволял себе роскошь прикинуться дурачком, поиздеваться надо мной.

— Тебя до пятого класса не научили, как нужно отвечать на вопрос учителя?

— А чё?.. Как? Не знаю.

И тут-то во мне начала подыматься ненависть. Да, она! И да, сразу!

Рождалось, без дураков, большое, серьёзное чувство к несерьёзному шпингалету каких-нибудь двенадцати лет от роду.

— Надо отвечать учителю полностью: меня зовут... Называй полностью своё имя и свою фамилию.

— Меня зовут Тошка Елькин.

— Что ж, Тошка так Тошка. Я попрошу тебя, Тошка Елькин, сходить в учительскую и позвать сюда директора.

И опять он с охотой кинулся исполнять мою просьбу.

Он не приходил долго, долго, а я сидел, припаянный седалищем к стулу, и невопад вёл урок. Я начал осознавать, что имею дело не с простым пакостником — артистом своего рода.

И всё-таки я его недооценивал.

Да, он привёл, и не одного директора, а всех свободных от уроков учителей. Они ввалились в мой класс с тревожными лицами. Загромыхали крышки парт, ученики шумно поднялись с мест, я сидел истуканом.

— Николай Степанович, что случилось?.. — спросил директор. — Ваш ученик сказал, что с вами плохо... И я попросил с невежливой досадой:

— Пусть кто-нибудь заберёт весь класс, выведет его... хотя бы во двор. Оставьте нас вдвоём!

Директор недоуменно пожал плечом, но расспрашивать не стал, кивнул: делайте!

Была сутолока, был шум, разговоры, жалобы: «А у меня нога болит», вопросы: «А сумки с собой брать?», и возня, и строгие окрики. Я же сидел, словно каменный сфинкс. Директор с опаской косился на меня.

Наконец дверь захлопнулась и мы остались вдвоём.

— Так что же, в конце концов, стряслось?

Я упёрся локтем в спинку стула, с треском отодрал себя от сиденья.

— Вот что!.. Попросите кого-нибудь раздобыть мне на время штаны.

Директором тогда у нас был вышедший в тираж бывший наркомпросовский работник — высокий, вальяжно тучный, седой. Он редко одаривал даже улыбкой, а тут стал багроветь, таращить глаза и заколыхался.

— Ох! Простите!.. Я понимаю... Но ох! Ох!.. Ради бога... Я не могу!..

Антон Елькин...

Два с лишним года между нами шла война. Он пакостил и другим учителям, все от него страдали, но меня он отмечал особенным вниманием.

Я открывал классный журнал, склонялся над ним, чтоб пробежать глазами список учеников и... начинал ожесточённо, рыдающе, взхлёб чихать. Потом оказывалось, что между страниц классного журнала насыпан тончайший порошок, адская смесь растёртого перца с табаком.

Я растёгивал свой портфель и вздрагивал — на учительский стол выскакивала жаба.

Для всех остальных учеников я был строгий и взыскательный учитель, с кем шутить не следует, а для него удобная для потех фигура. Почему? Возможно, потому, что строг и взыскателен, неудобный материал для шутки, тем более лестно проявить свой изощрённый артистизм.

Ничего нет унижительнее и опаснее для учителя, чем самооборона. Следует наступать, и я это начал. Во время уроков я подымал Антона Елькина в самые неожиданные для него моменты, я был придирчив к нему, но справедлив, не отказывал в хорошей оценке, если он того стоил, но уже не спускал ни малейшей оплошности. Он, безалаберный, недобросовестный и не очень способный в учёбе, сначала пытался выдержать моё пристрастное внимание — выполнял все домашние задания, ловил каждое моё слово на уроках, — но надолго его не хватило, сломался, начал получать двойку за двойкой.

Однажды, как всегда, я подходил к дверям школы за несколько минут до звонка. И вдруг мимо моего носа с шумом, с ветром что-то пролетело. Оказавшаяся случайно рядом веснушчатая шестиклассница недоумевающе разглядывала лежащий на земле кирпич. И я сразу же сообразил: кирпич был сброшен с крыши на мою голову.

Его поймали прямо на крыше. Сима Лучкова, веснушчатая шестиклассница, была живой свидетельницей при расследовании.

— Да, видела, как упал... Большущий-пребольшущий.

У Антона Елькина была только мать. «Одна его воспитывала, безотцовщина, поимейте, ради Христа, это в виду». Не знавшая замужества женщина, мать-одиночка, измученная не только мелочными житейскими заботами, но и своим «маккиавелистым» сыном. Пожалуй, ради неё я готов был простить юного террориста, но, увы, педсовет вынес единодушный приговор — исключить!

Мать Елькина плакала и униженно просила, а он сам упрямо смотрел в сторону с ринувшимся вперёд лицом, с лицом, смахивающим на акулю морду, и короткая верхняя губа не прикрывала крупных неровных зубов... Смотрит в сторону, ничего не слышит, не выказывает жалости к матери, не желает расстаться со своей ненавистью, безнадёжен.

Антон Елькин и внезапное письмо...

А я-то грешил — господи! На кого? — на Татьяну Ивановну Граубе, столь же почтенную учительницу, как и я сам. В этом ходу ей тоже исполнится шестьдесят!

Антон Елькин! Как я мог забыть о нём!..

Учительская жила за моей спиной. Снова требовательно зазвонил звонок — перерыв окончен.

Чья-то рука мягко тронула меня за плечо. Я оглянулся — Надежда Алексеевна с озабоченным лицом.

— Николай Степанович, я вот тут к вам приглядываюсь... Вам что-то не по себе. Может, вам не стоит сегодня идти на уроки? Лучше домой, отдохните немного.

Как это соблазнительно — не пойти на урок!

Я не знаю, как оценить царя Ивана Грозного, не знаю, права ли Зыбковец вместе с Костомаровым, не знаю, как оправдать поставленную вчера двойку, как держаться с ребятами. Вчера входил в класс самоуверенный человек, считавший — каждое изречённое им слово есть истина. Сейчас нет уверенности ни в чём, смута и страх в душе.

Как соблазнительно спрятаться! Остаться бы наедине со своей непонятной болезнью.

Надежда Алексеевна с искренней тревогой заглядывала мне в глаза.

— Нет, отчего же... Я здоров.

Я подхватил свой портфель и, стараясь ни на кого не смотреть, пошёл на урок, пугающий, как первый урок в жизни.

21

Класс десятый «А» — тридцать восемь человек на перевале из детства в зрелость, девицы с развитыми формами, парни с тёмным пушком усов. Тридцать восемь человек, нетерпеливо досиживающие последние дни за школьными партами.

Мой класс, я в нём вот уже четыре года классный руководитель.

Тридцать восемь пар глаз уставились на меня с будничным ожиданием — впереди очередной урок, один из многих. Никто не подозревал, что их старый учитель Николай Степанович Ечевин к этому уроку пришёл неподготовленным и не прочь сейчас услышать подсказку.

Не спеша я перебрал работы, вынул сочинение Зои Зыбковец, положил перед собой, оглядел класс. Все тридцать восемь ждали...

— Я вам прочту...

И прочёл — цитата из Костомарова, короткое резюме: «Такой человек не мог желать людям лучшего... Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга».

Класс выслушал недоверчиво и настороженно — неспроста читает, должен клюнуть или погладить. Зоя Зыбковец опустила голову, одно плечо напряжённо приподнято, в скованной фигуре мучительное ожидание — клюнет или погладит?

— Вчера я за это сочинение поставил двойку. Вчера поставил, сегодня сомневаюсь. Давайте поговорим.

Прекрасно сознаю, непедагогично. Но сорок лет берёг свой авторитет, сорок лет воинственно занимал оборону! Пусть будет передышка, белый флаг на минуту.

Вопрос задан, но класс молчит, класс не верит мне: «На пушку берёшь».

Ну, отвечать-то их я могу заставить.

— Шорохова! Я начал с лучшей.

— Выйти к доске, Николай Степанович?

— Нет, можешь с места.

Лена Шорохова — копна волос, заполненная солнцем и воздухом, румяное открытое лицо с непроходящим выражением горделивой победности, ровные, сумрачно красивые брови.

— Я не согласна с Зоей. Иван Грозный казнил и вешал — мы все это знаем. Но мы знаем, что он завоевал Казань, при нём началось освоение Сибири, при нём на Руси появилось книгопечатание, при нём Россия стала понемногу связываться с Европой через Белое море...

Лена Шорохова — лучшая ученица, чемпион в классе по ответам. Она всегда наперёд знает, что я хочу услышать, и почти никогда не ошибается. И сейчас мне нравится её гордое лицо, её звучный убеждённый голос. Да, именно это я бы и хотел сказать сам в возражение Зое, слово в слово. Способная ученица.

— Так что важнее? — продолжала Лена. — Что важней? Убийство каких-то дьячковых жён или эти большие, исторические дела?

Лена Шорохова победно села. Класс выслушал её без какого-либо удивления или восхищения. Класс молчал со скучающим видом: «Ну, всё же ясно».

«Убийство каких-то дьячковых жён...» — с пренебрежением.

«Дьячковы жены», наверное, были молоды и красивы, иначе не позарился бы на них пресветлый царь Иван Васильевич.

Красивы, молоды, как Лена Шорохова.

У Лены на открытом румянном лице написано: не надо меня хвалить, не надо, зачем! Пышные, воздушные волосы, крепкие плечи, брови, которые, наверное, уже сейчас сводят с ума парней.

«Убийство каких-то...» В её возрасте мысль об убийстве даже мышонка должна вызывать отвращение. Для неё естественней впадать в девичий грех сентиментальности. И победное выражение на лице, и класс скучающе молчит. Что тут такого? Так и должно быть. «Убить каких-то...» Лена Шорохова кончает школу, я скоро напишу ей характеристику — способности выше всяких похвал, поведение самое примерное, прилежание самое наилучшее, общественница самая активная и, конечно же, хороший товарищ... Да, да, хороший товарищ, этого я не забуду написать. Всё по самой высшей мерке, каждое слово утверждение — лучшего человека быть не может, идеальна. И с такой характеристикой она выйдет в жизнь.

Гордые брови, сильное, упругое тело — создана любить и быть любимой, рожать детей, стать матерью. Но «убить каких-то» — эка беда.

Лена Шорохова сама, возможно, неспособна убить и мышонка, противно, но убить человека — не маму, не папу, не младшего братишку, совсем незнакомого, — раз нужно, то отчего же... Голосую — за!

На меня напало смятение, а класс сонливо молчал, класс ничего не замечал.

— Бочаров! — позвал я.

Вскочил Лёва Бочаров — невысок, подвижен, растрёпан, большеголов, лобаст, тонкая шея с проклюнувшимся кадычком, нос тувелькой, глаза наивны, невинны, голубы.

— Как ты считаешь?

Наивные глаза стали ещё наивнее — лазурное небушко, и подумать не смей, что за ними скрываются какие-то каверзные мыслишки.

— Что считать, Николай Степанович? Шорохова ответила, а уж нам где уж...

По классу загуляли улыбочки, запахло развлечением. Бочаров глядел на меня голубым преданным взором.

— Ты с ней согласен?

— Напрасно вы, Николай Степанович, обо мне плохо думаете...

— А если я плохо думаю о Шороховой?

По классу продолжали гулять улыбочки, но глаза Бочарова стали напряжёнными, сталистыми.

А лицо Лены Шороховой по-прежнему покойно — не надо хвалить! — надменный поворот в сторону Бочарова. Она и мысли не допускает, что ошиблась в ответе, не сомневается, что в конце-то концов я её похвалю. Она ждёт от меня хода конём, который выведет её в ферзи.

— Ну, что молчишь? — напомнил я Бочарову.

— А что говорить? — в голосе Бочарова вызов. — Вы подскажите, а я скажу. То, что нужно. Всегда готов.

— Что ж... Не хочешь, не надо. Садись.

Но Бочаров встал с желанием возражать: спрашивают — не отвечать, хотят посадить — садиться не следует. Он не любил чувствовать себя побеждённым.

— Если начистоту, я за Зыбковец, Николай Степанович.

— Почему?

— Иван Грозный Сибирь осваивал — дело, конечно, большое, но даже ради этого большого дела я не хотел бы ему помогать. Шорохова готова, а я вот нет.

Нос туфелькой, вызывающий лоб, посеревшие, утратившие голубизну глаза. А рядом с Бочаровым всё ещё блаженно улыбался Хлынов, здоровый верзила, преданный бочаровский адъютант, всегда ждущий от своего друга весёлой шуточки, ради шуточек верно служащий ему увесистыми кулаками.

Хлынов улыбался, но в классе повисло молчание, уже не то дремотно безразличное, какое было после ответа Лены Шороховой, а собранное, настороженное.

Все как-то уловили — сказаны серьёзные, стоящие внимания слова.

«Что важнее? Убийство каких-то дьячковых жён или эти большие, исторические дела?»

Хлынов жмурится.

— Хорошо, — произнёс я, преодолевая лёгкую сипотцу в голосе. — Ты за Зыбковец, за её взгляды, но почему ты написал сочинение, похожее на шороховское?

Бочаров сердито покраснел, потемневший взгляд стал злым, колючим.

— А мне, Николай Степанович, наплевать на царя Ивана и не наплевать на отметку, которую вы поставите в журнал.

Молчал класс. Ожидая ухмылялся Хлынов. Шорохова глядела мимо Бочарова и презрительно кривила сочную губку. Она надеялась на ход конём с моей стороны.

— Садись, Бочаров.

Он сел.

Молчал класс, молчал и я.

Давным-давно жил грозный царь Иван Васильевич, немало крови он пролил на своём веку. Что было, то было, принимай Ивана Грозного таким, каким он попал в историю.

Я люблю историю здраво и беспристрастно, не снисхожу к симпатиям и антипатиям. Кровав?.. Да, кто спорит! Но кровь-то эта питательна. «Убийство каких-то... жён...» Подумаешь. Как на опаре, поднялось русское великодержавное государство от Балтики до Тихого, от льдов полюса до прокалённых песков Кушки. Люблю историю...

Я, педагог, не воспитал негодования к убийству.

«Борьба Ивана Грозного носила прогрессивный характер...» И можно ли историю воспринимать холодно, без сердца? Не должна ли давным-давно пролитая кровь обжигать нас сегодня, как и кровь свежая?

Молчал класс, молчал и я.

В лице Шороховой появилось беспокойство, видать, начала догадываться, что хода конём не будет. Хлынов перестал ухмыляться, недоуменно косился на друга Лёву. А друг Лёва сердито прятал глаза.

После уроков я попросил Лену Шорохову проводить меня. Мне хотелось разглядеть в упор этого человека. Я проучил её четыре года. Всегда она выделялась, всегда на глазах — лучшая из лучших, украшение земли.

Через меня прошло больше трёх тысяч учеников. Это что-то около восьмидесяти классов. В каждом классе непременно была своя Лена Шорохова, а то две или три — лучшие из лучших...

Любил шороховых, не уживался с бочаровыми, не замечал таких, как Зоя Зыбковец.

Она идёт со мной рядом. Господи! Какой румянец на её щеках, густой, бархатный, звучный! И какие глаза, тёмные, встревоженные, с золотой глубинной искрой. Щедра ты, мать-природа! Прекрасен человек!

Улица полуденна, прокалена уже нешуточным весенним солнцем, благоухает бензином перегаром и тополиной горечью — уж не лопнули ли в ближайшем скверике почки?.. Прохожих достаточно, но они сейчас не суетны, а, скорее, ленивы.

Улица почему-то теперь меня не пугает, хотя я постоянно помню о письме в кармане. На улице я, дичь, скорей всего налечу на охотника — «Ваш бывший ученик», честь имею!

— Какой предмет ты больше всего любишь? — задаю я Лене банальный вопрос.

И она тем не менее сразу не отвечает, загнав соболиные брови под беретик, думает. У неё по всем предметам круглые пятёрки, какому отдать предпочтение?

— Историю ты любишь?

— Да, Николай Степанович.

— А черчение?

— Черчение? — переспрашивает она удивлённо.

Я нарушил субординацию: после истории, своего — понимай, наисущественнейшего! — предмета, я вдруг спрашиваю о каком-то черчении.

— Люб-лю, — неуверенно говорит Лена на всякий случай.

— А математику?

— Люблю.

— А литературу?

— Люблю.

— А биологию?

— Люблю тоже.

— А что же ты не любишь?

Лене неловко от своей любвеобильности, и она несмело поправляется:

— Я вам не совсем верно сказала, Николай Степанович. Черчение я не очень... Кропотливо, время отнимает, а ни уму, ни сердцу.

— А кем ты собираешься стать?

— Точно пока не скажу... В какой-нибудь технический вуз.

— В технический?.. Но ты же черчение не любишь, а там это основной предмет. И зачем тебе технический? Ты же любишь историю.

— Что же, я не прочь на историка...

— Или же на физико-математический! Там черчение не нужно, готовят не техников, а теоретиков.

— Я бы туда с удовольствием, только ведь не каждый попадёт...

— А биология... Впрочем, мы, кажется, уже дошли. Мне направо... Всего хорошего.

— До свидания, Николай Степанович, — бормочет несколько растерянная Лена.

— А черчение ты полюби... на всякий случай.

— Хорошо, Николай Степанович.

Господи! Какой румянец на её щеках! И какие брови.

Я шёл под напористым весенним солнцем в длиннополом, слишком тёплом пальто, топтал на асфальте свою кургузую тень. Мне надо где-то посидеть, прислушаться, разобраться в своих перепутанных мыслях, решить для себя вопрос: кто таков Николай Степанович Ечевин, проживший на белом свете шестьдесят лет? Что он за человек?

Я свернул в жиденький пустынный, с юными деревцами-удочками скверик при одном из многоэтажных зданий позади проспекта Молодости, присел там на скамеечку.

За оградой хороводились прохожие, в самом скверике кроме меня было только двое — мальчуган лет десяти и собака.

На мальчугане школьная фуражка сбита на затылок, пальтишко с оборванными пуговицами нараспашку, лицо красно и потно. Собака, низкорослая неказистая дворняга с вислыми ушами, со смыслёной, почтительной, как у хорошего референта, мордой, с грозным именем Пират.

— Пират! Фу!.. К ноге, Пират!.. К ноге, тебе говорят! Ты слышишь, к ноге же! Ну!.. Молодец, Пират! Умница! Вот возьми...

И референтно-почтительный Пират весело расправляется с куском сахара.

Лена Шорохова... Что ж, она довольно-таки распространённый тип в людской среде — добросовестный попугай. Умеет зазубрить, умеет «с чувством, с толком, с расстановкой» повторить зазубренное. Нравится — не нравится, любишь — не любишь, она просто не должна иметь пристрастий и антипатий, иначе нарушится её гармоничная округлость ученицы-пятёрочки. Полюби что-то чуть-чуть сильнее, удели на это чуть-чуть больше времени, глядишь, на другое тебя не хватит, не вытянешь на пятёрку, не станешь кругло смотреться.

Николай Степанович Ечевин, тебя упрекают: «Страшно, что Ваши ядовитые ученики — а они есть! — обретут уверенность в себе, начнут отравлять дальше и плодить ядовитых. Страшен Ваш дух! Кто знает, на сколько он переживёт Вас, если не помешать».

Я страшен?.. «Бывший ученик», «алкоголик», «философ забегаловок» впадает в ту же ошибку, в какую впали неумеренные карасинцы, перевозносившие меня во время юбилея: «Выдающийся... Самоотверженный... Ум и совесть...» Лены Шороховы и те, что хуже её, появляются не по моей воле, не моими усилиями. В человеческой среде всегда рождается какой-то процент таких вот попугаистых и просто бессердечных особ. Обвиняй за это господ бога и не преувеличивай значение Николая Степановича Ечевина!

— Пират! К ноге!.. Вот так, Пиратушка! Вот так... Ну, что?.. Что смотришь?.. Нет у меня сахара. Нет. Ты всё съел...

Мальчишка говорил нарочито громко, недвусмысленно поглядывал на меня. На что же рассчитывает этот собачий педагог? Не думает ли он, что я ношу с собой сахар специально для таких вот случаев?

— Дяденька, сколько времени?

— А ты, дружок, в какой смене учишься?

— У нас сегодня уроков нет. У нас Наталья Ивановна заболела.

— Ты откуда?

— Я с Речной улицы.

Речная — другой конец города. Не нашей школы.

— А как же ты здесь оказался?

— Я к нему хожу. — Мальчишка указал на собаку, которая уже умильно и ласково поглядывала на меня. — Он здесь живёт. Как свободное время, так к нему. Учить-то надо. Совсем был неучёный. Теперь вот... Пират! К ноге!.. Ну, Пират!.. Он сейчас знает, что у меня уже сахара нет. А так очень способный.

— За сахар учится?

Мальчуган сконфузился за корыстолюбивого пса, а вислоухий Пират ничуть, умненько и уважительно поглядывал на меня, как вышколенный гардеробщик, ждущий чаевых.

— Десять копеек сто грамм.

— Какие сто грамм?

— Да сахар, рассыпной...

— Что же с тобой делать, возьми.

Мальчуган почтительно, но как должное принял монетку, быстро снял с себя пояс, накиннул петлёй на шею псу, вручил мне конец.

— Подержите, а то убежит... Я быстро, без очереди...

Я остался наедине с псом, не прошедшим полный курс обучения из-за нехватки сахара.

Пират сидел у моих ног с участливо понимающей мордой, перехватывал мой взгляд и вежливо возил по песку хвостом. Славный пёс, ты ни в чём меня не подозреваешь, ты целиком доверился мне, спасибо тебе за это.

Что я делаю? Жалуюсь на недоверие! Я! Тот, кто недавно был вознесён до небес, кто не обойдён ни званиями, ни наградами, кого почтительно величают — шутка ли! — первым гражданином своего города. И после этого жаловаться — не понят, нет доверия! Чудовищная неблагодарность.

Да, вознесён. Да, доверяют. Только я ли вознесён? Мне ли доверяют? Не другого ли Николая Степановича Ечевина, вымышленного, имеют при этом в виду? Вознесён и облечён доверием некий идеальный герой. Я не тот, моя жизнь не идеальна, она с проторями и убытками, я не лучше других, хотя, наверное, и не хуже.

Сорок лет я как умел рассказывал детям о прошлом и свято верил — это им пригодится в будущем. В светлом будущем, только в светлом! Я считал себя его строителем.

Лена Шорохова...

Мне как историку в общем-то хорошо известно, чем кончались усилия тех, кто пытался создать «новый порядок» через «убить каких-то», через лагеря с газовыми камерами и колючей проволокой. Светлое будущее! Лена Шорохова не уберёт из этого будущего колючей проволоки.

23

Мне под ноги упала тень. Пират поднял умную морду, доброжелательно повозил хвостом по земле. Надо мной кто-то стоял.

Сначала в поле моего зрения попали туфли, мужские, монументальные, на толстой подошве, потом пола тёмно-синего плаща, крупные руки с натруженными венами и, наконец, яркое клетчатое кашне. Я вздрогнул — в клетчатом кашне тонул скошенный подбородок. И оскал рвущихся вперёд зубов...

Надо мной стоял и улыбался он... Антон Елькин.

На нём новенькая, чуть посаженная набок шляпа, да и весь он с иголочки новенький, необмятый, показательный, как бесхитростно выряженный манекен в витрине провинциального магазина. Только лицо выставочного Елькина не гладкое и не запоминающееся, а потемневшее, сморщенное, по-прежнему порывающееся вперёд вслед за острым носом, и по-прежнему верхняя губа не прикрывает хищных зубов.

— Николай Степанович, вы не узнаете меня?

В сквере пусто, не считая Пирата, восседающего вежливо и скучающе. За реденькими подстриженными кустами, за неширокой полосой асфальта юная мамаша толкает детскую коляску к дверям магазина. Пронеслась мимо «Волга»... «Мне не надо спасать свою шкуру. Это намного облегчает мою задачу...» — автор письма не сомневался в своём успехе. И каким гангстером должен стать за это время Антон Елькин?..

— Ну, конечно, где вам узнать меня, Николай Степанович. Таких, поди, тыщи прошли мимо вас.

Обмерший на скамейке, молчаливо пялящий глаза, судорожно вцепившийся в ремешок неказистой скучающей собаки — ощущение собственной нелепости придало мне силы, голос мой был чужим, глухим и бесцветным:

— Таких, как вы, немного... Елькин.

И он возрадовался, показывая все свои зубы:

— Узнали! Надо же!.. А я второй день возле школы толкаюсь — вдруг да, думаю, вдруг... Никого так не хотелось встретить, как вас, Николай Степанович.

— Что ж, вот... встретили.

— Надо же! Повезло!

Он топтался, а в любую минуту в скверик могли войти люди, и скоро должен вернуться мальчишка...

— Знаю, знаю, вы меня не любите... да за что?! Подлецом был, каюсь!

Не только в его голосе слышалась непонятная радость, но, странно, глаза его выражали смущение.

— Но теперь я другой, Николай Степанович, совсем другой! Человеком стал. Под Москвой работаю, в научном ОКБ, токарем, шестой разряд имею.

— Очень рад.

— Вот в газетке прочитал о вас и засосало... Над кем измывался, гадёныш! Совесть покою не даёт: пакостил вам, а вы... Хотите, верьте, хотите, нет, а вы — да, да! — от пакудничества меня отвадили.

— Хоть теперь-то, Елькин, не издевайтесь. Ничего я с вами поделать не мог.

— Эх, Николай Степанович! Думаете, не знаю — заступались вы за меня, чтоб из школы не исключали... Один вы, все остальные учителя словно с цепи сорвались. А я им столько не насолил, сколько вам...

Уже подбирающийся к старости мой бывший ученик, которого при всём желании я не мог бы назвать удачным. Толща десятилетий, собственно, вся его самостоятельная жизнь — лицо-то в морщинах! — пролегла между нашим расставанием, никак не добрым, и этой минутой. Сейчас вижу в его узко посаженных к переносице глазах подзрительную влагу, и зубастая улыбка вовсе не хищна, а растерянна.

— Неужели вы меня вспоминали? — искренне удивился я, всё ещё не смея верить.

— Николай Степанович! — с жаром, с содроганием. — Я потом всё, всё кусочек по кусочку складывал: и как вы меня гоняли на уроках и как хорошие отметки ставили, ежели отвечал, и колы всаживали... Честные колы, Николай Степанович! Кусочек по кусочку сложилось, как вы за меня, скотину, воевали. Против меня — за меня! А верно, верно, хотел вас... да, кирпичом! Вас!.. О-о! Уже взрослый был, а как про это подумаю, так кипятком обдаёт. Стыдно! Стыдно! И за белые брюки стыдно... — Елькин подался вперёд, задышал. — Если можете... простите меня — за всё разом!

Господи! За прошлое, ушедшее, прощать не только просто, но и приятно.

— Давно вас простил, — ответил я.

И Елькин возликовал, затоптался, замахал рукавами новенького плаща.

— Я знал, знал! Да разве такие, как вы, зло могут помнить?.. Вот ежели бы я... Эх, сделать бы вам что-то, пусть малое, но хорошее! Но где там... Не дано.

— Вы уже сделали, Елькин.

— Что?

— Добрые слова сказали. И вовремя.

Он подавленно махнул рукой.

— Вам? Мои слова?.. Эва! Поди, со всех сторон одни благодарности слышите. От культурных людей, не мне чета... А в газетах сколько хороших слов о вас понаписали...

— А ваши дороже.

— Ну-у...

Пёс обрадованно вскочил.

— Вот и я... Спасибо, дяденька.

Мальчишка, запыхавшийся, розовый, счастливый, держал в руке бумажный кулёчек — концентрат будущей собачьей мудрости.

— Десять копеек сдачи возьмите... Пират! Ко мне!

У меня отняли собаку, я поднялся, протянул руку Елькину.

— Вы даже не представляете, как мне сейчас помогли.

— Ну-у... — Елькин почтительно подержался за мою руку. — Если такому балбесу большое добро сделали, то хорошие-то ученики, те, кто брать могли, что тогда получили? Ну-у...

Он, задохнувшийся от уважения, всё-таки под конец подпортил мне праздник. Хорошие ученики... вроде Лены Шороховой. Да, они брали у меня всё, что давал. Поблагодарит ли в будущем меня Лена Шорохова? И тот бывший, что написал письмо, не из хороших ли учеников?..

Но какой сияющий день обнимает город. Улица насквозь прогрета, обласкана. Тихая улица, отделённая от шумного проспекта величественной баррикадой зданий. Прохожие то ли разнеженно жмурятся от молодого солнца, то ли улыбаются от весеннего счастья тебе, случайному встречному. И можно понять мальчишку, сменявшего школу на покладистую дворянку, — в такой день невыносимо под крышей, тянет под бездонное небо, на свободу, к отзывчивому другу, к бездумным маленьким радостям. Счастье жить на белом свете, чудесен он!

Самый враждебный из моих учеников благодарил сейчас. С дрожью в голосе. А когда-то целился кирпичом в голову... Благодарил — невообразимо, противоестественно.

Ой ли? Чему, собственно, удивляться? Воевал я или нет за этого неуживчивого балбеса? Защищал или не защищал его?.. Было! Было! Он повзрослел, поумнел, проникся. Чуда нет, всё естественно.

Ей-ей, Николай Степанович Ечевин, в тебя верят, а ты разуверился, казнишь себя за грехи, забываешь о достоинствах. Они всё-таки есть в тебе, достоинства. И грехи тоже. Кто без грехов? Больше ли их у тебя, чем у других?

Лена Шорохова — твой грех? Да, допустим. Но столь ли он страшен, чтоб им уничтожать себя без пощады? «Убить каких-то» с бездушной лёгкостью. Ты ужаснулся — бессердечна! Ан нет. Попугай не сознаёт того, что говорит. Можно ли сомневаться — никогда и никого не убьёт в своей жизни. Будет любить, будет любимой, все данные тому налицо. Умопомрачительные брови, цветущее здоровье взывают к жизни, не к смерти. Сейчас сияющий день, незачем портить его Леной Шороховой, во всю силу возрадуйся перерождению Антона Елькина.

Но письмо... Оно у тебя в нагрудном кармане, лежит против сердца. Его написал не Антон Елькин, а, сколько ни шарь в своей памяти, большего врага нет, не найдёшь — никто не испытывал к тебе такой ненависти, чтоб сокрушить череп кирпичом. Кто-то же написал это письмо! Чья ненависть обращена к тебе? Чем её объяснить?

Светлый день не терпел загадок, объяснение прямо-таки свалилось на меня с синего неба, простое, как любое озарение, подарок свыше.

Тебя поразило признание в письме: «Кто я? Я алкоголик, и это самое яркое моё отличие. Во всём остальном ничтожество...» Подозрительный философ забегаловок... Поразился и не увидел — вот он, ответ!

Конечно же, среди тысяч твоих учеников должны оказаться и неудачники и свихнувшиеся ничтожества. Навряд ли ты в том сильно повинен. Людская жизнь, увы, всегда выбрасывает пену.

Сознавать своё ничтожество и не озлобляться на удачливых? Прочитать в газете о твоём юбилее и не проникнуться злобной завистью?.. А он к тому же и алкаш, пожирающее пламя зависти привык топить в водке, самоотравляя себя при этом — сам признаётся! — подозрительной философией. И в пьяном угаре растравил себя — возомнил ангелом-мстителем. Элементарно же, письмо — всего-навсего пьяный бред, о котором забывают напрочь, когда приходит похмелье.

Согретая улица передо мной, тонкое голое деревцо застенчиво бросает кружевную тень на просохший асфальт, на складном дюралевом стулике под стеной — солнечным пятиэтажем — восседал усохший древний старичок, с невозмутимой бессмысленностью созерцающий радостный мир. Даже этот отрешённый дед воззрился с тревожным недоумением, когда я вдруг рассмеялся.

А как мне не смеяться!

Потерявший голову заяц метался сам от себя. И стоит воочию представить себе этого затравленного зайца: солиден и почтенен, обременён прожитым шестидесятилетием, натужно пытается сохранить величавость — умри, но будь респектабелен. Такой-то вот суетливо убегает и нагоняет себя, честно пытается разделаться с собой и хитрит, увиливает, плетёт затейливые петли.

А сколько несусветной подозрительности, изощрённой фантазии породил страх! Даже Таню Граубе, добрейшую, любящую, ныне уже пожилую интеллигентную женщину, вообразил... О господи! Таня — убийца! Совсем спятил, заяц! Ну, как не расхохотаться. Устраивает же жизнь весёлые шуточки.

Слава богу, что ещё не кинулся под защиту милиции: спасите! Милиция — от самого себя... То-то бы веселились люди за твоей спиной. Фу-у, хватит!

Я решительно свернул с тихой улицы к шумному проспекту, к людям, которых только что по-заячьи боялся. Вышагивал и изумлялся своей простоте, качал головой: ну и ну, клюнул на пьяную выдумку.

Ах, хорошо сейчас в буйно весеннем городе. Хорошо и успокоительно легко в толпе — человек, как и все, один из многих. Вместе с людьми, в окружении их идти и идти без конца...

Но я подошёл к своему подъезду. Мой дом для меня не самое весёлое и уютное место на земле, но всегда покорно прячусь в нём. И сейчас не могу миновать, должен подняться на пятый этаж...

24

Дом — школа — дом — школа. Основная жизнь у меня в школе, там я обычно оставляю девять десятых своих сил. Школа — мой крестный путь до могилы, а дом — лишь транзитный зал ожидания при пересадке с одного дня на другой.

Отперев своим ключом дверь, занося ногу за порог, я услышал негромкие голоса — в доме гостя, не та, что радует сердце. Младшая дочь Вера...

В нашей белой кухоньке уютно и празднично. Стол застелен хрустящей скатёркой. Висящее над крышами, уставившееся в наше окно косматое солнце разбилось, разбрызгалось по чашкам, чайнику, сахарнице — старинный фарфор в обильной позолоте, фамильная реликвия жены.

Жена, устало обмякшая, вдавленная в стул, неповоротливая, виновато и кротко блеснула на меня очками, на рыхлом, расплывшемся лице давно подготовленная мольба: «Ради бога, Коля...»

Вера, тонкая, натянута прямая, взведённая, ускользающе глянула куда-то мимо моего уха, кивнула головой. У неё малярно жёлтое лицо, высокий, но узкий, сдавленный с висков лоб, худоба ощущается даже в кончике носа, глаза широко распахнутые и непроницаемо пустые, не пускающие чужого взгляда внутрь. И она, как всегда, дурно одета, оскорбляюще для родительского глаза: неизменный серенький жакетик, жмуций под мышками, застиранное ситцевое платье в клоповых цветочках, красные огрубевшие руки вылезают тонкими запястьями из слишком коротких рукавов. Эти белые хрупкие девичьи запястья всегда вызывают у меня саднящее чувство, напоминающая мне Веру в нежном возрасте, ласковую Веру, не ведающую о несчастьях.

Она давно несчастна, заразно несчастна, не только сама тонет в беде, родители захлёбываются её неудачами.

Мы с женой не знали от детей особой радости.

Я прилагал все усилия, чтоб две старшие дочери учились хорошо. Наверно, слишком большие усилия. Привыкли, что дома за спиной постоянно стоит строгий отец: «Ты выполнила задание? Ты выучила? Ты прочитала?» Выполняли, учили, в школе были не на плохом счёту, краснеть не приходилось, но какого труда это стоило!

Хотелось, чтоб они продолжили дело отца. В мечтах я уже видел себя родоначальником педагогической династии Ечевиных. Дочери не возражали против пединститута. Не возражали, но особенно не стремились — раз надо, так надо, не всё ли равно, куда. В институте не стоял за их спинами требовательный отец: «Ты выучила? Ты подготавливала?» Старшая дочь ещё кое-как, с трудом получила диплом и назначение на работу в глухой лесной посёлок. Там она поспешно вышла замуж за начальника лесопункта, старого холостяка, нарожала детей, бросила учительскую работу, пишет сейчас скупые письма: «Живы, здоровы...»

Средняя бросила институт в первый же год, устроилась в больницу медсестрой. Странно, никогда она не отличалась ни мягкостью, ни участливостью, напротив, молчалива и нелюдима, но, должно быть, медсестрой оказалась и внимательной, и самостоятельной, и наверняка толковой. Жизнь себе она прокладывала какими-то порывистыми скачками — помогала в операциях ведущему хирургу, метнулась от него на какие-то медицинские курсы, не задержалась там, сдала в медицинский областной институт, через год перебросилась в Ленинград, пожелала учиться у какого-то медицинского светила, где-то прирабатывала, как-то жила, училась. Светило после окончания пригласил её к себе в клинику, а она отказалась, добилась распределения в ту периферийную больницу, где начинала медсестрой. Теперь она там главврачом, держит в ежовых рукавицах медперсонал, в том числе и старого хирурга, которому когда-то помогала оперировать. Больница её славится по области. Казалось бы, я должен радоваться успехам дочери. Не могу, да и не имею права — добилась всего наперекор мне. И сама она неохотно вспоминает родителей, ни разу не приезжала в гости, не приглашала к себе, писем не пишет, лишь аккуратно шлёт поздравления на Новый год, на дни рождения. У неё что-то не ладится с замужеством...

Старшие дочери до обидного похожи на меня — носаты, ширококосты, не ладно скроены, да крепко сшиты. Младшая, Вера, росла на редкость миловидной — хрупка, нежна, рыжеволоса, голубоглаза. В мать?.. Пожалуй. Только чудесно улучшенный вариант, без каких-либо следов телесной сырости, душевной варёности — легка, звонка, смешлива, остра на язычок.

И училась она хорошо, не приходилось стоять за спиной.

Иногда, видя её склонённую над столом бронзовую, расчёсанную на косою протор голову, её белую, тонкую, с трогательной косточкой у основания шеи, я чувствовал — не перенесу, задыхаюсь, сердце останавливается от любви к ней. И не только к ней. Я начинал всё любить без разбора. — её мать, свою рыхлую слезливую жену, яркость дня, если была солнечная погода, сырую уютную пасмурность, если за окном шёл дождь, первого встречного на улице за то, что живёт в одно время с ней, под одним с ней небом.

Возле неё я даже ощущал себя как бы бессмертным. Так ли уж важно, что я, нелепый, скрипящий, отнюдь не совершенный, в конце концов исчезну с лица земли. Вон сидит возрождённая из ничего моя кровь, моя плоть, моя молодость. Моё Я будет дряхлеть и распадаться, но никогда до конца не исчезнет. Вон она с белой шейкой, нежная, хрупкая, совсем не похожая на меня, видоизменённая, улучшенная — мой шаг в вечность, в беспредельное.

Шестнадцать долгих лет я был глубоко убеждён, что она появилась на свет с единственной целью сделать меня, недостойного, счастливым.

И вот в девятом классе...

Это несчастье вползло к нам постепенно — вместе со слухами с улицы, вместе с испытующе пристальными взглядами коллег-учителей, вместе с переменной в характере Веры, её заплаканными глазами, её необычайной кротостью, её беспричинными истериками и, наконец, чудовищно неправдоподобными, но тем не менее очевидными приметами.

Мы не могли в это поверить сразу — долго прятались, оскорблялись, благородно негодовали на гнусных сплетников и... конце концов пришлось поверить — чудовищно, но это так!

В девятом классе Вера забеременела. Шестнадцати лет!

Бронзоволосое голубоглазое чудо, щедрый родник любви и радости, моя возрождённая молодость, олицетворённое бессмертие... Все шестнадцать лет я верил в это, шестнадцать лет я был пьян своим тихим счастьем.

Она училась в нашей школе. Я тогда, не снимая преподавательского бремени, тащил на себе воз заведования учебной частью.

Теперь, похоже, не столь болезненно относятся к подобным случаям — щекотливы, но не катастрофичны. Тогда нравственность оберегали не в пример строже, если не сказать — беспощадней. И хоть аборт уже не считались уголовным преступлением, но широкая огласка была неизбежной.

Стрясись это с любой из учениц — широкий скандал, бедствие для всей школы. По всему городу суды и пересуды, родители оскорблены в своих лучших чувствах, переполнены страхом за своих детей, роно организует специальные комиссии, облоно засылает угрожающие запросы, вмешиваются городские организации. Моральное разложение в стенах школы, шутка сказать!

С любой из учениц — бедствие, а тут дочь педагога. Я имел за спиной тридцатилетний безупречный педагогический стаж, считался одним из лучших учителей города. И вот этот-то лучший, опытнейший, авторитетнейший не смог достойно воспитать свою дочь, можно ли доверять ему воспитание чужих?

Что ни шаг, я наткнулся на недомолвки, на двусмысленные шуточки, слышал за своей спиной похотывание, купался в липких взглядах, направленных со всех сторон.

И директриса школы, молодая и энергичная бабёнка, не работавшая никогда настоящим педагогом, а всего лишь руководившая, встречала меня не иначе как с выражением нестерпимой зубной боли, ежедневно бегала в роно советоваться: «А на самом деле, не освободить ли Ечевина?..»

И я должен был избегать встреч с родителями учениц, уже вошедших в пору любовных томлений и подходящих к оной.

А домой наведывались любопытствующие и беспардонные соседи, прикрывающиеся маской сочувствия и доброжелательности, норовили решить со мной всепланетный вопрос о нравственном падении в наш суетный и греховный век.

Жена, и в покойное-то время постоянно ожидавшая беды, теперь валялась с примочками и припарками. Удушливо пахло лекарствами.

Выпроводив соседей, закрывшись, забаррикадировавшись, я, недостойный воспитатель, недостойный отец, наступал на дочь:

— Кто он?

В подурневшее, опухшее от слёз, пятнисто красное лицо:

— Кто он, развратная девка?

И деревянное молчание, и мертвенное равнодушие опухшего лица, и взгляд в сторону затравленных красных глаз. Безобразна и бесчувственна — ни слова в ответ.

Бронзоволосое чудо! Прозрачная молочность кожи, ясная голубизна глаз, неистощимый родник радости... Всё, что было, обман. Истинный вид, вот он — безобразна, бесчувственна.

Кто?.. Он неожиданно сам явился ко мне на дом. Крутые плечи, боксёрская причёска, до зелени бледное лицо, уваливающий взгляд.

— Я люблю её. Мы любим... — бессвязная сентиментальная дребедень, взятая напрокат из душеспасительных романов, готов, видите ли, жениться, «благословите, батюшка»!

Учитель физкультуры! Новый удар в спину. Если бы ученик, то к прежнему позору не прибыло бы — моральное разложение как было, так и есть, только до конца выявлено. Но учитель!..

Я представил, каким кипящим фонтаном забрызжет на меня наша директриса. Под её ногами загорится земля: морально разложились в школе не только ученики, но и учителя! Директриса постарается выскочить из пламени, сунуть туда меня.

Готов жениться, великовозрастный дурак! Готов, будто не знает, что это вопреки законам, писаным и неписаным. Невесте же всего шестнадцать, ни один загс не оформит брака. Готов, ишь ты, самоотверженность. И увиливающий взгляд, и губы дрожат — знает, кошка блудливая, чьё мясо съела, пока не поздно, пришёл с повинной.

— Я люблю её... Мы любим...

Этому Казанове с боксёрской причёской повезло. С общего согласия роно, директрисы, да и меня тоже решено было не раздувать сыр-бор, а потому Казанову уволили с преподавания физкультуры с нелестной, но, однако, не убийственной формулировкой, предложили исчезнуть из возрождающегося города Карасино. И он поспешно и охотно это сделал.

— Я люблю... Мы любим...

Где уж. С тех пор от него ни звука.

Я сам настаивал, чтоб Веру исключили из школы. Да и как иначе? Могла ли она снова сесть за парту? Ученики глядели бы на неё, как на воплощённую непристойность, презрительно и вожделенно. Я же должен был как-то показать, что не мирволю, наоборот, резко осуждаю поведение беспутной дочери. «На том стою и не могу иначе!»

Не мог, да, признаться, и не хотел. Родник счастья... Как я её любил! В душу плюнула... Я перестал разговаривать с дочерью,

Ребёнок прожил два месяца и умер. Вера устроилась учётчицей на автобазу.

Я мечтал о педагогической династии Ечевиных. Одна дочь у меня домашняя хозяйка, другая мне вопреки врач... Автобаза при строительном управлении — грубый мир шоферни, сердитые, с площадным фольклором споры о простоях, постоянно всплывающие истории о «левых» ездках, о махинациях со стройматериалами.

А когда-то она читала Плутарха из моей библиотеки, знала наизусть куски из «Илиады».

Жена снова лежала с примочками, снова в наших стенах едко пахло нашатырным спиртом. Вера не только устроилась на работу, но и получила койку в барачном общежитии. Рыженькая девочка с молочной шейкой...

Десять лет прошло с тех пор. Был ли в этом десятилетии день, не отравленный судьбой Веры?..

Не советуясь ни с кем, она вышла замуж. Муж, шофёр, которого милиция эпизодически лишала права садиться за руль, её бил. И ко всему у них появился сын...

Неудачи Веры никогда не были только её собственностью, всегда перекидывались под крышу родного дома. Заразно несчастна!

25

Вера частенько навещала мать, старалась делать это, когда я был в школе. В последнее время, похоже, дочь стала приходить не только к матери.

Вот и сейчас... Гладко зачёсанные назад волосы стянуты в узелок на затылке, и кажется, кожа лица так туго натянута, что проступают все кости, ни дать ни взять изнурённая страданиями за весь род людской богородица.

И скользкий мимо меня взгляд. И робкий взгляд жены: «Ради бога, Коля!»

— Налить?.. — со вздохом, словно с места на место перевалила тяжкую глыбу, спросила жена.

— Налей.

— Отец!.. — неожиданно с чистым звоном в голосе произнесла Вера.

Полная рука жены, протянувшаяся за чашкой, дрогнула.

— Отец! Ты кругом меня обворовал, не воруй последнее.

— Верочка... Ну что я тебе говорила?

— Мама, ты всё уступаешь, а я уж к стенке прижата, отступить мне некуда.

Куда девалась непробиваемая пустота в глазах — сухие, синие, горячие, и лицо медное, чеканное. Не смиренница — страсотерпица, от такой покорности не жди.

— Я тебя обворовал? — спросил я. — Может, признаешься: сама себя раба бьёт.

— За своё я сполна ответила. Не бей лежачую!

— Ох, Вера, Вера, сук под собой рубишь, — пробормотала мать.

Между нами назрела война. Нам крайне нужно поговорить без крика, без слёз. Я хочу глядеть ей в глаза, я хочу слышать её возражения.

В прошлом году Вера преподнесла нам новенькое.

Я давно уже с бессильным страхом ждал, что от жизни в барачной клетушке, от пьянства мужа и его побоев она рано или поздно свихнётся. Я боялся, что она сама начнёт пить горькую.

Нет, пить она не начала, а стала баптисткой. Дочь учителя, выросшая в сугубо атеистической семье, любившая когда-то книги, хорошо знавшая, что человек произошёл от обезьяны, а не от Адама, и что души праведников не уносятся в небо.

В городе Карасино было два Дворца культуры и ни одной действующей церкви. Ту старую, что когда-то верно служила селу Карасино, закрыли ещё где-то в тридцатом при торжественном сбрасывании колоколов. О баптистах же здесь прежде и слыхом не слыхали. Они тихо выплыли после войны.

Их сначала просто не замечали, а потом принялись с ними бороться — накрывали их моления, писали о них нелестно в газетах. По городу же гуляли разные слухи: баптисты собираются и пляшут нагие... Нет, они от военной службы отказываются...

Один из бывших баптистов, взявшись за ум, отрёкся от своих, показывал себя во Дворце культуры, выступал против религии. В конце концов с баптистами смирились, разрешили им собираться открыто — молись, если уж так приспичило, закон не запрещает. И жители города постепенно потеряли к ним интерес, хотя для нормально-

го карасинца баптист всё равно оставался тёмной лошадкой — если он и не пляшет нагишом на сборищах, то всё равно живёт не по-людски и думает «не по-нашенски», свихнувшийся.

Вера, с ранней юности носившая на себе печать девического позора, жена горького пьяницы, руганная и битая, кругом обездоленная, как нельзя больше подходила для жалости: «Люби ближнего своего». И: «Бог есть любовь!»

За горькие испытания, за стойкость в вере, возможно, и за грамотность карасинские баптисты выбрали её своей старшей, пресвитером — на их языке.

А пресвитер не только глава, он ещё и дипломатический представитель, эдакий аккредитованный постоянный посол от баптистов к местным властям. О Вере узнали все, узнали тогда и мы с женой.

Новая пища для пересудов. Новый позор на мою седую голову...

Впрочем, на этот раз меня больше жалели, чем осуждали. Та, которая однажды нравственно упала, уже никого не удивила своим вторичным падением. Все считали, к баптистам ушла морально неизлечимая особа, давно уже ничем не связанная с отцом.

Я тоже не рассчитывал, что отцовские убеждения ей помогут, как не помогли ей кулаки мужа. А муж её, оказывается, был убеждённым атеистом. В пьяном виде усиленно убеждал: «Бога нет, сука!»

Но у Веры сын, мой внук...

Могу ли я спокойно наблюдать со стороны, как ребёнок шести лет делают святошей?..

Я давно мечтал вырвать его из грязи, из бедности, оградить от кулаков и матерной ругани пьяного отца. Но я не имел достаточно веских причин, чтоб с помощью закона отобрать внука. Пил и безобразничал отец — и то поди-ка ещё докажи! — а мать внешне вела себя безупречно, нельзя наказывать её лишением материнства.

Теперь сама мать даёт повод.

Я не хотел бы ещё раз обижать Веру, заставляя её страдать.

Не хотел бы, но... Как всегда, Вера выступает в роли врага самой себе. И, как всегда, через моё посредничество!

Вбивать ребёнку сказки о боге, о райских куцах, о бесхитростном бессмертии души!.. Вбивать их сейчас тому, кто станет жить в те дни, когда начнутся полёты с планеты на планету, когда высоко мыслящему человеку будут помогать им созданные мыслящие машины, когда, возможно, человек совершит наконец то, что извечно приписывалось лишь господу богу: из неживой природы сумеет создать уже не имитацию жизни, а саму жизнь!.. И в такой-то мир всечеловеческого могущества пустить эдакую ветхозаветную особь, поклоняющуюся отцу, сыну и духу святому, покорно считающую себя рабом божьим, страшась божьей кары... Не значит ли это пустить в мир духовного уroda?!

И этот урод — мой внук, сын Веры.

Я знаю, он единственная радость в её отравленной жизни. Она любит сына и калечит его.

Я это вижу. Вижу и не спасу.

Почему?

Потому, что не хочу ранить и без того израненную дочь. Потому, что мне жаль её. Пусть себе тешится.

Эта утеха стоит человеческой жизни!

Вера — вечный враг сама себе... через моё посредничество.

26

Сухие синие, мимо глядящие глаза.

Я стараюсь в них заглянуть.

— В чём я повинен, Вера? — спрашиваю я. — В том, что тогда осудил тебя? А мог я не осудить?..

Вера молчала.

— Или, по-твоему, я, учитель, должен был поддерживать столь... ну, безупречное, скажем, поведение школьницы?.. Что, мол, такого — норма. От таких нравственных норм тлен и ржа пойдут по нашему обществу!..

Вера молчала, глядела в сторону.

— Или я должен пренебречь общими интересами?! Лишь бы спасти от позора дочь?! Ради родственности измени всему?

Она медленно заговорила:

— Помнишь, как-то ты мне рассказывал о язычниках, которые для своих богов убивали людей... Задабривали...

— Уж не хочешь ли ты тут найти сходство со мной? — Те дикари считали: заколем одного человека — всему племени польза. Общая польза требует...

— Да-а... Отец-язычник бросил на заклятие родную дочь!..

Вера не отвечала, глядела в сторону.

— А может, ты всё-таки поверишь в то, что я охотнее бы бросил себя на заклятие, чем тебя?..

Вера молчала.

— Себя ради общего... Неужели не веришь?

Вера скривила губы.

— Верю... И других, и себя. Ты ни к кому не добр, отец. Даже к себе.

— Не добр?.. Страшнее всего, Вера, вредное добро, сладкий яд.

— Разве бывает такое?.. Немасляное масло, безвоздушный воздух, вредное добро?

— А вспомни, как часто калечит детей материнская доброта!

— Не трогай это!

— Ты себе жизнь искалечила, где гарантия, что не искалечишь и сыну?

— Коля... Ради бога, Коля!

— Соня, Вера же наверняка сама не хочет, чтоб жизнь Лёньки походила на её собственную. Или я не прав?

— Ты прав. Не хочу! Потому и должен сын быть со мной, а не с тобой, отец.

— Но что ты можешь ему дать? Покойное детство? Так сама знаешь, что оно не будет покойным с отцом, напивающимся до белой горячки. Знания?.. Так его окружает обстановка невежества. Стремление к большим делам?.. А ваше стремление назад повернуто — к Христу, к его учению двухтысячелетней давности.

Она сидела выпрямившись, лицо её угрожающе одеревенело, глаза её поблёскивали нездоровым, лихорадочным блеском.

— Не молчи, Вера, скажи: что ты дашь сыну?

— Что?.. — горловым голосом переспросила она. — Свою любовь. От любви несчастными не бывают, отец.

— Пусть я неспособен любить, но тут же сидит твоя мать. Она-то может любить или нет? Неужели и в ней сомневаешься?

— Дышать не надыхалась бы на Лёничку, Вера.

— Мама! Ты и на меня надыхаться не могла, а что вышло? Твою любовь отец съедает.

Сухие, блестящие, лихорадочные глаза... А я любил Веру, наверное, люблю и сейчас. Это моя единственная большая любовь в жизни. Таню Граубе я любил по-мальчишески, незрело, ещё несерьёзно. Жену как-то слишком трезво, слишком ровно...

— Ко мне опасно Лёньку подпускать, а к мужу твоему — не опасно, — сказал я почти сварливо.

— Он лучше тебя, отец. Какое сравнение, — убеждённо произнесла Вера.

И я задохнулся.

— Вот как... Лучше... Спроси свою мать, помнит ли она, чтоб я валялся пьяным, чтоб когда-нибудь замахнулся на неё...

— Он от любви дерётся, а ты душишь... от любви.

Мне стало вдруг всё безразлично — добро и зло, праведность и неправедность, любовь и ненависть, всё испарилось во вспыхнувшем негодовании. Я безнадежен, я исчадие! Да, господа, думайте всё что вам угодно! И я сказал скрежещущим, несмазанным голосом:

— Кончим. Всё равно не поймём. Что смогу, всё сделаю, чтоб взять к себе внука.

Минута молчания. Вера на этот раз смотрела мне прямо в переносицу обжигающими глазами. Я любил её? Люблю сейчас? Ложь! Ненавижу! Столь же сильно, как и она меня.

— Ты сможешь... — голос глухой и какой-то вязкий. — Ты почётный, к тебе прислушаются. Сможешь, но не смей!

— Угроза?

— Да!

— Вера... Ради бога, Вера!

— Мама, я не себя защищаю.

— Ради бога, Верочка...

Вера встала. Она была высока и стройна поджарой, угловатой стройностью больной женщины.

И я понял, чем она мне угрожает! Упало сердце, заколодило дыхание — неужели посмеет?.. Замкнутое, ожесточённое лицо — да, посмеет, не так уж и дорога ей своя неудавшаяся жизнь.

— Ве-ра... — с трудом справляюсь с непослушным голосом. — Ты всё-таки знаешь, что я тебя люблю, Вера.

Она, сведя челюсти, молчала.

— Знаешь, что и я тогда не выживу... Потому, что люблю, Вера, люблю!..

— Оставь меня в покое, — глухо, в сторону, не шевеля губами, не дрогнув ни одним мускулом.

— То есть не люби, забудь?.. А можно это приказать себе, Вера?

О, опять упрямое, нелюдимое молчание.

— Я, наверно, плох, Вера, но ты хуже меня. На любовь — ненависть! Умру сама, а отомщу...

Молчание. Непробиваемое молчание. И я обессилел.

— Иди... — устало согласился я. — И радуйся — ты победила. Но всё же ждал, ждал от неё слова жалости, хотя бы одного слова — должна же опомниться! Нет...

— Прощай, — неумолимо и беспощадно. — Больше не приду кланяться.

У неё на ногах были тяжёлые мужские сапоги, и поступь в них была туповато увесистая, материнская.

Хлопнула дверь, она вышла.

— Коля... Ради бога, Коля!

27

Жена, издав свой слабый призыв к миру, возвышалась сейчас над неприбранным столом — массивный и беспомощный идол дома.

А я вдруг почему-то припомнил, как мы когда-то ходили по грибы за Жулибинские пожни. Верочке тогда было уже лет десять-одиннадцать.

Деревня Жулибино до сих пор стоит на своём месте, сохранились и пожни за ней, и обширное грибное разнолесье. Только теперь всё это — деревню, затянутые кустарниками пожни, леса — перечёркивает новое, раскатанное до синевы шоссе, соединяющее город Карасино с остальным миром. Ныне за грибами ездят уже на автобусах

цельми учреждениями, коллективами, с ящиками пива, с проигрывателями и аккордеонами...

Люблю собирать грибы. Люблю душную тишь леса, запах корневой влаги, запах земли и прелой листвы, тонкий, невнятный, какой-то недоказуемый запах самих грибов. Люблю палые жёлтые листья на жёсткой приосенней траве, литую дробь черники на кочках, румяное полыхание брусники, и в моём сердце каждый раз случается лёгкий обвал, когда глаза нащупывают бархатный затылок затаившегося гриба.

Вере было лет десять-одиннадцать...

Не скажу, чтоб тогда был грибной на отличку год. Не из тех, когда из лесу тянутся вереницы со стонущими от тяжести корзинами. Просто был разгар сезона и нам, наверное, чуть-чуть повезло — попали в лес перед очередной волной грибников. Нам то и дело приходилось вынимать из травы, из-под корней то нахохлившихся, твёрдо литых, словно развесные гири, подростков, то развесистых, с рыхлыми шляпками стариков. Что ни гриб, то физиономия!

Помнится, у меня на душе было не совсем спокойно. Я тогда замещал ушедшего в отпуск директора школы и должен был переслать в районные инстанции какую-то важную заявку. Мне не успели подготовить бумаги, а потому в тихом лесу меня точил червь ответственности.

В тени на прохладной траве мы раскинули скатёрку, разложили багровые помидоры, огурцы, копчёную, маслянисто потеющую колбасу. Шелестела листва над головой, и дело в буйной зелени, в глубоком овраге, в чреве земли усердно шевелился ручеёк. Жена хмурилась и улыбалась, а Верочка, наоборот, была сурово-сосредоточенна, худа, черна от солнца. В свои десять лет она успела стать страстной до иступления охотницей за грибами, в лесу на её мордашке всегда появлялось выражение: «Я сюда не шутить пришла».

Как, однако, хорошо, только вот проклятая заявка!.. Мы ели брызжущие соком помидоры, пили пахнущий берёзовым венником чай из термоса, а наши глаза, поблуждав по сторонам, возвращались к корзинам. Уж очень они были изобильны — по самый верх заполнены крепкими шляпками! И суетливо жил в чреве земли ручей... Неожиданно Вера вздёрнула голову, во всей её худенькой подобранной фигуре появилось эдакое устремлённое выражение, как у собаки, учуявшей дичь. Ничего не говоря, она поднялась, сомнамбулически двинулась к кустам, остановилась, пригнулась и... сдавленно крикнув, упала на колени.

— Глядите! — Вера пружинно вскочила, поднимая над головой обеими руками какой-то предмет. — Глядите!

Её лицо было искажено. Мы глядели и сами понемногу заражались весёлым ужасом.

— Глядите! Вот!

Несколько козых скачков, Вера приблизилась к нам, протянула тонкие, опалённые солнцем девчоночьи руки... В них было что-то несуразное, до безобразия грубо измятое.

Жена первая воскликнула, в точности повторив сдавленный выкрик Веры. Крикнул от изумления и я.

В тонких немощных руках девчонки был гриб... Да нет, не гриб, а величественное сооружение природы, модель неведомого мира. Шляпа, словно географический континент с изрезанной береговой линией, с заливами и бухтами, с долинами и наплывами плоскогорий, с бугристыми хребтами и жаждущими влаги озёрами, выеденными улитками. Шляпа — континент, а нога — беременный Атлант, коряв, скалист, источен протоками. Извергает же из себя такое мать-земля!

Перед лицом чуда вдруг стали жалкими наши ordinarily внушительные корзины, побледнели все прошлые удачи и даже забылась не поданная своевременно срочная заявка. Извергает же такое!.. Господи! Да всё трын-трава!..

Вера несла гриб к дому, как хоругвь. Встречные женщины охали, мужчины провозжали нас красноречивой немотностью.

Городской автобус, провозивший нас по развороченным строительством улицам, гудел, как растревоженный улей. Люди никогда не бывают равнодушны к чуду.

На следующий день к Вере нагрянул фотокорреспондент местной газеты, недавно ставшей из мелкоформатной районной большеформатной городской.

Мутнёнькая фотография девочки с чудовищным до безобразия грибом была помещена на четвёртой странице: «Десятилетняя Вера Ечевина, собирая грибы в лесу, нашла... местные старожилы не помнят такого...»

В ту осень наша Вера подняла на ноги добрую часть населения города, воскресенье за воскресеньем в лес двигались полчища. Люди равнодушны к чуду.

Что-то лёгкое, освежающее жизнь принёс тогда этот маленький случай.

А заявка... Ровно ничего не случилось оттого, что я подал её на два дня позже.

Но, как всегда, что-то всё-таки портило нашу лёгкую радость. Жена почему-то пугалась, суеверно повторяла:

— Ох, не к добру! Ох, удача с грибами всегда к беде!

Почему же я сейчас вдруг вспомнил тот далёкий и в общем-то ничтожный случай?

Это, наверное, был самый счастливый день в жизни Веры. В моей тоже...

Она ушла от меня с угрозой.

А может, я неправильно эту угрозу понял...

Верин муж имеет право с полным основанием сказать про себя: «Я алкоголик!» Возможно даже, что он был когда-то и моим учеником, среди тех трёх тысяч, что прошли через мои руки...

Вера всегда отличалась неумеренностью, она не остановится ни перед чем, чтоб отстоять от меня своего сына.

А знаменитый чудо-гриб был съеден вместе с другими грибами...

28

Жена возвышалась над неприбранным столом, упрямо и смятенно вглядывалась в меня сквозь очки.

— Коля, — произнесла она негромко.

Я вздрогнул, её голос слишком спокоен для такой минуты.

— Да, Соня?

— Скажи, в самом деле, добрый ты человек или злой?

Величественная, неподвижная, расплывшаяся по стулу — моя жена, мой крест и моя опора. Почти четыре десятилетия мы живём тесно друг с другом. Ни я не изменял ей, ни она мне. Четыре десятилетия взаимной верности — может, это противостоит, может, подвиг терпения, а может, как знать, тут-то и есть истинная родственность душ? Не дай бог, если она умрёт раньше. Пустота окажется рядом со мной, страшная, бездонная пропасть, которую уже ничем не смогу заполнить. Сорок лет друг с другом, но я давно полюбил и уединение в стенах своего дома... Она задаёт мне вопрос. Странный?.. Да нет, обычный, который ей стоило бы задать сорок лет тому назад.

Я вздохнул и ответил:

— Бей уж прямо, Соня, не стесняйся.

— Ошибаешься, не скажу «нет». Ты добрый.

— Тебе идёт роль миротворицы. В молодости ты другой была.

— В молодости?.. Вот молодость-то я и вспомнила сейчас. Как ты меня заставлял: не усидчива — переломи себя, легкомысленна — читай серьёзные книги, будь такой да будь этакой. А меня, девку, на танцульки тянуло и вместо Маркса и Плеханова «Графа Монте-Кристо» почитать. И скандалила, и сцены устраивала. О господи, как давно это было, не верится даже, было ли... Хотел добра, слов нет. Или не так?..

Я молчал.

— И что получилось, Коля? Стала я умной, начитанной?.. Да нет же, клушей комнатной стала. Книг серьёзных так и не осилила, кухонный передник не снимала, жиром вот заплывала...

— Соня, не надо...

— Старших дочерей заставлял учиться, дышать им не давал, не смей от книг головы поднять, и что же?.. А как ты Верочку... Разве можно подумать, что со зла да с ненависти... Нет, конечно...

— Не надо, Соня.

— Всю жизнь целишься сделать хорошее, да дьявол за твоей спиной путает, твой мёд дётгом оборачивает. Не виню тебя... Но от твоей-то безвинности другим не легче, Коля.

Она с усилием поднялась, выросла на фоне жаркого, заполненного садящимся солнцем окна — громоздкая, монументально-горделивая. Голос её был по-прежнему пугающе тих:

— Вот что я тебе скажу, Коля: ты мне добра желал, старшим дочерям желал, Вере желал, не желай его Лёньке — хватит! Одного да обереги от своей доброты.

29

Я закрылся в своей комнате. На моём столе благородно поблёскивал кортик лейтенанта Бухалова. Добрый я человек или злой?

Гриша Бухалов ответил бы, не задумываясь: да, добрый, другого мнения и быть не может. Антон Елькин, столь непохожий на Гришу, неожиданно для меня — тоже!

А Вера иного мнения.

И неизвестный автор письма...

Кто же такой Николай Степанович Ечевин, проживший уже на свете шесть десятков лет?

Я не приспособленец и не карьерист. Большую часть своей жизни я отдал нелёгкому труду. Я работал по двенадцать, четырнадцать, а то и по шестнадцать часов в сутки! Я никогда не гнался за длинным рублём, за свои сорок трудовых лет не нажил себе ни палат, ни чинов, ни громкой славы. Меня выделили и обласкали в шестьдесят лет! Несколько раз мне представлялась возможность занять некий командный пост. Я не воспользовался случаем.

Если Гриша Бухалов проявил себя, «смертию смерть поправ», то я всей своей долгой нелёгкой жизнью, кажется, доказал, что жил не для себя!

Но всё это не даёт прямого ответа на вопрос: добрый я или злой?

Лена Шорохова произнесла на уроке недобрые слова, и, увы, мне приходится признать, что и я повинен в её опасной недоброте. Я, добрый, оказывается, порождает недоброе!

Так что же я за человек?

И как мне стать иным?

Вчера я намерен был написать Лене Шороховой хвалебную характеристику: «Способна сверх всяких похвал, поведение примерное, хороший товарищ». Сегодня у меня открылись на неё глаза, сегодня такую характеристику я писать не хочу.

Может, это и есть первый шаг, чтобы стать иным?

Как просто его сделать. Когда нужно, сядь за стол, положи перед собой бумагу и... «склони голову, гордый сикамбр, сожги то, чему поклонялся!..».

За окном густо бронзовел закат. Снаружи свершалось обычное космическое действие — одним своим боком наша планета отворачивалась от светила. Одним своим боком, где расположен мой материк, моя страна, мой город, мой дом, я... Из сумеречного кабинета, из тесной соты я, личинка, слежу за величаво-бездушным движением вселенной и терзаюсь своим: как мне, личинке, изменить своё поведение?

Хочу стать иным, совершать иные поступки! Я не хозяин себе, чёрт возьми!..

Лена Шорохова сама никого не убьёт, но проголосует: «Я за!»

Бронзовел закат за окном, и тревога вползала мне в душу.

Сесть за стол, написать на листе бумаги вместо одних слов другие, вместо ошибочных верные, беспощадно отражающие то, что есть, характеристику: бойтесь её! И после этого открыть перед ней дверь из школы в жизнь. Жестоко же ты наказываешь девицу с гордыми бровями. Только за что? Не за то ли, что ты не сумел научить её человечности и отзывчивости, не развил чувства самостоятельности, передал ей своё ледяное бесстрашие к истории, к той крови, которая когда-то зло окрашивала века и народы. Передал ей своё, а теперь содрогаясь — бойтесь её! Ничего себе — хочу стать иным. Свои мутные грехи собираюсь свалить на девчонку! Педагог с сорокалетним стажем! Ну нет, этого я не сделаю.

Но характеристику-то Лене Шороховой писать придётся.

Так заведено, не мне отменять. Такие характеристики пишутся каждый год, я написал их тысячи... Не миновать и теперь! Несколько строк, неполную страницу...

Не свалю на девушку ошибки своей долгой и невнятной жизни. До этого не опущусь. Тогда что мне остаётся? Писать по-старому: «Способна сверх всяких... Хороший товарищ...» Раньше как думал, так и писал, я был искренен, не кривил душой. Но теперь-то думаю иначе...

Бронзовел закат, планета равнодушно загоняла в космическую тень мой материк, меня вместе с ним. В своей уютной, обогретой соте корчилась личинка. Нет, сам я сидел за столом неподвижно, нахохлившись, корчился и стонал во мне мой жалкий дух: хочу быть добрым и честным! Личинка жаждет стать Человеком!

Я всегда охотно протягивал осуждающий перст на своего ближнего: «Ты сподличал! Ты солгал! Дурной человек, как ты смеешь?!» Я был строг к другим и считал: стоит только этим другим захотеть, как они легко перестанут лгать и подличать. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» Возьми себя в руки и ты станешь хорошим.

Я готов взять себя в руки — хочу быть чистым, всей душой ненавижу ложь! Но мне придётся писать характеристику на Лену Шорохову... В твёрдой памяти, в светлом сознании, при отвращении ко лжи я буду лгать.

До сих пор я что думал, то и говорил, как говорил, так и поступал, теперь же буду думать одно, а говорить и поступать иначе. Я чуть поумнел, и правда оказалась противоположенной мне. Никто не заставляет, никто не насилует меня — солги, превознеси недостойную.

Я собираюсь лгать и двурушничать по своей воле.

Хочу быть иным — лучше, чем был! Хочу искренне!

Не могу. И не знаю почему. Никого не упрекнёшь, даже себя...

Люди добрые! Гибнет человек, сам видит это и бессилён остановиться — ратуйте!

Хотя через окно с улицы доносились голоса и смех, грохот проезжавших мотоциклов, но тишина облепила меня вплотную, сидел, оглушённый ею.

В моей жизни происходила очередная катастрофа — в эту минуту я становился менее качественным человеком по сравнению со вчерашним Ечевиным. Тот был более цельной и прямотушной натурой.

Но и тому угрожают. Ученик готов поднять руку на учителя.

В общем-то ученики постоянно поднимались на учителей. «Платон мне друг, но истина дороже!» Коль такое случается, значит, мир не в застое.

Не «убить Вас», а «Платон мне друг...». Тот, кто сказал эти слова, проявил силу своих убеждений, ему не нужно было прибегать к угрозам. Те, кто защищал свои убеждения с помощью ножа или плахи, скорей всего, сами не очень-то верили в них. Пугали и жили в обнимку со страхом.

«Убить Вас...» Мой грозный Робеспьер, какое сжигающее бессилие ты пережил, прежде чем написать эти слова? «Убить Вас!» — отчаяние курицы, бросающейся на лису, зыбкая соломинка утопающего.

Недавно на весенней обогретой улице, под юным весенним солнцем я поборол страх, смеялся над собой: «Потерявший голову заяц, бегущий от самого себя». Право, уморительно, если картинно представить.

Но не зря же мне не хотелось возвращаться домой, чуял, что там меня сторожит мой преследователь, моё второе беспощадное Я. Снова смятенно беги от него и прячься. Зачем? Можно ли спрятаться от себя?

Кортик Гриши Бухалова на моём столе. Гриша! Гриша! Ты моя удача, ты светлейший момент в жизни. И как мало было таких вот удач, едва ли не единственная.

Антон Елькин считает, что вся моя жизнь состоит из светлых удач. Этот ученик никогда не понимал своего учителя: ни тогда, когда пакостил втихомолку на уроках, ни тогда, когда сторожил с кирпичом на крыше... Не понимает и теперь. Я ничего не сделал Антоше Елькину — ни дурного, чтоб ненавидеть, ни хорошего, чтоб преклоняться. Увы, не я его исправил — исправила жизнь. Мы-то расстались на кирпиче.

Гриша, Гриша... Ты поздравил, и твоё поздравление я принимаю с чистым сердцем. Но что бы ты сказал обо мне, Гриша, если б узнал: Таню Граубе, учившую меня вместе с отцом азбуке человечности, я решил подозревать — «убить Вас»? Сказал бы: спятил старик. Нет, Гриша, скорей, потерялся.

А только что мелькнуло подозрение, уже совсем дикое... Мелькнуло! Было! Не след прятаться! Подозрение против родной дочери — не готовит ли то самое «убить Вас». Она пригрозила, и страх затмил мне разум.

Она всю свою недолгую жизнь страдает от любвеобилия — к парню с боксёрской причёсочкой, к беспутному мужу, к сыну... Любвеобилие ещё никогда не толкало на убийство, на отцеубийство тем более, к самоубийству же — ой, нередко!

Гриша! Гриша! Гляжу на твой кортик и верю только тебе. А тебя давно нет на свете. Я наедине сам с собой, не могу сладить, не на кого опереться.

И кто-то послал мне всё-таки письмо. С пьяной или трезвой угрозой, какая разница. Кто-то, кому я сделал какое-то зло.

Кто он? Нет, не помню.

Когда-то кого-то я переехал. Не помню, не обратил внимания.

«Убить Вас!»

Что же ты всё-таки за человек, Николай Степанович Ечевин?

Похоже, я теперь начинаю больше бояться себя, чем убийцу.

31

За окном навалились сумерки, зажглись фонари, шумел проспект поздно, по-вечернему. Я сидел за столом и искал решения.

Я должен кому-то показать письмо.

Показать не для того, чтоб позвать — спасите! Неведение страшней смерти. Я для себя «terra incognita», а в неизведанные земли в одиночку не ходят. До сих пор я блуждал в самом себе один. Нужен товарищ, нужен сопутчик. Пусть он прочтает письмо, пусть влезает мне в душу. Нужен взгляд со стороны, пусть недружелюбный, но внимательный, всё замечающий.

Жене письмо не покажешь. За сорок лет срослись — не отступишь в сторону, не взглянешь со стороны.

У меня достаточно преданных и верных товарищей. Верна, например, Надежда Алексеевна. Ей — письмо?.. Будут ахи и охи, заломленные руки, звонки в милицию. Друзья, лечащие от недугов милицией...

Да мне здесь и не нужен друг. В друзья мы обычно выбираем себе единомышленников, тех, кто видит так же, думает так же, похожих на себя. Но что может тебе подсказать такой друг? Подскажет тот, кто на тебя не похож.

Больше всего со мной не схож Леденев.

Он юн, а я стар.

Я ценю традиции. Он готов их ломать.

Он не выносит меня, я его.

Он резок и прям до грубости.

Уж он-то не станет заламывать руки с ахами и охами, звонить в милицию.

Правда, он недоверчив ко всему, что исходит от меня, может шарахнуться в сторону. Нужно быть уж совсем толстокожим животным, чтоб повернуться спиной, когда

шестидесятилетний человек прибежал на ночь глядя. В неизведанные земли в одиночку не ходят...

Телефона у Леденева не было, но, где он живёт, я знал. Не столь давно по просьбе директора школы я хлопотал в горисполкоме о получении жилплощади троим неустроенным учителям. Среди них был Леденев. Хлопоты были длительные и упорные, а потому я запомнил адреса.

В темноте, ощупью я натянул в передней пальто, нахлобучил шляпу, открыл дверь, оставив свою тихую и тёмную семейную крепость, в глубине которой пряталась от меня жена.

Вдоль освещённого проспекта с пулемётным грохотом проносились мотоциклы, плыли по мостовой принаряженные парочки, в посвежевшем воздухе висел молодой, беспечный смех.

Возможно, что убийца рядом, следит... Мне безразлична его близость, но я уже не паникую, как утром, не спеша шагаю к остановке автобуса, даже с удовольствием представляю себе себя — степенный, прямой, с устремлённым носом, само спокойствие. Наверное, я сейчас должен вызывать у убийцы уважение.

Я постоял в очереди, дождался автобуса, нырнул в его жиденький, жёлтый, как болотная водица, свет, уселся на свободное место, пододвинулся к окну, пуская рядом какого-то рабочего в потёртом ватнике, с брезентовой сумкой, похоже водопроводчика.

Мокрое окно автобуса прятало плывущий мимо город и показывало в чёрном зеркале мою застывшую физиономию — твёрдый крупный нос из-под полей шляпы, незнакомую складку крепко сжатых губ. Незнакомую, с болевым изгибом, с признаками стона, рвущегося наружу. Пожалуй, напрасно опасаюсь, что Леденев не примет меня всерьёз, с такой физиономией нужно скорей бояться излишне серьёзной встречи: «Прошу вас, прилягте, выскочу позвонить в больницу!»

Мой сосед устойчиво дремал, утопив на груди небритый подбородок, едва скрывая козырьком мятой кепки серые веки. И, кажется, в уголках его губ притаилась горчинка. Мне теперь у любого и каждого уже чудится болевой изгиб, запертый стон. У этого человека, покойно сложившего руки на брезентовой сумке с нехитрым инструментом, быть не может той катастрофы, какая случилась со мной. Труд его нагляден, значит, наглядно и его место в жизни. Наверное, он сегодня сменил несколько кухонных кранов, отремонтировал подтекавшие батареи парового отопления, починил неисправную канализацию, которая кому-то отравляла жизнь, — сделал своё, не очень сложное, никак не выдающееся, но можно ли сомневаться, что нужное и полезное дело. Его и завтра в каких-то квартирах будут с нетерпением ждать, ему и в голову, наверно, не придёт гордиться своей нужностью. Его труд нагляден и ясен, мой для меня нет. Педагог с сорокалетним стажем, сколько уроков ты посвятил защите Ивана Грозного, не замечая, что проповедуешь снисхождение к убийце?..

Сосед дремал, смежив серые веки, а я завидовал... Осознай, добрый человек, своё счастье! Как бы я хотел сейчас испытать твою честную усталость.

— Вокзал! — объявил кондуктор. — Конечная остановка. Вокзальная площадь щедро залита огнями. Светятся витрины магазинов, предлагая прохожим хлебные батоны, коробки с геркулесом. В новом кафе — стиль модерн — за стеклом, словно на выставке, пьют и закусывают посетители. Вокзальная площадь, на ней всегдалюдно, всегда полно легковых машин и автобусов. Даже когда сам город спит, здесь жизнь не прекращается.

Но шаг в сторону за первый же угол — и темно, скудно освещённые улицы: Первая Привокзальная, Вторая Привокзальная... Шаг в сторону, и окраина города, редкие прохожие, редкие машины.

Несколько пассажиров автобусов усердно топтали сзади меня. Пройдём мы, и стихнет шум шагов, только голоса электровозов будут здесь нарушать тишину.

32

Дом был новый, несколько месяцев назад заселённый, но тускло освещённая лестница уже так пахла жареным луком и детскими пелёнками, словно через эти стены прошёл не один десяток поколений.

В старину лестничным проходам уделяли едва ли не большее внимание, чем внутренним покоем. И в публичные храмы, и в частные дома вели широкие, торжественные ступенчатые марши. Гость, подымающийся по ним, невольно шаг за шагом настраивался на возвышенный лад, шаг за шагом проникался значительностью предстоящей встречи. Лестница как бы возносила человека над суетной землёй. Нынче же лестница — самая прозаическая, самая досадная часть пути, её пытаются избежать, втискиваясь в ещё более прозаический ящик лифта, на современной лестнице приходят или приземлённо трезвые мысли, или же тут просто несёшь в себе тоскливую скуку будней. В этом блочном доме лифта не было, шагать же мне пришлось на пятый этаж. И я с каждой ступенькой трезвел, освобождался от угара. «Кому повем печаль мою?» Старик с выпученными от тревоги глазами прибегает к мальчишке. В лучшем случае, ты можешь рассчитывать на вежливое безучастие, в худшем — на откровенную издёвку. Разве этот мальчишка умнее и опытнее тебя? И какая пища для пересудов. Собираешься всенародно вывесить грязное бельё...

Ступенька за ступенькой на пятый этаж. Ещё на первых ступеньках я понял, что совершаю глупость, но обратно не повернул.

Без энтузиазма я нажал кнопку звонка. Он открыл дверь сразу, без минутного промедления, словно стоял и ждал меня с нетерпением. В дешёвом нитяном тренировочном костюмчике, мальчишески стройный, недоверчиво подобранный и решительный, словно боксёр лёгкого веса — в стойку не стал, но готов встать.

— Извините, Евгений Сергеевич, но мне нужно... нужно с вами...

— Признаться, я жду сейчас другого человека, — бесцеремонно перебил он меня, сердито отводя глаза в сторону.

— Евгений Сергеевич!

Взгляд мне в лицо, лёгкое смятение в тёмных глазах.

— Входите.

Ярко освещённая, новенькая, какая-то безалаберно весёлая, звонкая комната. Она по-настоящему не обжита и не обставлена. Смятая кровать, заваленный книгами стол. Венчает пирамиду книг бутылка с коньячной этикеткой, в её горлышко вставлена пушисто озорная веточка вербы.

— Прошу вас...

Леденев придвинул мне единственный стул, сам сел на смятую койку, задрал острое колено, обхватил его цепкими пальцами, уставился на меня поблёскивающими чёрно-смородиновыми глазами. Его сухощавое смуглое бровастое лицо от настроженности стало чуточку асимметричным — одна бровь вздёрнулась, один угол рта поджат, одна скула острее и рельефней.

— Евгений Сергеевич... — мучаясь от неловкости, начал я с тем хмурым упрямством, с каким говорят старики, вынужденные обращаться с просьбой к молодым удачливым начальникам. — Вопрос в лоб: я похож на преступника? Только честно.

Леденев усиленно выламывал бровь.

— Однако...

— Смиритесь сегодня с моими странностями, Евгений Сергеевич. Так похож ли я?..

— На преступника? Нет.

— Только честно, ради бога, честно, Евгений Сергеевич! Я пришёл к вам не за комплиментами.

— Нет.

— Откуда у вас неожиданное снисхождение ко мне?

— Не заставляйте наговаривать на вас того, что не думаю.

— Но, если начистоту, я знаю, что думаете вы обо мне не очень-то лестно.

— Значит, мне нет нужды ещё и это валить на вас.

— Ну, спасибо. А я, признаться, готов был услышать самое худшее.

— Самоуничжение... Странно. Кажется, вы всегда гордились собой.

Острое, задранное вверх колено, заломленная бровь, блеск чёрных ярких глаз. Кажется, стоит мне сделать излишне резкое движение, как он одичавшей кошкой отскочит в сторону.

Он мне не верит, и могу ли я его упрекать за это? Ворвись он ко мне на ночь глядя, я бы, наверное, так же упрямо и нетерпеливо ждал камня из-за пазухи.

И я попытался проломиться сквозь его неприязнь:

— Мне худо, Евгений Сергеевич, худо! Случилось так, что я вдруг стал разглядывать себя с изнанки. Наверное, каждый с изнанки не столь красив, как с фасада...

Сегодня на уроке одна из учениц в угоду мне оправдывала убийцу... Понимаете — в угоду мне!

— Николай Степанович, зачем это мне?..

— Зачем?.. Вы спрашиваете?..

— Именно мне, а не кому-то другому, более близкому вам человеку?

— Наверное, затем, что я вам не нравлюсь. Теперь для меня ценно, очень ценно услышать неуслужливую оценку своей особы. Я сейчас сам не нравлюсь себе.

— Так сказать, вы собираетесь исправиться.

— То есть, на ваш взгляд, не вовремя спохватился, надо бы раньше, а не тогда, когда стукнуло шестьдесят?

— Пожалуй. Впрочем, я полностью согласен с нашей добрейшей Надеждой Алексеевной, которая постоянно твердит: исправиться никогда не поздно.

— Евгений Сергеевич, вы сейчас бьёте лежачего.

Леденев решительно повернулся ко мне:

— Простите, Николай Степанович, но я вас не понимаю. Испытываете неуважение к себе, когда вас только что не носят на руках, когда в школе ваш культ, когда ученики преисполнены к вам робкого почтения, их родители — гордости и восторга, администрация — заботы. Наверное, только я один из ваших коллег не испытываю к вам ревнительного чувства. Иль вы уж столь неумеренны, что на небосклоне своей славы не терпите даже этого жалкого облачка?

Я было потянулся рукой к карману, где лежало письмо, я уже готов был вручить ему то, что скрывал от родных и близких, ему, человеку, неприязненно относящемуся ко мне...

Но тут в коридоре раздался звонок.

Леденев пружинисто вскочил, кинулся за дверь. А я остался наедине с веточкой вербы в коньячной бутылке.

А из-за дверей доносилось:

— Наконец-то!.. Что ты так долго?..

Счастливое освобождение в голосе. Как, однако, я неприятен ему.

В дверях появилась девушка. Нет, мне не знакома. Нет, не из нашей школы. Пальто пелеринкой, блеск крупных пуговиц, круглое разруганное, с милыми застенчивыми ямочками лицо. Увидев меня, она застыла: смущена, растеряна, огорчена — третий лишний.

Леденев вытанцовывал вокруг неё.

— Снимай пальто... Ну-ка, ну-ка!.. Э-э, да не дождь ли на улице?

— Дождь. В этом году первый. — Не ответ, а песня светлым альтом.

Леденев ревниво и решительно обернулся ко мне:

— Прощу извинить... Я говорил вам, что жду... В любое время к вашим услугам.

А сейчас прошу извинить...

Мне указывали на дверь.

Наверняка, как только я закрыл дверь, произошёл разговор:

— Кто это?

— А-а, старый хрыч... — следует моё имя и отчество, возможно с титулами.

Наверняка это не первое вымечтанное свидание — очередное, привычное, иначе Леденев не встречал бы девушку в жёвано тренировочном костюмчике, а уж, конечно, приоделся бы чуть попарадней.

Человек пришёл к человеку со своей вселенской бедой!

Фонарь, окружённый облачком влажной радужной пыли, освещал мокрый траурный асфальт. Первый дождь в этом году. Ранние весенние дожди ничем не отличаются от осенних, они холодны и уныло противны. Киснувшие в пыльной влаге фонари, нефтяной жирный блеск асфальта, осень, ощущение, что у тебя украдено лето.

Я намеревался посвятить его в тайну из тайн, показать письмо, открыть свой смертный приговор. Разговор оборван в самом начале...

«Кому повем печаль мою?» Темно, сыро, украдено лето, украдено последнее.

Я лениво двинулся по пустой неприветливой улице.

Человек к человеку... Старик к мальчишке. От великого отчаяния к последнему прибежищу.

А он сторонник передовых взглядов. Он считает ископаемым Яна Амоса Коменского. Он любит Достоевского и постоянно декларирует его слова: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей!» Его возмущает, что слово «добро», старое, испытанное слово, оружие разнохарактерных религий, постепенно уходит из обихода. Уж он-то за «убить каких-то» по макушку втоптал бы в землю Лену Шорохову.

Человек пришёл к тебе с бедой. Ты указал ему на порог — не хочу слушать, сгинь!

В дикое средневековье, прежде чем отнять у преступника жизнь, приводили к нему священника — исповедуйся. Хоть ты и не достоин жить, но твоё человеческое достойно внимания — расскажи, излейся, готовы терпеливо слушать.

Указать на порог и бросить с пренебрежением «убить каких-то» — не сходно ли? Как то, так и другое порождено полнейшим безразличием, душевной омертвелостью к ближнему. Прямое убийство, право же, более человеколюбиво. Убийца подымает руку, значит, испытывает злобу, ненависть — сильное чувство. Убийца не равнодушен, по своему внимателен.

Невежественное средневековье изобрело исповедь. Даже инквизиторы старались с возможным вниманием взглянуть в душу тех, кого посылали на костры. Леденеву же на пороге двадцать первого века будет примерно столько же лет, сколько сейчас мне...

Я вяло брёл по улице, по обочине нефтянисто-чёрной реки, под мокро пыльным светом фонарей. Освещённые окна домов глядели поверх моей шляпы равнодушно

и неприветливо. Люди ревниво попрятались от заблудившегося прохожего вместе со своим нехитрым счастьем. Светят наглухо закрытые окна, задёрнуты занавески, арочные въезды во дворы заполнены вязким мраком, пустынна улица. Только где-то сзади побухивали чьи-то шаги в такт моим, с ленью, без спешки. Похоже, такой же заблудившийся...

Средневековье... Исповедь... Я вспомнил Веру. Вот кто может меня выслушать. «Бог есть любовь!» Не покажет на порог, будет внимание, наверное, даже дочерние слёзы будут. У меня к тому же есть вступительный взнос: «Вера, твой сын останется с тобой». Вступительный взнос живой душой — пусть останется с пьяницей отцом, с матерью-святошой... «Кому повем печаль мою?»

Шаги за моей спиной, заблудшие, ленивые, под стать моим. Но что-то в них настойчивое, неотступное. И я оглянулся.

Запылённая жидким светом фонарей улица упиралась в ночь. Под глухой стеной чёрной ночи на окраине света, у побережья нефтянисто-чёрной асфальтовой реки одинокая фигура. Она споткнулась оттого, что я обернулся. Человек ощутил направленный на него взгляд.

Кепчонка, ватник, руки заняты чем-то... И, ещё не разглядев толком, я узнал — он! Тот водопроводчик, что подсел ко мне в автобусе. Всю дорогу он дремал, всю дорогу он не обращал на меня внимания, вспомнились его сомкнутые серые веки. Они слишком добросовестно были сомкнуты! Вспомнились и губы в окружении щетины — болевой изгиб... Я ещё тогда завидовал ему...

Улица упиралась в ночь, и мутной влагой засеяла воздух.

Он только споткнулся под моим взглядом, но не остановился, не метнулся, чтобы спрятаться. Он продолжал идти на меня.

Ночь в конце улицы, ночь, поглотившая дома и фонари. И шаги по мокрому асфальту: туп-туп, туп-туп!..

Шаг за шагом, ближе, ближе... Туп-туп! Туп-туп!..

И Леденев, Вера, жена, Зыбковец, Лёва Бочаров, Лена Шорохова, Антон Елькин, старая церковь, Таня Граубе — вавилонская башня, нараставшая в течение дня, рухнула и рассыпалась. Ничего нет, только: туп-туп, туп-туп!.. Сейчас встретимся с глазу на глаз.

И я вдруг хлебнул воздух, бросился бежать...

Нет прошлого, нет будущего, есть минута, отделяющая его от меня. Жизнью не дорожил, смерти не боялся, страшной смерти ты сам, твоя взбунтовавшаяся совесть...

И нет совести, есть минута, одна неполная минута в какой-нибудь десятке-другой шагов.

Туп-туп-туп!.. Он бежит за мной, он старается проглотить спасительную минуту. Туп-туп-туп — стук рабочих ботинок по асфальту. Он моложе, он выносливей, мой бывший ученик... Только бы не сдало сердце, только бы хватило воздуха!..

Впереди вокзальная площадь. Там люди, много людей...

Туп-туп-туп!.. Он моложе.

Только бы хватило воздуха. К людям! К людям! В гущу людей! Живых, не спрятавшихся за стены, отзывчивых.

Туп-туп-туп!.. Ближе! Спасительная минута... Нет! Он моложе...

Ты храбрился — он не страшен, страшусь суда совести!.. Ты ещё не знал, что такое страх. Страх травоядного перед хищником. Туп-туп-туп!

Рвётся сердце, не хватает воздуха.

И уже молочный свет люминесцентных фонарей впереди. Уже площадь на виду, и тени прохожих, и машины...

34

Вывался. Круто завернул за угол.

Шарахнулась от меня какая-то женщина...

Ещё немного, ещё подальше... Но сил уже нет, и сердце молотит где-то под горлом, и не могу дышать, не хватает воздуха.

Я припал к первому же столбу с раскрытым ртом, с дёргающимися коленками, непослушными пальцами суетливо искал, за что бы зацепиться.

Тишина, хотя сердце набатно бьётся на всю площадь. Тишина, хотя вижу, как разворачивается автобус, слышу звук его мотора. Тишина и голоса людей, идущих мимо. Тишина, не слышу — туп-туп-туп!

Оглядываюсь на угол дома, из-за которого я только что высочил. Угол, а за ним сразу тёмная сырая улица с редкими фонарями, с мрачными арками, без прохожих. Он там притаился, он должен сейчас показаться.

Закричать? Созвать людей?.. Но воздуха не хватает, чтоб дышать, а уж кричать-то и подавно. И ноги не держат, любое лишнее усилие сбросит на землю, к подножию столба.

И к чему кричать, когда его нет. Тишина, весь мир заглушён моим подержанным сердцем. Но и сквозь набат своего сердца «туп-туп» я услышал бы. Тишина.

Я провёл рукой по лбу, вытирая пот. Шляпы нет, потерял... В чёрном небе раскалённая надпись над крышей вокзала «КАРАСИНО» — вывеска моего родного города.

Напротив ярко освещённое кафе, оно без окон, просто застеклена вся стена, от мостовой до второго этажа. Там, за стеклом, в медовом свете сидели люди и всенародно, напоказ закусывали.

Мимо прошагал военный, по лаковому козырьку его фуражки рубиновой змейкой скользнула вокзальная надпись. Военный покосился на меня с превосходством и сочувственно: «Ну и нагрузился же ты, папаша!»

Лицо женщины, сменившее лицо военного. Женщине не до меня, углублена, озабочена, как бы скорей добраться до дому...

И где-то за сверкающей огнями широкой грудью вокзального здания, горделиво несущего вывеску моего города, успокоенно покрикивал маневровый паровозик.

Сердце перестало оглушать весь мир, из горла оно опустилось в грудь, колотилось уже в ребра. Я стал ощущать отрезвляюще сырой воздух, но всё ещё дрожали колени.

Вместе с отрезвляющим воздухом вернулись и трезвые мысли: «Герой. Целый день храбрился, шатался по улицам, в милицию не пошёл, а тут откуда такая прыть?..» Даже трудно разобрать, стыд это или укор себе за неосмотрительность. Нет, всё-таки стыд, но какой-то ватный, как моё обмякшее, огрузневшее тело. Выходя из дома Леденева, я думал, что у меня отнято всё, больше ничего отнять нельзя, только постылую жизнь. Жизнь цела, но что-то всё-таки отнято...

Гордость!

Гордился собой, что пренебрегаю смертью, что истина дороже жизни. Хотел даже встречи с ним, надеялся, что не дрогну. И рванул затравленным зайцем... Шляпу потерял... «Ну и нагрузился же ты, папаша...» Отнято, наверное, самое, самое последнее, а жизнь осталась.

— Здравствуйте, Николай Степанович, — тихий голос за спиной.

Я даже не вздрогнул, я, кажется, ждал этот голос. Я медленно, медленно обернулся.

Прижимая локтем брезентовую сумку, стоял он. Брюки с пузырями на коленях, мокрый ватник коробом, потасканное круглое лицо в знакомой щетине, красный, не впечатляющий нос — не страшен. Под сплюсненной кепчонкой смутный и далёкий блеск глаз. И я заворожённо загляделся в эти глаза.

— Вы шляпу обронили, возьмите.

— Спасибо. — Я взял шляпу, стал чистить её рукавом. Помолчали.

— А вы, оказывается, отчаянный человек. Думал, как сурок, будете в своей норе прятаться. Нет, целый день свежим воздухом дышите, даже в скверике отдыхали.

— Что же не подошли? О вас думал.

— Вспомнить хотели, кто я такой?

— Не сумел.

— И то, каждого не запомнишь, да и лет прошло изрядно.

— Почему только сейчас объявились? Сколько удобных минут было... Хотя бы в сквере, а того лучше в подъезде...

— А вы думаете, мне удобно в затылочек? Не кошелёк собираюсь отнять. Я судья вам, дорогой Николай Степанович, судья! Хочу глядеть вам в глаза, хочу услышать ваши оправдания. Оправдывайтесь! Если пожелаете, конечно...

— Пожелаю, отчего же...

— Вот и хорошо. Бездёжным дураком никогда вас не считал. Если не возражаете, то в том кафе... с удобствами и при свете.

Я всё ещё не мог оторвать плечо от столба.

— Ну, что ж вы? Заело?

— Обождите, дайте отдышаться. Я же не молоденький — такие кроссы устраивать.

35

Кафе называлось «Берёзка». В городе недавно появилось несколько таких кафе — пластиковая роскошь, шедевры горпитовской лирики: «Берёзка», «Ласточка», «Ромашка». Они сменили дощато-фанерные безымянные «пиво-воды», как пятиэтажные дома сменили покосившиеся бараки.

Здесь было много света и много воздуха и, судя по тому, что полно свободных столиков, мало выпивки.

Перед тем как пересечь дорогу к кафе, мой опекун произнёс:

— Смотрите, не вздумайте... Шаг вправо, шаг влево, как когда-то наставляли меня...

Мы заняли столик, вовсе не укромный, не у стены в стороне и не в углу, а на самой середине, напротив стеклянной стены. Мы заняли столик и сразу же попали в витрину кафе, в число показательно закусывающих.

По одну сторону за соседним столиком уныло ел яичницу человек командировочно-периферийного вида с тусклым галстучком на несвежей сорочке. По другую — нешумная компания молодёжи, спиной ко мне девица, одетая в кричаще канареечный свитер, волосы рассыпаны по канареечным плечам.

Много света, и со всех сторон глаза, даже с улицы. Как не походило это место на те места, где, по моим представлениям, должны происходить убийства. Да и сам убийца не производил впечатления. Без своей кепки он оказался совершенно лыс, глазки мелкие, водянисто-серые, нос воробьино задорный, простуженно красный после гуляния под дождём. На вид ему можно дать сорок, а то и все пятьдесят. Нет, не могу узнать, безнадёжно. Сколько прошло людей мимо, класс за классом...

Мой убийца деловито прислонил к столу спинки свободных стульев.

— Будет занято.

Столь же деловито вынул из сумки какой-то пакет из толстой серой бумаги (в такие пакеты в булочных отвешивают сушки и ванильные сухари). Пакет лёг на стол тяжело и как-то неплотно.

— Так вот, — водянистые глазки в упор, — назначаю вас своим собственным адвокатом.

И я вдруг понял, что наконец-то нашёл того, кто выслушает меня со вниманием — можно исповедоваться до конца.

— На суде обычно первое слово даётся обвинению.

— Можно начать и с обвинения. Вижу, вы меня так и не узнаете?

Я с настойчивой пытливостью вглядывался в него — плоская лысина, нос стручком, что-то есть в складке губ зыбко знакомое... На эту горькую складочку я обратил внимание ещё в автобусе.

— Не вспомню, — со вздохом признался я.

— Моя фамилия Кропотов. Сергей Кропотов, — произнёс он сухо.

— Обождите, обождите... Тот самый, у которого отец?..

— Да, тот самый.

— Серёжа Кропотов, такой тихий и милый мальчик... Трудно поверить.

Он равнодушно вздохнул.

Двадцать лет спустя, роман с продолжением... Я вглядывался в него и всеми силами старался увидеть под одутловатой, тяжело-свинцовой физиономией девичьи-акварельное лицо с зачёсом русых волос, паренька в выгоревшей байковой куртке с молнией. Кажется, я уловил сходство, смутное, как шум морского прибоя в раковине, поднесённой к уху. Он был самым обычным из моих учеников: вполне прилично учился, недурно рисовал, оформлял общешкольную стенгазету, выбирался в разные комиссии и комитеты. К нему я не испытывал никогда ни большой любви, ни сильной антипатии. Однажды я спас его от исключения из школы.

— Да, пожалуй... Серёжа Кропотов. Но как вы изменились!

Он промолчал с выражением суровой торжественности на небритой физиономии.

— За что же вы меня?.. Право, теряюсь в догадках.

— Вы слишком спешите, Николай Степанович, — с победной небрежностью усмехнулся он и пошевелил громоздкий пакет на столе.

Похоже, он давно готовился к своей праведной роли и сейчас играл её слишком усердно, потому переигрывал.

Мать его, помнится, служила то ли делопроизводителем, то ли инкассатором. Он был единственным сыном, всегда отутюженный, заштопанный, умытый — эдакий наглядный экспонат материнского усердия: «Мы не хуже других». Впрочем, в те годы «не хуже других» стать было не трудно, только-только прошла война, все ещё жили впроголодь, одевались не форсисто.

Отец его ещё в сорок первом пропал без вести. Таких — не живых и не убитых — в те годы было немало. Редко кто из них возвращался, чаще в военкомате переносили их фамилии в списки погибших, чтоб семья могла получать законную пенсию.

Но вдруг полтора года спустя после окончания войны отец Кропотова объявился в Карасино. Он спрятался в доме и не показывался на улице, но досужая молва расписывала его портрет: «Зачервивел, в коросте весь... Стариком выглядит... Из-под Воркуты прибыл, защитничек родины».

Уже не помню, на каком школьном собрании и кто первый выразил недоверие Сергею Кропотову: «Скрывает, что отец его изменник родины, был полицаем у немцев...» Обычно тихий Сергей тут раскричался со слезами на глазах — отец его не изменник, к немцам он попал раненым, он, Сергей Кропотов, гордится своим отцом...

Наш директор школы, монументально величавый старик, занимавший когда-то высокие должности, был по природе человеком очень добрым, умудрённо-покладистым, однако весьма осторожным, любил повторять: «В наше горячее время каждый должен быть немного пожарником».

Сначала он сделал вид, что не замечает разгоревшегося сыр-бора вокруг Кропотова-сына, авось пожар сам по себе погаснет. Но к нему в кабинет явилась делегация из ребят-активистов. Они поставили вопрос ребром: Сергей Кропотов защищает своего отца — изменника родины, если Кропотова не исключат из школы, они через голову директора вынуждены будут обратиться в более высокие инстанции.

Директор их выслушал, похвалил за бдительность, пообещал принять меры, выпроводил и вызвал меня.

— Как по-вашему, следует исключать Кропотова из школы? — спросил он.

— Нет.

— Ну и прекрасно. Постарайтесь спасти его.

— Каким путём?

— Это уж ваше дело. Только боже вас упаси выглядеть защитником отца Кропотова. Кажется, он и на самом деле в поддавки с немцами играл.

Я не стал действовать вслепую, решил навести справки. Оказалось, что дело Кропотова-старшего чрезвычайно запутано: при отступлении наших войск он был взят в плен немцами, установлено — выпущен ими на поселение, а значит, имел перед ними какие-то заслуги или, того хуже, давал им какие-то обещания; но в то же время, есть сведения, был связан с нашим партизанским отрядом, оказывал крупную помощь. Неизвестно кому, немцам или партизанам, служил он не за страх, а за совесть. По недостаточности улик его освободили из заключения, но не от подозрений — выслан по месту жительства, запрещено выезжать, обязан отмечаться...

Я оставил после уроков Сергея Кропотова... Нет, я сейчас, конечно, не помню, что именно ему говорил. Много мне на веку приходилось вести таких вот душеспасительных бесед, это одна из будничных обязанностей любого педагога. Дословно не помню, но в общих-то чертах нетрудно догадаться, о чём... Нет, мол, оснований утверждать, что его отца судили несправедливо, не следует кричать и возмущаться, противопоставлять себя коллективу и т. д. и т. п. Осторожно втолковывал, осторожно урезонивал...

Мне искренне хотелось спасти Серёжу Кропотова. И, кажется, я преуспел в этом — он благополучно окончил школу.

К нам подошла официантка.

— Я вас слушаю.

Уставилась поверх наших голов, нацелив заточенный карандаш в блокнот.

— Бутылку минеральной и... яичницу, — поспешно ответил Кропотов.

— А мне чего-нибудь покрепче, — попросил я.

У меня сильно зашибал отец, зато я всю жизнь был примерным трезвенником, выпивал по большим праздникам. Сейчас меня тоже начинало охватывать ощущение если не праздничности, то, во всяком случае, исключительности минуты.

— Водки не держим. Коньяк «Пять звёздочек», — сообщила официантка.

«Пять звёздочек», наверно, дорого, хватит ли денег? — подумал я и тут же про себя усмехнулся: — А придётся ли ещё расплачиваться-то?»

Передо мной сияло кафе — травянисто-зелёный пластик пола, белые стены, крапленые чёрным под бересту, жёлтые спинки стульев, маслянисто-тёмная стеклянная стена, кое-где матово отпотевшая. Здесь?! Здесь скоро начнётся паника, девица в канареечном свитере, что сидит ко мне спиной, истерично закричит, а сельскому командировочному, вернувшись домой, будет что порассказать. Я почувствовал медный привкус во рту.

— Так берёте или нет коньяк? Второй раз спрашиваю.

— Не берёт, — вдруг решительно сказал за меня Кропотов. — Сегодня мы, красавица, пьём минеральную. Ещё бутылочку боржому и яичницу.

Я не стал спорить, и официантка, устало покачивая бёдрами, удалилась.

— Не рассчитывайте спойть меня. Не выйдет! — заносчиво произнёс Кропотов.

— А ежели я собирался пожить напоследок?.. — усмехнулся я. — Вам, наверное, безразлично, какого?..

— Нет, не безразлично! Не хочу иметь дело с невменяемым. Ещё раз напоминаю — здесь суд! Суд беспристрастный и праведный!.. — Запальчиво и с пафосом.

— Ладно, не будем ссориться по мелочам, к делу! Начинайте свою обвинительную речь, — я уселся поудобнее и уставился на Кропотова.

Он снова пошевелил пакет на столе, скользнул по мне тусклыми, словно оцинкованными глазами, заговорил:

— Начну с того, что вам, наверное, не обязательно даже знать. Мой отец... Он и в самом деле месяц служил полицаем.

Я пожал плечами. К чему мне теперь эта чужая новость двадцатилетней давности.

— И всё это время он был связан со своим партизанским отрядом. Командир отряда жив, недавно выступил в печати, упомянул добрым словом моего отца. Да! Налицо документ! Вот эта газета!.. — Кропотов картинным, отработанным жестом полез во внутренний карман своего замусоленного пиджака.

Я остановил его.

— Верю, что невиновен. Дальше.

Кропотов взвился:

— Не виновен! Ишь как легко! Вы бы тогда так вот пели!

— Ни тогда, ни теперь не брал и не беру на себя судейских полномочий.

— Вот именно, на себя не брали, а меня заставили осудить.

— Не заставлял, скорей, советовал.

— А что такое совет учителя? Не осудишь — погибнешь, осудишь — будешь благоденствовать. Что это, как не своеобразное духовное насилие опытного и искушённого над неопытным?!

И меня взорвало:

— Послушайте, вы! Бывший Серёжа Кропотов! Уж если вы взялись судить, то судите, а не занимайтесь художественной подтасовкой. Я насильник? Как же! Я ведь тогда действовал из желания навредить вам, а не принести пользу.

Его глаза вдруг заблестели, щёки затряслись, он захлопал влажным смешком.

— Хе-хе! Вам не стыдно говорить о пользе? Хе-хе!.. — И выпятил грудь. — Взгляните на меня! Взгляните внимательней! Не отводите взгляда!.. Видите, я в славе, я в почестях, я в богатстве! Мне пошла на пользу ваша высокая и бескорыстная забота! Вы меня облагодетельствовали!..

Мне начинал действовать на нервы этот краснобай.

Я спросил:

— Хотите взвалить ответственность на меня за свои неудачи? Вы бы и без меня стали тем, кто есть.

Кропотов, бывший мой ученик, будущий мой убийца, минуту пробыл в задумчивости, наконец сказал важно и миролюбиво:

— Вот это-то мы и должны выяснить — стал бы я без вас... Итак, вы уговаривали меня отмежеваться от отца... А знаете ли вы, кто вам помогал в этом?

— Знаю, ваша мать.

— И не только! Мой отец тоже! Мой отец был величайшей души человек! Он считал: жизнь его безнадежно изломана войной, ему уже не прибудет и не убудет, самое страшное, если покалечат ещё жизнь сыну... Словом, он был ваш верный, ваш горячий союзник!..

— Значит, вы с таким же успехом можете повесить своё обвинение на отца, как и на меня, — заметил я.

И он вдруг бурно восторжествовал: — Ага! Я этого ждал! Я ждал этого!.. Прячетесь!..

— Прячусь? От кого?

— От своей совести. Ишь как, с моим отцом одинаков!.. — Кропотов подавился смешком и расправил плечи, холодно взглянул на меня оцинкованными глазами. — Вы помните то собрание?

— О каком вы говорите?

— Да о том самом, где сын публично каялся за родного отца. Какая была тишина! Какое захватывающее зрелище!.. Я выполнял ваш благой совет, осуждал...

— А без меня вы бы этого не сделали?

— Нет! — ответил Кропотков и повторил с жаром: — Нет, нет! Отец, мать требовали... Я бы их не послушался, я бы не принял жертвы отца... Но вот стал убеждать человек посторонний, авторитетный, умный, бескорыстный... Да, да! Ваше бескорыстие сыграло свою злую роль!.. Я перестал верить своей совести, поверил вам! Какая была тишина, когда я говорил: осуждаю!.. Смотрите на меня, смотрите!.. Именно с этих слов началось моё «позабыт, позаброшен...». После этих слов я стал сиротеть. Стремительно! Сиротеть и портиться!..

— Обычные жалобы неудачника: меня, хорошего, дурной мир обидел, — произнёс я сердито.

Казалось, он не слышал меня, повторял, глядя в сторону.

— С этих слов... С них!.. Я произнёс их, а пришёл-то домой, к отцу. Я жил рядом с отцом и стыдился смотреть ему в глаза. Я знал, что этим его обижаю, но ничего не мог поделать. Мучительно быть рядом с человеком, о котором недавно принародно говорил ужасные слова. Для отца же единственной наградой за этот позор могла быть лишь моя сыновья близость. А тут ещё мать... Она хотела задобрить отца, старалась говорить с ним заискивающе ласково, со мной грубо: «Лёшенька, ты таблеточки свои принял?.. Ты, идол, чего стоишь столбом? Беги, принеси отцу водички!» Отца это корбила, а меня, молодого дурака, оскорбляло: я же не хотел, они оба сами меня уламывали, сами же теперь презирают меня. Я первый начал срываться — кричал на мать. Мать ударялась в слёзы, вопила, что она из себя жилы тянет ради нас. Отец молчал и смотрел волком...

Кропотков не расправлял плеч, не вздёргивал подбородка, на этот раз не играл в судью, а рассказывал. Его одутловатое лицо покрылось лёгкой красочкой, глаза беспомощно блуждали по столу, а руки беспокойно сжимались и разжимались — чёрствы руки рабочего. На минуту он поднял покрасневшее лицо, размягчённые, почти жалобные глаза, подождал вопрошающе — не возражу ли?.. Я не возражал, мне нечего было сказать. И тогда он снова опустил голову и заговорил. Он, наверное, как и я, давно искал человека, который бы его со вниманием выслушал. Со вниманием, заинтересованно... Он не ошибся, я его слушал затаив дыхание.

— Помните у Чехова в «Трёх сёстрах»... Помните, там твердили: «В Москву! В Москву!» У нас в семье появился такой же припев: «Уехать! В Череповец к Соне!» Сестра отца Соня нас не знала и в нас не нуждалась, но нам казалось, что во всём виновато Карасино, стоит только вырваться из этого гноища, как всё станет по-прежнему, мы будем любить друг друга, жертвовать друг для друга собою. Мы уехали, правда, не к тётке Соне в Череповец... Э-э, зачем вам подробности?.. Я тогда уже крупно не ладил с

матерью, по примеру отца тоже начал пить, впутался в уголовную историю, попал под суд. Какая цепь! Какое гнусное ожерелье! Одно тянуло за собой другое... А началось со слов, которые я произнёс на собрании...

Кропотков пригнулся к столу, сжал лысину руками, замолчал.

А за соседним столиком расшумелась молодёжь, перестреливалась тугими научно-техническими терминами и громкими именами: «Инвариантность!.. Неэвклидов континуум!.. Де Бройль! Дирак!..»

Звенело у меня в ушах от молодых голосов и рябило в глазах от волос девицы, рассыпанных по канареечным плечам.

Да, так оно и было, я виновен, но, право же, невольно. Сегодня весь день я занимался раскопками, пласт за пластом вскрывал свою совесть, подымал наружу окаменевших уродцев. Знал бы Кропотков, что среди этих уродцев открылись мне куда более неприглядные, чем тот, которым он сейчас тычет мне в нос.

Как, однако, люди зависят друг от друга. Двадцать лет назад я имел несчастье неудачно посоветовать. Я хотел спасти человека этим советом! И вот он передо мной: «Я алкоголик... Представитель человеческих отбросов... Вас убить!» Живой укор, грозное обвинение! Я спросил его:

— Вы всё-таки не отрицаете, что я хотел тогда вам помочь?

Он пошевелился, отнял руки от лысины, ответил устало и вызывающе:

— Не отрицаю. И что из этого?

— Из этого следует новый вопрос: можно ли судить человека за то, что он хотел помочь другому? По-мочь!

И он снова вскинулся: небритый, помятый, негодующий, смешной и грозный.

— Да! — выдохнул он. — Да! Помощь Иуды... Скажите, что она неподсудна!

— Помилуйте, какой я Иуда. Я не собирался продавать вас за тридцать сребренников, наоборот...

— Николай Степанович! — торжественно провозгласил мой помятый, простуженно красноносый судья. — Вы не прохвост! Нет! Будь вы обычным прохвостом, я бы и не подумал покушаться на вашу жизнь. Чёрт с вами, одним прохвостом больше, одним меньше — так ли уж страшно.

— Неужели искренний, пусть заблуждающийся человек страшней беспринципного прохвоста?

— Заблуждающийся — да! Заблуждающийся страшней!

Глаза его потускнели и потяжелели, спина распрямилась, плечи раздвинулись, в голосе послышались прежние нотки судейского превосходства. Кажется, я затронул нужную струну. По всей вероятности, у него давно уже разработано соло на тему заблуждений и преступности, наверное, он много лет исполнял его за кружкой пива. «Заблуждающийся страшней!» — победность в голосе. Похоже, я сейчас услышу философское обоснование приговора: «Убить Вас!»

— Обычный прохвост делает гнусности, скажем, клеветает, но в глубине-то души понимает, что поступает плохо. Он всего-навсего нарушает правила. А тот, кто искренне убеждён, что клевета под каким-то соусом или другое что-то в этом роде необходимо человечеству, этот, извините, уже не просто нарушает правила, он возводит подлость в правило! Вы, Ечевин, не подлец, вы вредная людям идея!

Он глядел мне в переносицу холодными матовыми глазами. Одутловатые щетинистые щёки, птичий нос и... горделиво-алчное выражение непримиримости.

Врачу — исцелился сам! Он тоже не человек, а идея, не простой убийца, а жрец, очищающий мир от скверны. Что станет с этим миром, если житейские заблуждения начнут наказываться смертью? Что такое хорошо? Что такое плохо? Кто знает это точно? Кто из нас не заблуждался в жизни, не сбрасывал с себя своих заблуждений, чтоб принять новые? Не смей заблуждаться — смерть! Страшней духовной диктатуры не придумаешь. Матовые глаза, щетинистые щёки, птичий нос — судья суровый и праведный, судья, защищающий мир, не меньше!

Нетрудно опровергнуть этого доморощенного судью вместе с его подозрительной праведностью. Нетрудно кому-то беспристрастному, но только не ему самому. Наверняка не год и не два, а много лет сочинял своё философское кредо, как ни зыбко оно и ни уязвимо, но помогало ему сносить и оскорбительные несчастья, и презрение окружающих — значительным-де занимаюсь, лелею спасение человечества. А спасал-то он сам себя — от самонеуважения. Мне нынче это так понятно. И вину я перед ним всё-таки чувствую. Безнадёжно опровергать — не услышит, не воспримет, ничего не получится, кроме скандальной склоки. Ну не-ет, не унижусь до неё, даже если суждено погибнуть, постараюсь быть выше своего судьи. Пусть почувствует, на кого замахивается.

— Итак, — спросил я, — вы меня приговорили за заблуждения?

— Не за случайные и не за малые!

— На основании одного лишь события... двадцатилетней давности?

Судья, охраняющий человечество от меня, надулся от важности.

— Нет, Николай Степанович, не пройдёт! Тот двадцатилетний случай только толчок, я давно уже слежу за вами, собираю на вас материал, давно взвешиваю, имеете ли вы право жить на белом свете.

— И что же вы собрали?

— Кое-какие сведения о некоторых ваших учениках.

— Например?

— Например, Щапов, ныне директор областного сельхозинститута. Ваш ученик?

— Мой, ну и что?

— Вы помните, на чём он вылез?

— Откуда мне знать, я не слежу за его научными работами.

— А их у него, собственно научных, нет. Он вылез на том, что был одним из экзекуторов профессора Долгова, презренного менделиста-морганиста. После смерти Долгов

оправдан и прославлен, имя его присвоено институту, а директором этого института сейчас... Щапов.

— Даже если он, Вася Щапов, и злодей, при чём тут я, его школьный учитель? Он мог стать им и без меня.

— А вспомните, что писал Щапов недавно, во время вашего юбилея: «Наставник, которому я благодарен буду до конца своих дней...» Вы плодите щаповых, щаповы плодят себе подобных — расплозается по миру зловещая гниль. И вас славят за это!

— Почему вы выбрали из моих учеников Щапова? Наверное, знаете Женю Макарова — довольно известный вирусолог, его-то научные труды вне подозрений. Он тоже откликнулся на юбилей — благодарен... Пусть это пустая вежливость, пусть не я помог стать Жене учёным, но и не испортил же его! А вот Гриша Бухалов... Да, да, на моём счету есть и такие...

— А на вашем ли? Неужели вы считаете себя настолько могущественным, что способны вытравить в любом и каждом всё то, что вложили природа и общество? Не заноситесь!

Бесстрастность на небритой физиономии, морозом скованные глаза — мессия! Убийством восстанавливать справедливость! Могу ручаться, что Щапов, которым он возмущается, ни разу в жизни не помышлял о таком. Глядя прямо в его мелкие зрачки, я заговорил:

— Я выучил Гришу Бухалова не только азбуке и таблице умножения. Я первый ему рассказал, что такое родина, за которую он погиб. Вы можете отнять у меня жизнь, но отнять таких, как Гриша Бухалов, для вас непосильно.

И мой суровый судья отвёл глаза, с минуту молчал, потом произнёс, как мне показалось, уважительно:

— Знал, что вы будете защищать себя умело. Но... — судья тряхнул лысой головой, — попробуйте развить вашу защиту дальше, скажите, что Щапову вы рассказывали о родине не то, что Бухалову.

— Бухалов Гриша был мне почти сыном, много ближе Щапова! Значит, и получил от меня больше. Так по кому же мерять моё?

— Быть к вам ближе, получить от вас больше... Да вспомните дочь, Ечевин, родную дочь. И я поспешно оборвал его:

— Не трогайте этого! Ради бога! Прошу!

Он замолчал, разглядывая меня в упор, кажется, в его глазах сквозь холодную оцинкованность проступило сочувствие.

Выходит, он ещё и добросовестный судья — осведомлён не только о школьных, но и о моих семейных делах. Впрочем, не удивительно — весь город говорит о моей беде с Верой.

— Не буду трогать, — согласился он. — Но тогда и вы уж защищайтесь поосторожнее.

Появилась официантка, поставила перед нами бутылки с боржомом и тарелки с яичницей-глазуньей.

— А так ли уж нужно мне защищать себя перед вами? — спросил я, когда официантка удалилась.

— То есть?.. — насторожился Кропотов.

— У меня есть забота поважней.

— А именно?

— Защищаться перед своей совестью.

Кропотов криво усмехнулся.

— Дешёвка. Не купите. Не выйдет!

— Как вы думаете, прочитав ваше письмо, должен был я оглянуться на себя, порыться в прошлом — за что же, собственно, меня так? А?..

— Н-ну, положим.

— А как вы думаете, вспомнил я о вас?..

— Вроде нет.

— То-то и оно, Кропотов. Я увидел у себя грехи покрупнее, попронзительнее. Почему только ваша история достойна мучений совести, а не те, что мне вспомнились первыми?.. Право, мне теперь не до вас.

— Хотите растрогать меня кротостью? Не клюну!

— Хотел... Совсем недавно мечтал с вами увидеться, кротчайше заявить: вы можете меня убить, но помните, что убьёте другого человека. Я изболелся! Я прозрел. Я переродился. Между мной и моим однофамильцем из вчерашнего дня нет ничего общего. Убейте меня, но это будет убийство без необходимости.

— И вы рассчитывали, что я раскисну, расчувствуюсь, облобызаю вас в медовые уста.

— Я верил — переродился! — и рассчитывал заразить вас своей верой.

— А сейчас?

— Нет.

— Чего так?

— Я недавно понял, что не могу по-иному, по-новому поступать. Не могу, скажем, написать иную характеристику своей ученице! Стать иным рад бы, но нет... Не выношу себя и не могу измениться. Вы понимаете меня, Кропотов?

Он молчал, тревожно таращил на меня глаза. Он, человек, не уважающий себя, бессильный перед собой. Кто-кто, а он-то понимал меня.

— Спасибо вам, Кропотов, за письмо и будьте вы за него прокляты! Действуйте и не надейтесь, что стану просить о прощении.

— Самобичевание сопливое! — выдавил он хрипло и неуверенно.

Я рассмеялся ему в лицо.

— Что, судья, опоздал? Я сам себя осудил. Благородная часть дела сделана, осталась лишь грязная работа — будь палачом, дружок, и не гневись, сам затеял.

Его руки, раздавленные руки чернорабочего, лежащие рядом с таинственным пакетом, сжались в кулаки, глаза тлели зло и затравленно.

— Надеешься, трещинку дам? Не выйдет!

— Э-э, Кропотов, да не я вас, а вы меня боитесь. И Кропотов сразу угас, опустил глаза.

— Да... боюсь, — признался он не своим, каким-то глубинно угрюмым голосом. —

Провожать на тот свет человека... не привык. Боюсь и не хочу.

— Сочувствую. Могу лишь облегчить вам работу — буду услужливым.

— Лжешь! — передёрнулся Кропотов. — Лжешь, негодяй! А почему бежал от меня?..

Молодым галопом ударил, о годах забыл! Оттого, что себе опостылел, бежал? Лжешь!

— Тогда бежал, сейчас не хочу. Неужели не понятно, что в человеке живёт проклятое самосохранение, не в мозгу, где-то в желудке. Молодой галоп случился прежде, чем успел подумать... И сейчас во мне, что скрывать, сидит эдакий шерстистый чёртик. Жив курилка! Не отделаюсь до конца.

— На пушку берёте! Не выдержу, мол, дам трещинку...

— Бросьте — на пушку! Почему вы так беспокойны, почему горячитесь? Потому, что верите мне. И как не верить, мы же братья по несчастью...

— Ну вот и до братства договорились.

— Вы тоже несносны сами себе, потому и игру выдумали: бросить себя, постылого, на костёр... И прекрасно! Мы, так сказать, друг для друга взаимовыгодны, вы через меня отделяетесь от своего постылого Я, одновременно освобождаете и меня от того же. Для меня самый лёгкий выход — минутка неприятности, как в зубоврачебном кабинете.

Кропотов молча взял пакет, стал разглядывать его и свои рабочие руки, хмурясь, моргая, то сдвигая в узелок губы, то растягивая их, всё усталое лицо нервически гримасничало. И я снова почувствовал во рту медный привкус.

— Дозрел, скотина, — сказал он. — Хочешь отделаться моими руками.

Медный привкус всё ещё оставался, но ощущение подмывающей опасности исчезло, мне вдруг стало скучно, появилось раздражение против этого нерешительного человека — судья-каратель, тоже мне. Несерьёзный птичий нос, тусклая лысина, мешки под глазами, после первого же несчастья так и не сумел встать на ноги, хотел, наверное, много, но ничем не заявил о себе... Жертве по призванию вершить суд не дано.

— Вот... Можешь взять себе.

Пакет тяжело стукнул рядом с моей тарелкой.

— А если я не решусь?..

Кропотов побагровел, глаза его стали белыми.

— Ну и живи! Задыхайся в собственной вони!

— А дух?.. Мой дух, Кропотов?.. Вы же его собирались прикончить.

— Почему я за твой поганый дух должен больше тебя отвечать?

И я негромко рассыпался не своим, презрительно горьким смешком.

— Но что будет с человечеством, Кропотов, с человечеством, которое вы от меня хотели спасти?.. Как быстро вы о нём забыли!

— Нет вас — были да вышли, дым остался.

— Лжёте, Кропотов! Как всегда, себе лжёте. Поняли простое — во мне себя увидели. Или я не прав? Родные братья, хотя и не близнецы.

— Ловко выгораживаетесь!

Злое возбуждение слетело с меня, я вздохнул.

— Нет, не выгораживаюсь. И в доказательство готов взять подарок. Что называется, постараюсь оправдать ваши надежды.

Он гнулся к столу, к остывающей яичнице, прятал от меня лицо, выставляя неопрятную лысину.

Ярко освещённое крикливо-цветастое кафе — белое и чёрное, зелёное и жёлтое, и за столиками благополучные люди. Небритый, нездоровый, враждебный человек напротив меня. Жаль его, жаль себя. Запрокинуть бы голову до хруста в шее, завять поволчьи на тощенькие современные люстры — о пропущенной жизни, от зависти к тем, кому жить предстоит.

Я взял пакет и чуть не выронил его из рук — он оказался тяжелее, чем я думал.

— Кропотов, — сказал я мстительно, — ты напрасно мне это отдаёшь. Оно тебе самому нужно.

Он промолчал. Я повернулся, хотел крикнуть официантку, чтоб расплатиться за бутылку минеральной, нетронутую яичницу, и тут Кропотов застонал:

— Да скорей же!.. Не тяни! С глаз долой!

— Будь здоров, Немезида.

Бережно прижимая пакет к животу, я двинулся к выходу.

37

Известно, что Людовик XVI держался храбро во время казни. Талейран будто бы назвал это «храбростью женщины в момент, когда она рождает». Я испытал угрюмое хмельное удалство, приобщился к отваге висельника.

Этот хмель продолжал кружить мне голову, когда кафе осталось за спиной, когда автобус вёз меня к дому.

Нет, я не гордился победой над человеком, который приехал убить меня. Он не стоил того, он из тех, кого в жизни побеждает каждый встречный. Но, похоже, я победил себя. Пакет оттягивал карман моего пальто — военный трофей, вызывающий к действию.

Прозревший крот не в состоянии жить под землёй во мраке. Раз он прозрел, то должен видеть солнечный свет. А мир, где светит солнце, не для крота, крот приспособлен к потаённой кротовой жизни. Но всё равно будь благодарен прозрению, за минуту яркого света с честью прими расплату!

Автобус вёз меня к дому. Он был почти пуст в этот уже довольно поздний час.

Хлыщеватый паренёк — брючки слишком узки, полы пальто подрезаны чересчур высоко, головной убор отсутствует — глядится в ночное стекло окна: «Как я хорош». Нарцисс.

Две девицы громко болтают о какой-то Капко, которая «ломается, как копеечный пряник».

Сейчас я имею право свысока смотреть и снисходительно судить. Ни один из встречаемых наверняка не пережил такого дня, какой только что пережил я, ни один не прошёл через такой пристрастный и жестокий суд совести, через какой прошёл я. Наверяд ли кто из них когда-либо вынесет себе столь суровый приговор. Пакет оттягивает карман моего пальто, он не просто взят добровольно, он отвоёван мною вместе с высоким правом судить самого себя.

Я сошёл на остановке возле своего дома.

Будь благодарен прозрению, крот, слепо проживший жизнь в шестьдесят юбилейных свечей. Другие кроты не поймут.

Мимо меня промчался с грохотом мотоцикл — парень вёз за спиной девушку. Это, наверное, самый последний из мотоциклов, несущий на себе досужих отдыхающих.

Закрываются магазины, и то кафе возле вокзала, наверное, уже тоже закрывается, не совсем ещё пьяного Кропотова выставляют на улицу. Последние прохожие спешат по мостовой.

Вдоль проспекта застыли молодые липки, прогретые за день на солнце, испытывавшие живое шевеление сока — деревья с налившимися почками. Почки скоро лопнут..

Всё ещё сеял дождь, фонари вспарывали мокрый асфальт судорожными полосами. Город засыпал, успокоенный и освобождённый. По его улицам уже не ходит убийца, к любому углу приближайся с доверчивостью. Но одной рукой я придерживаю отягощённый пакетом карман.

Что ж...

38

Не снимая пальто, через столовую при неверном свете фонарей с улицы я прошёл в свою комнату, плотно прикрыл дверь, прислушался. Жена, похоже, спала... или продолжала от меня прятаться в недрах нашего затемнённого жилья.

Возможно, она глядит сейчас в потолок, перебирает в уме нашу с ней жизнь. Она, кажется, и на самом деле была несчастлива со мной, хуже того, как-то однообразно, уныло несчастлива. У меня хоть ежедневная смена: дом — школа — дом, а у неё только: дом — дом — дом — равнина и в ней овраги.

Спит или думает?.. Ждёт ли покорно заранее известного утра? «Доброе утро, Коля. Как ты спал?» — лозунг дома. Прости, Соня, утро у тебя будет недоброе, тебе придётся

перебраться ещё через один страшный овраг. Всею душой хочу, чтоб он был у тебя последним. Постарайся набраться сил, одолей.

Включил свет.

На письменном столе среди разложенных книг, тетрадей морской кортик. Гриша Бухалов — светлое пятно моей биографии. Впрочем, кошмарное сегодня подарило мне встречу с Антоном Елькиным. А сколько таких Антонов, искренне считающих меня солью земли. Письма и телеграммы всё ещё идут со всех концов страны. Письма и телеграммы, искренние и признательные... Может ли быть страшной обвинение, чем восторг, которого ты не заслуживаешь?

У меня есть единственное достоинство — не отыметь! — не злодей, не прохвост, честный человек. Это признал даже мой судья Сергей Кропотов. Останусь честным до конца, признаю: Гриша Бухалов погиб, а Лена Шорохова жива и будет жить!

Я задёрнул занавеску на окне, спрятался от всего города.

Что ж... Запустил руку в карман пальто, прорвал пакет. Ладонь сразу же удобно легла на отрезвляюще холодную рукоять. Вытянул, отбросил обрывки бумаги. Наган...

..Старый, пятнистый, маслянисто лоснящийся, хищный и тонкий ствол увенчан крупной мушкой — военный трофей, вызывающий к действию.

Пошевелив пальцем барабан, я заметил, что его глазницы пусты. Неужели не заряжен? Издёвка? Шуточка вкупе с письмом? И уже невольно хлынуло в грудь облегчение. Но в эту секунду в глубине гнезда вкрадчивый блеск. Наган заряжен. Всего одним патроном, но заряжен.

Тоже мне мастер — новое презрение к Кропотову. С одной пулей на охоту. А если бы промах?.. Если б осечка?.. Осечка может случиться и в моих руках. Может случиться, может — нет. И откуда он эту допотопную чудовину выкопал?

Я взвешивал в руке старый наган. Он солидно тяжёлый, он много раз ржавел, от этого пятнист, его где-то прятали, как прячут преступные мысли, не игрушка, в выброшенном вперёд стволе щучья хищность. Я взвешивал его и раздумывал о нём.

Молчаливый, как могила, преданный, как может быть предан не друг, а оружие. Наверняка его биография полна тайн.

Наверняка служил ещё в гражданскую, потому что по виду очень стар. Может, его носил за поясом матрос с широкой душой, опьянённый революцией, пускал из него в распыл юнкеров. А может, юнкер, вчерашний барчонок, озверевший от несчастья — у папы содрали генеральские погоны, разорили родовое гнездо, — стрелял по солдатам. Может, таскала его активистка из продотряда, добывавшая у мужиков хлеб для голодных детей, активистка в кумачовом платочке, сама голодная и рваная, окружённая угрюмой мужицкой ненавистью. А может, кулацкий сынок направил из-за угла этот ствол на активистку, и легла на землю девчонка, и кровь мочила красную косынку... Молчит старый наган, служащий всякому, кто возьмёт его в руки.

Скорей всего, служил нечистым рукам, иначе не достался бы Кропотову. Наверняка последние долгие годы он вёл подпольную жизнь, отлёживался по застрёхам на чердаках, в земле, обмотанный промасленными тряпками, в дымоходах, просто в глубине сундуков и чемоданов. Возможно, время от времени выходил он из своего подполья под покровительством ночи, и какими кровавыми преступлениями кончались его короткие прогулки?.. Не найден, не уличён, не арестован, теперь почти беззуб, но ещё раз укусить может, вырвать ещё одну жизнь...

Кропотов Сергей с бережной заботой привёз его в брезентовой сумке — бывший ученик своему учителю.

Молчит старый наган, служивший всякому, верно служивший. Кропотов отказался от его службы.

Медленно, медленно, без щелчка я взвёл клыкастый курок, и барабан послушно пошевелился, мерцающая пуля спряталась, встала напротив ствола. Медленно, медленно я стал поворачивать ствол к себе. В упор — жирная тьма отчеканенного зрачка. В упор преданный взгляд честного оружия.

Положить палец на собачку, мягко нажать... И та, спрятавшаяся, вкрадчиво поблёскивающая, пробьёт череп.

Я всей кожей ощущал кричащую тишину заснувшего дома.

Жирный зрачок в упор. В последний раз проверь, так ли ты делаешь. В последний раз спроси: почему не хочешь, чтоб в день твоего рождения зажглась шестьдесят первая свеча?

Тебе вообще не нравится жизнь?..

Да нет, жирная тьма, до краёв заполнившая хищный ствол, тебя коробит. Хочется видеть, как лопнут почки, хочется ходить под густым пахучим небом, дожидаться, когда деревья отяготятся листвой, пожелтеют, облетят... А светлая праздничность первого снега! А зимний вечер в тепло натопленной комнате с умной книгой наедине!.. Нет, жизнь хороша, и благословен род людской на своей планете. Ты не ненавистник и не мизантроп. Но почему-то ты взвёл курок?

От странной несовместимости. Я не должен писать на Лену Шорохову похвальную характеристику и в то же время я её непременно напишу...

Что ты есть?

Ты сегодня много думал над этим вопросом и не ответил себе. Скорей добр, чем зол, честен, а не подл, желаешь быть полезным, но приносишь несчастья другим. Что ты есть и почему ты собой недоволен?

Не потому ли, что всегда тянулся к тому, что попроще, шёл туда, где полегче?

Легче согласиться с Иваном Суковым, чем защищать Ивана Семёновича Граубе. Легче бросить Таню «в набежавшую волну», чем сохранить её на всю жизнь. Мне легче писать похвальные характеристики Лене Шороховой, чем заставить её задуматься. И осудить Веру было легче, чем разделить с ней её беду...

Ох, как трудна жизнь — вся из несовместимых противоречий!

Нажми на спуск, но прежде составь эпитафию: «Неудовлетворительно жил и бесполезно умер».

Стоп! Не спеши!

Неудовлетворительно?.. А такая ли это заслуга — быть довольным собой? Во всём хорош, безупречен, в голову не придёт судить себя. И не возникнет желание что-либо изменить, что-то создать новое — зачем, когда и так хорошо, удовлетворён. Много ли от довольного пользы?

Неудовлетворительно... Не грехи — вполне удовлетворялся, вот этим-то теперь и не нравишься себе. Очнулся, но поздно, ох, поздно! Сгорело шестьдесят свечей! Однако не всё прогорело, кое-что осталось... И пугает — в том, что осталось, открылось трудное, непосильное. Действительно, как быть с Леной Шороховой? Да плюнуть на неё и нажать курок. «Бесполезно умер» — нашёл чем удивить. Попробуй-ка удивить жизнью...

Я отвернул от себя наган и двумя руками бережно, бережно отпустил курок, положил наган на стол. Подозрительное оружие с тёмной биографией легло рядом с оружием, чья судьба чиста, ясна, величественна, — с морским кортиком Гриши Бухалова.

А Гриша всё-таки мой. И даже Антон Елькин... Нет, нет, не могу похвалиться: я сделал из тебя, Антон, человека. Полностью такое не возьму на себя. Но не зря же ты помнил меня. И я действительно тебя защищал. Не защитил?.. Так казалось мне, но не тебе, Антон. Гриша Бухалов у меня один, Антонов Елькиных много...

Кропотов подумает, что я струсил.

Кропотов Серёжа, мой ученик. Он тоже отворачивался от противоречий, тянулся к тому, что попроще. Казалось бы, просто взять в руки наган, совершить очистительный выстрел. Выстрел, после которого на Земле окажется ещё один труп.

Старый наган покоился на столе рядом с морским кортиком Гриши Бухалова.

Гриша Бухалов... За его спиной находился экипаж катера и вся страна. Гриша Бухалов умер, «смертию смерть поправ»? Это утверждение жизни, никак не смерть.

Людовик XVI умер бесстрашно, зато жил трусливо. Нет уж, пусть в день моего рождения зажжётся шестьдесят первая свеча.

1972 г.



В.Ф. Тендряков в 1970-е годы

Из выступления на Вечере памяти В.Ф. Тендрякова

В писательском мире я, пожалуй, не знаю ни одного человека, который с такой поразительной непреклонностью, ни на что не отвлекаясь, жил бы по своему внутреннему графику. Вот был он диссидентом? Наверное, не был. Был он правдоискателем? Не очень годится это слово, потому что правдоискателя мы обычно представляем, как говорится, внешне тщедушным, но духом сильного человека, который вот так смотрит немножко вверх всегда. У Володи этого не было.

Он был огромной величины русским писателем. Бесспорный классик. Но мы же всех ставим в какой-то ряд. И вы знаете, я только одного человека нашёл, которому Тендряков внутренне был очень близок, возможно, даже никогда об этом и не думая. Вот если посмотрите внимательно на его портрет, это станет ясно. Он был внутренне очень близок к единственному человеку в русской литературе — ко Льву Николаевичу Толстому. Человек он был добрый. И при этом абсолютно, по-писательски, беспощадный взгляд.

Не только его нельзя было обмануть, не только он никого не обманывал, но он никогда не обманывал себя, как писателя. Он писал только о том, что не мог видеть иначе.

Тендряков огромное влияние оказывал на людей. На меня оказал огромное влияние, хотя никогда не учил (у него это и близко не было), советов никаких не давал. Но вся его жизнь была одним мощнейшим советом.

Один из колоссальных уроков Тендрякова — написать всё, что ты должен был, сказать всё, что ты должен был.

Леонид Аронович Жуховицкий — известный писатель, публицист, драматург, педагог.

Выступление Л.А. Жуховицкого на Вечере памяти В.Ф. Тендрякова 25 декабря 2002 г., записано и расшифровано Евгенией Семёновой Абелюк.

...У Тендрякова была по всем параметрам изумительная биография: из глухой деревни, как говорится, более русского писателя и представить себе невозможно — фронтовик, огромный талант, всё при нём. Вы знаете, ему не надо было ни кланяться, ни угождать; ему нужно было только не противоречить судьбе. И все премии, которые бывали в литературе, он бы получил без всякого элемента подлости. Но он никогда не подыгрывал своей очень везучей судьбе.

Понимаете, такая поразительная вещь. Среди писателей этого поколения есть такое жалкое слово — «пробился». Так Володя пробился первым! Он буквально сразу стал знаменит. Причём знаменит до такой степени, что когда тогдашние большие честные писатели собрались в редколлегию, чтобы выпустить первый в советской литературе бесцензурный сборник (это был сборник «Литературная Москва»), то из молодых писателей в редколлегию взяли именно Тендрякова.

А когда стали долбать «Литературную Москву», все доброхоты из ЦК старались Тендрякова из-под удара вывести. Потому что человек с такой биографией и с таким талантом очень мог бы пригодиться. Говорили, что вот есть такая злонамеренная группка литературных отщепенцев — называли Каверина, Алигер, Казакевича, ещё кого-то. Володю никто за язык не тянул, мог бы промолчать. А он выступил и публично сказал: «Почему вы называете только еврейские фамилии?»

Естественно, что вся его официальная карьера после этого была невозможна. Зато его писательская карьера, карьера художника, она оказалась совершенно блистательной.

Многие его вещи печатались только после смерти. И это не писатель 1960-х, 70-х, 80-х годов. Я думаю, что это писатель, может быть, 2010-х, 20-х, 30-х годов.

...Вы знаете, говорят, куда идёт сейчас жизнь? — не возвращаемся ли мы назад, не будет ли плохо. Я абсолютный оптимист. Не вернёмся мы назад. И во многом потому, что тот удар, который по этой подлой, воровской и рабской системе нанёс ряд писателей и, может быть, больше других Тендряков, это всё осталось в нас. Это неистребимо. Это нельзя сломать. С этим вообще ничего нельзя сделать.

Часть II



День седьмой
Люди или нелюди
Воспоминания о «Литературной Москве»
Учитель. О Константине Паустовском
Литинститутский коридор

На войне я
прожил сам
равновешен
олей жи
л ника
мнений, ни
козваний.
знал одно:
впереди
противник,
рядом с тоб
товарищ, по
страна, кот



КОММЕНТАРИИ КО II ЧАСТИ

Два рассказа второй части книги трудно отнести к «школьным»: они из военной прозы. Внешне их сцепляют картины Сталинградского фронта: летних катастроф, зимних побед и трагедий на фоне победы.

«День седьмой» — рассказ о седьмом дне пребывания на фронте; но символика названия приоткрывает другой план: это история о своего рода завершающем дне творения — о становлении из хаоса космоса — «космического порядка», создаваемого личной ответственностью. В толпах людей, кого поток отступления затягивает в гибельную воронку переправы, вдруг вспыхивают чьи-то силы и таланты для организации дела, воля и искусство человеческого сотрудничества.

В рассказе о зарождении разумного порядка, общего ясного взгляда на вещи и согласованных действий во мраке беспомощности (испуга, раздражения, усталости, стадных чувств, пассивных ожиданий) нам видится одна из ярких тендряковских метафор многогранного слова «образование».

Эта метафора говорит и про **образование** умной взаимопомощи людей, и про характеристику необходимых для того способностей — личных и коллективных — которые **образованием** и должны вырабатываться у человека.

...Второй текст — отчасти военный рассказ, но в большей мере философское эссе, сведение ряда контрастных картин в притчу. «Люди или нелюди?» — резкий знак ещё одного образовательного лейтмотива книг Тендрякова: определим его как задачу «выделки» человека из народа.

Слово «народ» не только в советской литературе, но и в советском общественном быту приобрело почти религиозный пафос; «чуждость народу» стала формулой морального (а порой и юридического) обвинения.

Кто-то размахивал «народностью/антинародностью» как дубиной из вполне корыстных побуждений, кто-то (как лучшие писатели-«деревенщики», как Солженицын и Твардовский) художественно показывал, что причастность к народу, ощущение себя частью народа — основа и гарантия нравственного стержня; отрыв от народного мировосприятия, народного чувства справедливости — путь к личной ничтожности и моральной бесхребетности.

Альтернативным литературным мейнстримом стало интеллигентное ироничное дистанцирование от народа, от «простоты, которая хуже воровства», от «вкусов толпы», от энтузиазмов народного «единодушия» и т.п.

Тендряков всем своим творчеством — по чувству сопричастности, сострадания, разделения исторической судьбы со своим народом — в одном ряду с «деревенщиками» и Солженицыным. Но есть то, в чём он резко дистанцируется от них: «народность» в его глазах не даёт индульгенций и нравственных гарантий. Напротив, «народная стихия» — пока она лишь стихия — способна равно увлекать и к добру, и к злу.

Да, органичная воспитанность, *пропитанность* родной речью, народными традициями и душевными обычаями, образами, понятными без слов, опыт интуитивного взаимопонимания в кругу «своих» — это естественный источник душевных сил и живой солидарности людей, источник подлинных переживаний и многих нравственных идеалов. Народ для Тендрякова — не антитеза личности, а та живая основа, из которой личность создаёт себя.

Но создавать себя, отстаивать особый взгляд на вещи и ответственность за тот или иной «необщий» выбор человеку придётся самому — отделяя себя от колебаний общенародных оценок и стремлений, от волн конформизма или бунтарства, от «обычного права» и веками выработанных социальных инстинктов. (*«В людских интересах жить по тем законам, которые открывают наиболее талантливые представители рода человеческого. А потому перед массами следует не угодничать, а учить их»*, — убеждает Тендряков Сахарова в заочном диалоге: *«Как поднять духовный уровень масс — вот, на мой взгляд, непреходящая задача истинных демократов, то есть той части прогрессивной интеллигенции, которая болеет за народ»*).

Тема причастности к народу смыкается для Тендрякова с темой включённости в общественное устройство:

«Я бы рад самоусовершенствоваться — любить, не убивать, не лгать, — но стоит мне попасть в общественное устройство, раздираемое непримиримым антагонизмом, как приходится люто ненавидеть, война — и я становлюсь убийцей, государственная система выдвигает диктатора, он сажает и казнит, заставляет раболепствовать, я вижу это и молчу, а то даже славлю — отец и учитель, гений человечества! В том и другом случае лгу и не могу поступить иначе».

Лишь «критическая масса» людей, способных отстаивать свой нравственный выбор и человеческое достоинство, позволит народу понять себя как мир уникальных личностей, а не только вождей, тружеников и обывателей; тогда сам народ может приобрести иное качество — не только помнить себя в единстве традиций и эмоций, но и увидеть себя в перспективе будущего, осознать себя как сообщество сложно и плодотворно сотрудничающих лиц.

В 1972 году Тендряков пишет Валентину Распутину:

«Я люблю то, что делает Вася Белов, многое нравится из Абрамова, но чем дальше, тем больше во мне зреет некоторое недовольство, если не протест, перед их умилением Акакиями Акакиевичами наших дней. Беззащитные, слабые, недалёкие герои выставляются каким-то образцом человечности, предметом жалости и умиления одновременно... Я же теперь всё сильнее и сильнее испытываю желание восхищаться не слабостью, а энергией людей, жалеть не безвольных, а подавленную обществом волю, силу, способности»¹.

Человек не может жить вне времени и обстоятельств, не учитывать их, не следовать за ними во многом.

Но иногда он должен опереться на другое: на свой особый талант, на своё человеческое достоинство — и стать выше времени и обстоятельств.

Такая способность — одна из подлинных задач и необходимых результатов образования.

...Два небольших воспоминания о Литинституте набрасывают на эту тему ещё один биографический отсвет.

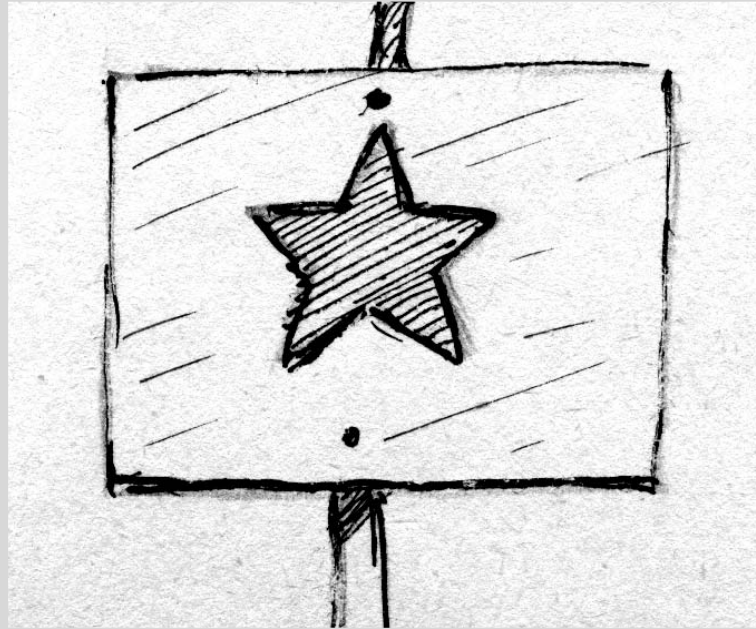
«В литературе он — мой прямой учитель», — твёрдо говорит Тендряков о Паустовском. Хотя именно их-то два стиля в русской прозе двадцатого века кажутся бесконечно далёкими друг от друга: мечтательный, сентиментально-идиллический реализм Паустовского — и суровый, трагический реализм Тендрякова. Но, возможно, все тонкости художественных приёмов оказываются незначительными перед одним главным уроком, полученным от учителя в Литинституте:

«На свете нет ничего более важного и значительного, чем человеческое достоинство, и нет ничего более преступного, чем быть слепым и глухим к нему».

Андрей Русаков

¹ Отрывок из письма Владимира Тендрякова Валентине Распутину 30 апреля 1972 г.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ



Рассказ

1

Степь, степь... раскалённо-спёкшаяся, полынно-душистая, старчески морщинистая — родная сестра бесплодной пустыни. Пять дней мы защищали неприветливый кусок степи. Их пушки и наши пушки взбаламучивали небо шуршащими, переливчатыми потоками. Огневики оглохли от чужих взрывов и своих выстрелов. Шли танки, но были остановлены, заповедной линии не пересекли. В воздухе шипели разгулявшиеся осколки, язвили, захлёбываясь, чёрствую землю пули. «Фиалка!» «Фиалка!»..» Немота в ответ, выбрасывается из окопа под свинцовую позёмку... Осколок мины порвал мне кирзовое голенище сапога, а пуля задела верх пилотки — в спешке забыл каску в окопе, — на сантиметр ниже, и я бы лёг среди степи на вечный отдых. Пять дней, столь же долгих, как день первый, слились в один ревуший бой с глухими ненадёжными перепадами по ночам. Утром шестого зловещее затишье... Оно тянулось и тянулось под вялую перестрелку, предвещая недоброе.

В полдень родился тревожный слушок, пополз из окопа в окоп: севернее нас немцы прорвали фронт, вышли к Дону. А на юге они давно уже перешли Дон. От часа к часу слух креп. И ещё раз зашло солнце на той, враждебной, стороне. В сумерках приказ: «Побатарейно сниматься!» На этот раз не смена позиций — отступление.

И вот новый день, день седьмой — мы в пути...

Лейтенант Смачкин, Чуликов и я при батарее Звонцова. В ней только два орудия. Одно, феокистовское, подбито в самый первый день. Во время танковой атаки потеряли второе. Под прикрытием кустов его вытащили на руках на прямую наводку. Оно неистовствовало от силы полчаса, немцы обрушили огонь тяжёлой артиллерии. Из всего расчёта уцелели лишь трое, пушка сгорела в кустарнике.

Степь, степь... Она ещё окружает нас, но мы уже не ощущаем её своей, скоро здесь затопают чужие сапоги, зазвучит чужая речь. А просторное небо над степью и вовсе враждебное, не наше. Немецкие самолёты хозяева в нём, могут появиться в любую минуту. Земля нас не прячет, небо нам грозит, в солнечном пекле бредут люди.

Степь, степь... Всё, что прежде пряталось в ней, вылезло наружу. Но не видно вытянувшихся походных колонн, куда ни кинь глазом, нет сплочённости, мелкие кучки сторонятся пробитых дорог, рассеяны по спалённым просторам. Повзводно, поотделенно, реденькими цепочками тащится усталая пехота. То там, то сям трясутся подводы, пылят в одиночку машины.

Наши батареи пробираются самостоятельно. Командир дивизиона майор Пугачёв указал маршрут — к точке на берегу Дона, там соединимся воедино. Сам Пугачёв при четвёртой батарее, единственной сохранившей все свои орудия. Звонцов для связи послал к ним вестового Галушко, тот не вернулся... И где-то отбившийся от меня

батя Ефим. И Сашка Глухарев тоже где-то... Не смей скучиваться, дробись, старайся казаться меньше, чем есть, не привлекай к себе внимания. Небо над тобой вражеское, земля под ногами пока ещё не их, но и не твоя. Спешу к Дону, за могучей рекой спасение! Звонцов и Смачкин шагают рядом. Звонцов враскачку, с одышкой несёт свой животик, щёки обвисли, глаза запали, но идёт как все, отказывается сесть на зарядный ящик. Смачкин пропечён до черноты, угловат и резок в движениях, взгляд выбеленный, затаённо яростный, даже поступь выгнутых лёгких ног какая-то ожесточённая, словно пинает полынную землю.

Между ними давно уже тянется спор, Смачкин в нём нападающий:

— Вы старше меня, Звонцов. Да, по возрасту и по званию! Но это ещё не значит — ответственнее. Вы в мирное время занимались делом, работали на экономику, по сути, кормили и себя, и таких, как я. А я, Звонцов, военный, причём династический. Мой дед, штабс-капитан Смачкин, служил царю. Мой отец, сорвав погоны поручика, служил революции, командуя полком. И меня страна облекла в военную форму, учила, предоставляла льготы, ковала оружие. Не паши, Смачкин, не воздвигай заводы, а охраняй спокойствие наших границ. Только для этого ты и существуешь. И кадровый военный, вспоенный и вскормленный лейтенант Смачкин жив, позорно не исполнив того, чего от него ждала страна.

Пыхтя и отдуваясь, Звонцов нёс на опавшем лице выражение снисходительной скуки: ей-ей, капризы мальчика надоедливы.

— В чём же дело, Смачкин? У вас пистолет на поясе и автомат на шее. Воспользуйтесь тем или другим. С красивой декламацией передо мной и солдатами.

— Не считайте меня опереточным олухом, старший лейтенант Звонцов!

— Вы просто ещё не вышли из романтического возраста, Смачкин.

— Победа или смерть, да, были нашей романтикой, но теперь это трагическая необходимость. Велика страна, а отступать некуда. Или вы считаете, что мы должны бежать от немца за Волгу, в Сибирь?!

— Отступление часто приводило к победе, смерть — никогда.

— Ха! Никогда?.. Не существовали на свете Фермопилы, не гибли во имя победы Сусанины?..

— Гибли, чтоб живые совершали победу. Речь у нас идёт о стране — её победа или её смерть! Очнитесь, что за одурелый фанатизм.

— Вы-то на что рассчитываете, Звонцов?

— Как вы знаете, я скучный бухгалтер-экономист по профессии, а потому рассчитываю, что мы добьёмся — в нашем активе окажется больше самолётов, больше танков и пушек, чем у противника. Рассчитываю на техническую силу, а не на число самоотверженных трупов.

И Смачкина прорвало:

— Что это, циничное издевательство или нелепая шутка, старший лейтенант? Бухгалтерский расчёт — больше самолётов, больше танков... Да! Да! Хотелось бы! Но вы знаете, два десятилетия мы пытаемся догнать Германию. Проклятая страна технически далеко впереди нас. Рассчитываете обскакать её за месяцы?.. Даже одного месяца у нас нет — завтра они будут у Дона, через неделю-две выйдут к Волге, а за Волгой Урал... Уже сейчас наши промышленные районы у них, а если приберут Урал — вот вам ваши экономические расчёты! Вы прекраснодушный фантаст, Звонцов! И не один я сейчас дозреваю до жертвенности. Оглянитесь, Звонцов, какие хмурые лица у ваших солдат. Они не додрались, им тоже не по себе.

Огневики, тянувшиеся за двумя пушками, грязные, заросшие, в пятнистых от пота заскорузлых гимнастёрках — выходцы из ада, — смотрели в землю. Ни обычных шуток, ни разговоров, каждый замкнут в себе, каждый думает об одном — за спиной напористый враг, опьянённый удачами, сознающий свою силу. Что для него жалкая кучка измотанных солдат с двумя пушками? К Дону, к Дону! За Доном спасение. А дальше что?.. Нет никого, кто бы не задавал себе этот вопрос. А вопрос громадный, не солдатский, самое высокое командование навряд ли сейчас знает на него ответ. Что будет?..

Звонцов с раскачкой вышагивал, глядел сквозь сутулые спины артиллеристов в степную даль, глаза запали, щёки обвисли, и рот сплюснут в жёсткой складке.

— Фантастика?.. — после тягостного молчания заговорил он. — Не один вы так думаете, Смачкин. Так думают и они: мол, затравленному ли медведю в берлоге заломать охотника — фантастика! Самонадеянное заблуждение. Не медведя обложили, а народ на своей земле. Двухсотмиллионный народ на бескрайней земле, едва ли не самой богатой на планете. Нам есть откуда взять силы, Смачкин. Сказка об Антее отнюдь не фантастика, мы в своё время доказали это Наполеону.

— Вы что думаете, я не верю в силу нашего народа? — возмутился Смачкин. — О том только вам и толкую: если все двести миллионов дозреют до жертвенности, кто устоит перед нами!

— Мы в разное верим, Смачкин. Вы — в «жертвую собой», я — «сохрани себя» для деятельности. Вы рассчитываете на самоотверженную смерть, я — на самоотверженное созидание.

Смачкин передёрнулся и не ответил.

Ездовые пошевеливали усталых коней, над моей головой качается зачехлённый пламегаситель, идут рядом почерневшие люди. А вокруг залитая солнцем, слепящая степь, по ней, куда ни кинь взгляд, всюду кучками солдаты. Отступление... Не первое в эту войну.

Со мной Чуликов. Он несёт карабин, как Смачкин автомат, повесив на шею. Карабин гнёт его тощее тело, галифе сползли мотнёй к коленям, тяжёлые сапоги отстают от ног. Он всё-таки слаб, невынослив, тянет через силу. Но, похоже, сам не замечает уста-

лости — узкое серое лицо сосредоточенно, мохнатые от пыли девичьи ресницы опущены, а ноздри тонкого облупившегося носа вздрагивают, — что-то переживает про себя. Я негромко окликаю его:

— Чулик!

Он вздрагивает, взмахивает ресницами.

— Что?

— Ты слышал Смачкина?

— Слышал. Думаю.

— Считаешь, он прав?

Навесив над карабином жёваную пилотку, он молчит, тянет по полевой траве тяжёлые сапоги. Смачкин для него и бог, и старший брат. Вряд ли он примет сторону старшего лейтенанта Звонцова. Но что-то медлит Чулик с ответом, не роняет решительное «да».

Наконец заговорил:

— Знаешь, когда я уходил в армию, вдруг вспомнил о моём дяде...

Я сержусь, какое мне дело до его дяди.

— Только не крути, Чулик. Отвечай прямо: да или нет?

— Обожди, не сразу... Мой дядя — инженер-строитель. Очень даже крупный. Только... Как бы тебе сказать, в последнее время его от всего отстранили... А теперь вот стал нужен...

— Ну и что? Я же о Смачкине тебя спрашиваю, не о дяде-строителе.

— А то сообрази — специалисты нужны. В разгар войны. Значит, срочно что-то широко строят. Не карамельные же фабрики, наверняка военные заводы, самолёты выпускать, танки...

— Ага! Прав всё-таки Звонцов, не Смачкин!

— Смачкин тоже. Позовёт меня — умру! Пойду, не отстану. Без жертв не обойтись. Надо же время, чтоб технику поднять, выпустить самолётов и танков больше, чем у противника. Ну, а пока придержи его с тем, что есть. И задержать надо у Дона, ни на шаг дальше. Велика страна, а отступить некуда.

— Как по-твоему, долго его держать придётся?

— Не знаю. Может, год, а может, и два даже. Война быстро не кончится.

— Не доживём, — вздохнул я.

— Не доживём, — согласился он. — А хотелось бы...

Ездовые машут кнутами — марш, марш... Горький путь целинной степью, под злым солнцем, под враждебным небом. Кони с потемневшими крупами тянут пушки, теперь их только две, от батареи осталась половина.

Солнце давно уже перевалило за полдень — самое пекло. Но в душном, густо полевом воздухе что-то сдвинулось, просочилась невнятная свежесть, коснулась липкого лица. И солдаты поднимают головы, ловят смутную прохладу, жадно вглядыва-

ются в даль. Степь по-прежнему буро-ржавая, одурающе слепящая, по-прежнему она источает из себя трепетно-жидкие волны воздуха, колеблющие горизонт, однако уже чувствуется живительная близость реки. Могучий Дон где-то тут, прячется в обширном степном теле. Кони зашагали бодрее.

Как лёгкий озноб перед приступом малярии, как ропот листвы перед бурей, возник знакомый до отвращения звук. Каждый ждал его, каждый надеялся: судьба смилуеться, авось не сбудется. Бредущие солдаты очнулись, зашевелились, затравленно стали оглядываться назад, в маревую воздушную толщу. Авось... Нет, не пригрезилось — размеренно качающийся звук моторов из блекло чистого неба. Перед самым Доном, вблизи от спасения!..

Мы тоскливо переглянулись с Чуликовым, его узкое лицо натянулось, отчётливо проступили кости скул. Переглянулись, ничего не сказали, отвернулись друг от друга.

А кони шагали, и ездовые, напряжённо торча на их спинах, махали кнутами — марш, марш! И, обречённо сутулясь, продолжали идти люди. Звук же креп, уплотнялся, не утрачивая своего размеренного качания.

Самолёты двигались боевым порядком — три звена косяком, по три машины в каждом — на умеренной высоте. От нас они были чуть в стороне, и мы, не переставая идти, лишь недружелюбно косились в их сторону. А под ними на земле возникла вялая суета — цепочки солдат рассыпались, залегли, скрывались, но не от тех, кто проглядывал степь с воздуха.

Самолёты презрели земную суету, проследовали дальше, унося с собой колеблющийся хвост звука...

Звук ещё не совсем развеялся, ещё что-то от него призрачно витало в небесах, как в отдалении, приглушённо и вязко, заголосила сирена, подхватила другая. Над кромкой степи мошкариная толчея. И тупой удар, второй, третий, нутряное рычание, снова, снова долбящий удар за ударом...

Из степной выжженной закраины, из недр земли начал нехотя подыматься на дыбы тёмный зверь. Он рос, тучнел на глазах, с лентой расправлялся и наконец застыл в угрожающей неподвижности.

Мы шли прямо на этого тяжёлого дымного зверя. К нему тянулись рассеянные по степи кучки отступающих солдат, к нему мчались, тряслись повозки. Так властно тянет к себе ночной костёр рассеянных мотыльков.

До сих пор все мы стремились к Дону бездумно — скорей бы, скорей, преодолевая усталость! Берег Дона — спасение, у берега широкая вода, можно спрятаться за ней. Никто, похоже, заранее не задумывался, что нам нужен не просто Дон, не его бесконечный берег, а лишь одно-единственное место на нём. Одно на всех — переправа.

Над переправой вздыбился чёрный зверь.

Мы идём прямо на зверя. Он медленно, медленно заваливается на сторону, растекается.

Переправа горит. Идём к ней, иного пути у нас нет, свернуть некуда...

2

Там, где ровная степь круто обрывается к реке, тесно сбилось беспорядочное машинное стадо — грузовики, фургоны, бензовозы, гусеничные трактора с тупорылыми гаубицами на прицепе и пара приземистых танкеток, и затёртый в середине, недоуменно торчащий над всеми вооружёнными башенками пыльно-громоздкий «КВ», и стиснутые подводы. Мы с двумя длинноствольными пушками на конной тяге на самых задах разгорячённого табора.

Над табором качается стена копотного дыма, поднебесно величавая, как Вавилонская башня. Она то закрывает солнце, заставляет его натужно багроветь, то освобождает, возвращая ему раскалённую косматость.

Между машинами, в тесном хаосе пышущего жаром металла, беготня — затянутые в портупей командиры, танкисты в промасленных комбинезонах и тёплых шлемах, солдаты разных возрастов, разного обличья, одни налегке, в растерзанных гимнастёрках, другие захомутаны шинельными скатками, втесался даже бестолковый пэтээровец с длинным, мешающим всем противотанковым ружьём на плече. У всех воспалённо красные физиономии и одинаковое выражение — скорей! скорей! Куда скорей? Это никому не ведомо — куда бы ни было, но скорей! Мечутся, сталкиваются, не задерживаясь, поспешно отскакивают, не замечают друг друга, без крика, без брани, молчком.

Стремительная затравленность сразу же проступила на обгорелом лице страсто-терпца Смачкина, однако сам он в метания пока не ринулся, стоял с автоматом навытяжку, смотрел на суматоху стылыми белыми глазами. Не ринулся, но вот-вот...

Звонцов спокоен, оттянутый пистолетом ремень скашивает на сторону навешенный животик, большие пальцы рук запущены за ремень, короткие ноги в покоробленных кирзовых сапогах широко расставлены, щёки отвисли, глаза запали, однако усталости не показывает, придиричиво, не спеша озирается. За его спиной сгрудились огневики, угрюмо-чёрные, выжидающие.

— Лейтенант Смачкин, — тихим, будничным тенорком, но с приказной интонацией, — срочно разведать наших, кто уже здесь. Сразу же соединиться. А я прогуляюсь. Уточню обстановку.

Смачкин приободрился, кинул руку к пилотке.

— Есть!

— И, пожалуйста, не нахлёстывайте себя. Без галопчика, Смачкин, без галопчика.

— Есть без галопчика, товарищ старший лейтенант! Чуликов, со мной!

Мне немного обидно — Смачкин позвал только Чуликова, меня забыл. Но утешение пришло тут же.

— Расчётам стоять у пушек, не отходить ни на шаг. Ездовых отрядить за водой — самим напиться и напоить коней. А вы, голубчик сержант, будете при мне. Пилотку поправьте, гимнастёрку заправьте и карабин на плече держите с достоинством, чтоб видели — блюдем и помним себя... Вот так-то! Пошли к печке поближе.

Горели на пробитом в гребне берега спуске сцепившиеся автомашины. От них остались лишь чёрные остовы, но снизу продолжали хлестать закрученные языки пламени, даже глинистая земля вокруг полыхала. Должно быть, под кучей малой металлческих скелетов находилась автоцистерна с какой-то маслянистой жидкостью. Оттого-то над плещущими языками пламени, казалось, прямо из воздуха рождался дегтярно-густой, курчаво-обильный дым. Он, бунтуя, вздымался и отравлял подбежный воздух угарной химической вонью.

Пожарище загоразживало путь к реке. Но если б оно даже и не загоразживало, то навряд ли кто из машинного стада на краю степи мог протиснуться вниз. Приречная полоса, стиснутая водой и падающей кручей, была до отказа забита вправо-влево, пока хватал глаз. Кони, трактора, пушки, броневики, повозки, машины, машины и всё захлаблено густым человеческим потоком, нервно пульсирующим, кружащим, муравьино беснующимся, глухо гомонящим. И так уже невпроворот, а сверху по крутому склону сыплется и сыплется вырвавшиеся из степи пехотинцы. Лишь бы добраться до воды, а там будет видно, как дальше.

Река под нами величаво просторна и нежно-голуба до застенчивости. Её лижет ветер, оставляет синие языки. То тут, то там среди возникающей ряби вспухают и опадают кипенные, зеленовато-белые столбы. Немцы обстреливают переправу. А она вот, на виду — волосяно-тонкая нить на раздольной воде, настолько призрачная, что вдали не просматривается, только чувствуется. К ней подвешен паромчик, то ли дремлет, то ли движется, не уловить куда. И до чего же он мал — накрой ладошкой. А тот берег маячит невнятной зеленью, насадно вымечтанный и недоступный.

Нет, всё-таки не дремлет паромчик, медленно — ох, медленно! — ползёт оттуда сюда. Сколько же он черпнёт из этой густо замешенной человеческой каши? Накрой ладошкой — совсем ничего, за год не вычерпает.

— Мда-а... — произносит Звонцов. — Путь к спасению сквозь игольное ушко... Что ж, спустимся в преисподнюю.

По-стариковски покряхтывая, он неуклюже полез по осыпающемуся склону.

Я не успел сделать и нескольких шагов, как кто-то, упавший с неба, налетел, сбил, подмял меня. Мы одновременно вскочили на ноги.

— Ослеп, что ли? — выругался я и сразу осёкся, увидев, что ржаво щетинистое, губастое лицо действительно слепо, вытаращенные с горячими белками глаза ошалело глядят на меня. Не только я, никто для него не существует. Секундная встреча — и он исчез...

— Держись, мальчик, за меня, не то враз ототрут, озабоченно посоветовал Звонцов. — В этом весёлом хороводе друг друга потом не отыщешь.

Сбегавшие мимо нас по круче в одном месте вдруг резко шарахнулись в сторону. Звонцов, медленного спускавшийся впереди, остановился, выдохнул:

— В-вот он-но...

Там, где склон становился положе, ровным рядом лежали солдатские тела, бок о бок, плечо в плечо. Одни с головой накрыты шинелями и плащ-палатками, известково стёртые лица других направлены вверх людской перекатной суতোлки — за реку, к тому далёкому берегу, от которого их теперь уже отделяло не только заполненное текущей водой пространство.

Звонцов кивнул мне — пошли. Мы осторожно стали их обходить. Я старался не вглядываться, но всё равно замечал судорожно сведённые кисти рук, мазутно-тёмные пятна крови на гимнастёрках.

Медлительно, с напором, рыком, резкими гудками пробивались в потоке гуськом три броневика. Они возглавляли теснящуюся пёструю колонну — зенитная установка на грузовике, короткоствольное самоходное орудие с бронированным плоским лбом и дальше машины, машины...

Броневики увязли в плотной толпе, обступившей причал. Толпа бы, может, и раздвинулась перед броневым напором, но дальше длинные зачехлённые стволы пушек. Точно таких, как наши. Но из-за стволов видны были и кабины тракторов, значит, не наши, не на конной тяге.

Теснящаяся колонна остановилась, во всю её длину прокатилась гневная волна гудков, в отдалении захлебнулась — машинам приходится смириться, непреодолимо.

В стороне от причала, почти у самой воды застрял зелёный фургон с выцветшими красными крестами по бокам. На его подножке, возвышаясь над толпой, неистовствует женщина в белом халате, светлые волосы рассыпались по плечам, запрокинутое лицо искажено криком:

— Товарищи! Товарищи! У нас раненые! Расступитесь! Дайте проехать тяжело-раненым!..

Её рвущийся крик мечется над плотно сбившимися пилотками, касками, торчащими стволами винтовок. Толпа у причала не умещается на берегу, часть её влезла в воду по колена, по пояс. И в воде эта толпа столь же оцепенела, столь же колюча от стволов и штыков.

— Люди же вы!.. Я врач! У меня умирающие! По-мо-ги-те проехать!..

Я оглянулся на Звонцова и оскорбился — он не обращал внимания на крики женщины, он интересовался полковником. Этот полковник был внушительно рослым, как и полагается, в твёрдой фуражке с малиновым околышем, с четырьмя шпалами на малиновых петлицах, сверкал начищенными пуговицами и пряжкой широкого комсоставского ремня. У него эдакая ласковая сутулость в пухлой спине, лицо полное,

вальяжно гладкое, с крупным добродушным, слегка вислым носом. Ему, наверное, не приходилось даже повышать голоса, так как всегда был окружён подчинёнными, которые на лету хватали каждое его слово, старались услужить, привык к почтительному вниманию, ни в чём не испытывая нужды, и представить его в окопе или в прифронтовой тесной землянке невозможно. Сейчас он потерянно одинок в гуще чужих, не обращающих на него внимания солдат, несмело топчется, тоскливо озирается, и ласковая сутулость подчёркивает подавленную беспомощность.

Кричала женщина в растерзанном белом халате:

— По-мо-ги-те!..

Звонцов выставил перевешивающийся за ремень животик, шагнул к полковнику, выгоревший, пыльный, с изрытым обожжённым лицом.

— Товарищ полковник...

К нему, похоже, обращались здесь не впервой, он невнимательно усталился поверх мятой пилотки Звонцова.

— Нужна ваша помощь...

Полковник пристально оглядел Звонцова от пилотки до покоробленных, не по уставному расставленных сапог.

— Что вам нужно от меня, старший лейтенант?

— Ваши внушительные петлицы, ваш представительный вид. Ваше высокое звание. Остальное я сделаю сам. Сейчас подойдёт паром и вы будете на нём. Эй, товарищ боец! Сюда!

Пробегавший мимо рослый парень с болтавшимся автоматом на шее вздрогнул и остановился, гримаса бессмысленной стремительности на потном лице сменилась надеждой, чеканя шаг, приблизился, расправил плечи, глаза преданно прыгают со Звонцова на полковника...

А женщина продолжала кричать с подножки санитарного фургона.

Звонцов выдернул из кружащегося потока ещё трёх автоматчиков, вынул из кобуры пистолет.

— Двое справа, двое слева. Автоматы на изготовку! По моей команде стрелять по верх голов. Но только по моей команде, без самостоятельности... Вы, сержант, со мной!.. Товарищ полковник, разрешите, пойду впереди вас...

— Дорогу!.. Дорогу!..

Сметая толкущихся на пути солдат, к санитарному фургону. Женщина, увидя нас, замолчала, растрёпанная, бледная, напряжённо вытянувшись.

Звонцов поставил автоматчиков по бокам радиатора, полковник между ними, я впереди со Звонцовым, сжимал в потных ладонях карабин.

За фургоном, у самой воды, на изрытой гальке между двумя солдатами в расхлыстанных шинелях лежал молодцеватый лейтенант — изумлённо вздёрнутые брови на чистом лбу. В воде застывшая толпа, толпа перед нами.

Звонцов обернулся к автоматчикам.

— Автоматы к бою! Вперёд!.. Дорогу раненым!.. Дорогу раненым!..

Но жмущаяся к причалу плотная толпа не дрогнула, лишь ближние диковато оглядывались, пытались вжаться глубже.

— Ог-гонь!

Грохот автоматов за моей спиной был неожиданно, до потемнения в глазах силён, я едва сдержал желание присесть. Толпа — пилотки, каски, вещмешки, торчащие винтовки со штыками и без штыков — колыхнулась, зашаталась, стала разваливаться, таить перед нами.

— Дор-ро-гу раненым! Дор-ро-гу!! Быст-ра!..

Рычал позади мотор идущего вплотную за нами фургона, молчаливо расступалась толпа.

— Дорогу раненым!

Впрытк к бревенчатым сходням причала привалился гусеничный трактор. Возле него нас встречал плечисто приземистый командир, небритое лицо сумрачно. Он не спеша поднёс ладонь к фуражке.

— Товарищ полковник, прошу извинить, не смогу сдать назад. Разрешите пропустить первое орудие, а уж за ним раненых.

Полковник не без важности кивнул малиновым околышем — разрешаю.

Растрёпанная женщина в халате, всё ещё стоявшая на подножке, снова заволновалась:

— Полковник, вы благороднейший человек! Буду вас помнить, пока жива... Всем вам, всем спасибо!.. У нас восемнадцать раненых...

Звонцов вложил пистолет в кобуру, козырнул полковнику.

— Честь имею.

— Куда же вы? — удивился полковник.

— К пушкам. Не могу же я их бросить... Пошли, сержант, пока не причалил паром. Хлынут — не выберемся.

А паром уже был близко, нагонял на берег, на стоящих в воде солдат волну, и толстый канат над нашими головами натужно вздрагивал.

Полковник тяжело качнулся на Звонцова.

— Чёрт возьми, лейтенант! За кого вы меня принимаете?

— Старший лейтенант...

— Ладно, ладно! Зовите меня Виктором Павловичем.

— Звонцов Василий Семёнович, к вашим услугам.

— Идёмте, Василий Семёнович. Выбираться из мышеловки будем вместе с вашими пушками.

— Товарищ старший лейтенант, а мы?.. — подал голос один из автоматчиков.

— Доставьте раненых на тот берег.

— Есть доставить. На руках вынесем!

А позади на подножке фургона стояла женщина в белом халате, смотрела нам вслед.

3

Поднявшись до половины крутого склона, мы остановились, повернулись к причаливающему парому. Сверху было видно, как обслуживающий паром солдат пригтовился бросить чалку.

Толпа перед причалом разрослась, густо выплеснулась с берега в воду. В воде нервное шевеление, а на суше люди спаялись в одно настороженное тело, даже, казалось, колебались в едином дыхании, напряжённом, затаённом в своём ожидании. И внутри этого тела, вдоль сбитой колонны пушек, тракторов, машин — неустойчивое оцепление, лицом к лицу вплотную перед грозно замершей толпой.

Запыхавшийся Звонцов стянул с головы пилотку, вытирал скомканным платком поцарапанную лысину, глядел вниз, болезненно морщился. Рядом устало сутулился полковник, поводил из стороны в сторону крупным вислым носом, грустно помаргивал.

Паром вздрогнул, ударившись о причал, под его бортом в воде началась кипучая давка. Толпа же на берегу качнулась, без усилий смяла оцепление. Машины угрожающе зарычали, голубой газ поплыл над месивом касок, пилоток, скаток, винтовок. Передний трактор тронулся, таща за собой пушку, завалился на заметно осевший паром. Зелёный фургон с ранеными втиснулся за ним на сходни, и только тогда тронулась сжатая толпой колонна с моторным рыком среди солдатской кипени, раздвигая её, увлекая её. Ни выкриков, ни нагсадной ругани, только немой штурм с берега и воды.

— Всё в порядке, можем идти, — объявил Звонцом, натягивая на лысину пилотку.

Полковник ответил ему покорным вздохом.

У гребня обрыва, на съезде, два трактора растягивали обгоревшие остовы машин. Прокопчённые солдаты суетливо возились в чёрном дыму. Их командир, ломко-долговязый, деловито топтал чадающую землю обутыми в широкие кирзачи ногами-ходулями и дирижировал. Взмах руки — кто-то подхватывал конец троса, нырял с ним в стелющийся дым, новый взмах — рискованно накренившийся на склоне трактор натягивал трос, а командир, работая сапогами, уже спешил к тем, кто в клубах сажи орудовал лопатами...

Я заметил, как переглянулись Звонцов с полковником, удовлетворение скользнуло по их лицам, вызвало и у меня лёгкую отраду — оказывается, есть и такие, кто занят делом, не самоспасением.

Однако осознать эту отрадность я не успел. Наверху, за близким от нас гребнем взмыли крики — паническое разногосье, раздались выстрелы, взревели моторы. Над нами, по самой закраине, пронёсся грузовик в клубах пыли, вихляя кузовом, рискуя сорваться вниз. И сверху посыпались растерзанные солдаты, стреляя вверх из автоматов, падали, катились мимо нас по круче, вопили:

— Нем-цы!.. Нем-цы!..

На дымящемся куске дороги долговязый командир махал руками, что-то надрывно кричал.

Дремавшие машины ожили, зарычали, разногласо засигналили, полезли друг на друга.

— К пушкам! — Звонцов, падая на четвереньки, полез вверх.

Я за ним, осыпая землю, цепляясь руками, работая коленями. За своей спиной слышал тяжёлое посапывание полковника. Никаких немцев не было. Из степи вышел взвод разведчиков в буро-жёлтых пятнистых маскахалатах. Поди знай, кто принял их за противника...

В батарее не хватало нескольких ездовых, но пушки и расчёты не только были целы, Смачкин привёл к нам вторую и третью батареи. Не было четвёртой, с ней шёл штаб дивизиона с майором Пугачёвым.

Внизу у причала ещё металась суматошные крики: «Немцы!» По реке плыл перегруженный паром — к заветному берегу. Здесь же, в опустевшем, переворошённом таборе, там и тут торчали подавленные кучки, молчали, вслушивались в шум внизу, чего-то ждали.

Появление солидного полковника в фуражке с ярким малиновым околышем в сопровождении пожилого старшего лейтенанта решительного вида вызвало лёгкое оживление: не несут ли они что-либо спасительное? Одна кучка за другой потянулись к нашим пушкам.

Смачкин едва успел доложить Звонцову, что четвёртой батарее вместе с Пугачёвым на переправе нет, «вдоль и поперёк всё излазали», командиры прибывших батарей только подступили, пытливо косясь на полковника, как образовался тесный круг — лейтенанты, старшины, солдаты, всех занимает полковник, у всех несмелая надежда на лицах.

С полковником на моих глазах происходило странное — под взглядами собравшихся ласковая сутулость спины исчезла, мягкое лицо окрепло, на нём проступила властность, взгляд неломкий, явно смущающий людей.

— Товарищ старший лейтенант! — громко обратился он к Звонцову. — Не кажется ли вам, что самое время побеседовать по душам?

Звонцов с ходу уловил преображение полковника, сразу же подтянулся, построжавшим голосом согласился:

— Самое время!.. Поближе, товарищи, поближе, не стесняйтесь... Прошу вас, товарищ полковник.

Переглядки, шорох, лёгкая толкучка — круг сдвинулся. Выставив пухлую грудь, запустив под ремень большие пальцы рук, полковник с прищуром приглядывался, выжидал полного спокойствия.

— Перепугались? — негромко, с издёвочкой.

Выжидающее молчание в ответ.

— Ещё как! При ясном солнышке мерещиться стало... Слышите?.. — кивок твёрдой фуражки в сторону реки. — А впереди ночь. Ночью у страха глаза велики. Спасти нас может только порядок!.. Как избавиться от страха?..

— Занять оборону, — подсказал стоящий сбоку Звонцов.

— Верно! — отозвался чей-то голос.

Полковник грудью развернулся к Звонцову.

— Товарищ старший лейтенант! На вас возлагается организация обороны.

— Слушаюсь! — взлетевшая к пилотке ладонь.

Я испытал невольную досаду, так быстро и так легко Звонцов признал старшинство полковника. А тот напористо продолжал:

— Прошу исполнять каждое приказание командира обороны. Я сейчас постараюсь привести сюда начальника переправы. Если он сам не в состоянии установить порядок, то пусть выполняет то, что мы от него потребуем!

И вокруг растревоженно загудели:

— Правильно! Возьмём за воротник.

— Сами хозяева!

— Товарищ полковник, возьмите с собой человек двадцать с оружием, начальник переправы может и не подчиниться...

— Справлюсь с ним один, без оружия... Старший лейтенант, действуйте, я пошёл...

— Командиры батарей, к пушкам! Средний и старшинский комсостав, ко мне!..

Через десять минут зарычали тягачи гаубиц, кони потянули в степь наши пушки. Среди машин беготня, руготня, команды:

— Отряд бензоколонны, строиться!

— Где интендантская команда, черт их возьми!

— Лопаты взять! Лопаты! Прикладами, что ль, окапываться будете?..

Смачкин со Звонцовым намечали линию обороны, расставляли в степи батареи, о нас с Чуликовым забыли. Мы сидели на истоптанном, с кучками конского навоза месте отбивших пушек, млели на солнце, не смели уйти в сторону, забиться в тень под машину — вдруг да понадобится.

— А полковник-то мужик серьёзный. Где вы такого отца-командира нашли?

Чулик обгорел, что головешка, только нос лакированно красный, устало взмахивает ресницами, кисленько печалится.

— Бог послал, — ответил я, не вдаваясь в подробности.

— Бог?.. Гм... Бог, похоже, прибрал нашего Пугачёва вместе с четвёртой батареей.

— Вдруг да всё-таки они успели переправиться?

Чуликов скривился.

— Пугачёв бросил свой дивизион, три батареи? Не похоже!

— Угодил под бомбёжку?

— В степи вроде никого не бомбили. Мы бы слышали. Только переправу.

— А что, если они подкатили как раз под налёт?

— Но не изошли же они дымом без остатка. Хотя бы пушки покалеченные остались. Ничего похожего мы здесь не видели.

Замолчали над загадкой.

— Среди подошедших батарей ты батю Ефима не видел?

— Не видел, — покачал головой Чуликов.

Запечалился и я.

С ветерком обрушился на нас Смачкин:

— Чуликов! Со мной вниз, набирать резервы!.. Тенков! Сторожи полковника, как появится, бегом к Звонцову. Ждут его не дождутся.

4

Полковник появился не скоро. Смачкин с Чуликовым успели обернуться, привели с собою человек тридцать, вооружённых автоматами и ручными пулемётами. Пополнение, не задерживаясь, прошло в степь занимать оборону.

В узкой тени трёхосного грузовика кто на раскинутой плащ-палатке, кто прямо на земле, прижимаясь к пыльным скатам, — пёстрый командный состав во главе со Звонцовым. Появился даже какой-то незнакомый мне майор, должно быть интендант. Мы с Чуликовым на солнцепёке в сторонке.

Полковник привёл с собой того самого долговязого, который перед началом паники командовал на пожарище.

— Знакомьтесь, товарищи, комендант переправы капитан Климов.

Комендант походил на выбракованную артиллерийскую лошадь — костляво громоздок и понур. Он нескладно сел на корточки, выставив в стороны острые колени, уронил руки, уронил голову в бурой от копоти фуражке и, казалось, задремал. Его угловатое, под цвет вылинявшей гимнастёрки лицо было безучастным.

Отчитывался Звонцов, с напорцем говорил и настороженно косился на безучастного капитана:

— ...Выставили на позиции четыре гаубицы и семь орудий «семидесятишести». Выдвинули в степь пикеты, всех появляющихся пехотинцев задерживаем, направляем

в оборонительную цепь. Сделали первую вылазку вниз, набрали около взвода боеспособных людей, добыли шесть пулемётов. Резервы, можно сказать, практически неисчерпаемые. С земли переправу обезопасим, а вот с воздуха...

Полковник кивал фуражкой, глядел в сторону, старательно не замечал невнимательности коменданта переправы. Но, как только Звонцов замолчал, он шумно заворочался, требовательно спросил:

- Капитан Климов, вы всё слышали?
- Слышал, — равнодушно отозвался тот.
- И чем порадуете?

Капитан с усилием распрямылся, обвёл всех тёмными глазницами.

— Не пойму, зачем я вам нужен. У меня горсточка сапёров. Был для поддержания порядка придан заградотряд, но... испарился — первыми же поскакали на паром. Я бессилен, а у вас, похоже, собирается какая-то сила. Ну так не медлите, пользуйтесь ею. Здесь сплочённые берут верх — оттесняют лезущих, ставят оцепление, дожидаются парома и... Могу только пожелать вам счастливого пути.

— А не можете ли вы, ответственный за переправу, воспользоваться нашей силой? Предлагаем, берите! — вкрадчиво произнёс полковник.

Костистые плечи капитана вяло пошевелились, изобразили пожатие.

— От вашей силы паром вместительней не станет и быстрее оборачиваться — тоже. Из него и так выжимается сверхвозможное — что ни рейс, то рискованная перегрузка. Сами видели...

— Ну, а если мы поможем сделать то, чего не сделал заградотряд, установить порядок?..

- Что изменится? Только то, что какие-то части переправятся быстрее других.
- Уже кое-что.
- Мало, полковник. Хотелось бы переправить всех.
- Как это сделать?
- Подарите мне лесу.
- Лесу?

— Да, кубометров тридцать — сорок брёвен и ещё досок на настил. У меня перекинута через Дон вторая нитка, дайте лес, и за одну ночь, даже быстрее, сколочу второй паром. Это была бы ощутительная помощь.

В разговор ворвался Звонцов.

— В полутора километрах отсюда хутор. Всего в полутора километрах!.. Почему вы не организовали туда колонну машин с теми, кто сейчас отирается у причала, не разобрали дома?..

Капитан тускло повёл глазницами, презрительно скривился.

— Дома здесь, надеюсь, заметили, построены из самана — глины с навозом и соломой. Даже на матицы кладут сляги. Развалив весь хутор, нам удалось бы набрать несколько возов жердей, да и то гнилых.

Наступило недружелюбное молчание. Полковник горбился, глядел в землю. Звонцов хмурился и тоже прятал глаза. Выгоревше-серый капитан в закопчённой фуражке торчал на солнцепёке, словно каменный степной истукан.

— Зачем лес? Есть хороший материал! Это рядом со мной, — прокричал Чуликов.

Капитан повёл в нашу сторону запавшим виском, а за спиной Звонцова всколыхнулся Смачкин.

Чуликов вскочил на ноги — выбившаяся из-под ремня гимнастёрка, сползшие с тощего зада мешковатые штаны.

— Раз, два, три... — задрал острый подбородок, считал он. — Отсюда вижу девять автоцистерн. А сколько их под берегом?.. Снять с них цистерны — и в воду! Скрепи попрочней, будет паром. Пушки понесёт, даже танки...

Тревожно гудело человеческое скопище под обрывом, все ели глазами капитана. Тот снял фуражку, начал вертеть её в руках, наконец с сомнением обронил:

- Танк, паренёк, весит сорок тонн, а то и поболее.
- Танки не подымет, пушки повезёт. Всё помощь.

И снова молчание с тревожным подбережным гулом.

— А чем крепить? Тоже ведь лес нужен, — трезвый голос из командирской кучки, кажется, майора-интенданта.

Капитан вертел в руках фуражку.

— Мда... Положим, лес для крепежа я наскребу. А вот доски для настила... Прямо на цистерны пушки не выкатаешь, продавятся.

— С грузовиков борта снимаем. Хватит! Хоть два ряда стели.

Руки капитана сосредоточенно мяли фуражку, на него смотрели, затаив дыхание. Он решительно натянул фуражку, поднялся.

— Товарищ полковник, пошлите людей вниз — все автоцистерны, все порожние грузовики гнать к тому месту, где вы меня поймали. — Резко повернулся к Чуликову: — Коль уж ты, паренёк, такой башковитый, пойдём, пораскинем мозгами: что, как, сколько?.. Эх, успеть бы!..

Ответил Звонцов:

— Считаю, уже вечер. Ночью немец не сунется. Ночь наша.

5

Ночь была совсем не похожа на тягостный, унижительный день. Чуть скраденная сбоку луна освещала обрывистый берег в оползнях, в тяжёлых наплывах, резко склад-

чатый, хмуρο морщинистый. Под ним, величавым, в жидком растворе лунного света и зябкого тумана тёмная копошащаяся масса — машины, подводы, неутомимо снующие люди. У беспокойной переправы изменился даже голос. Сейчас напористое гудение едва ль не на одной ноте, упрямо пробиваются в тесноте машины, текут слившиеся голоса, утробное шевеление — растревоженный улей, в нём можно уловить и гневные интонации.

Спустившийся вниз полковник с помощью всего трёх-четырёх помощников по-выдёргивал из толпы, сгрудившейся у причала, рослых парней — «Вы, вы, вы, ко мне! Товарищ боец, к вам обращаются!..» — собрал отряд, навёл оцепление, стал хозяином переправы. Артиллерийские батареи, бронетранспортёры, грузовики, фургоны уже не лезли напролом, командиры соединений толпились возле полковника, добивались места в очереди. И только солдатня по-прежнему атаковала с воды причаливающий паром, прорывала оцепление. Но молчком, упрямым натиском. Ожесточённых битв, какие случались днём, уже не возникало.

Накал у причала поостыл ещё и потому, что теперь каждый (до последнего, затерянного в толпе солдата) знал — в степи на подходе к переправе стоит оборонительное заграждение с наведёнными пушками, противник внезапно не нагрянет. Там распоряжался Звонцов.

У Смачкина отобрали Чуликова, и он уже не отпускал меня от себя. По примеру полковника мы из числа мечущихся тоже сколотили отряд автоматчиков. В нашу задачу входило раздвигать по сторонам брошенные повозки, теснить машины — через растянувшуюся переправу вдоль реки прокладывалась трасса, по которой двигались автоцистерны и порожние грузовики в распоряжение капитана Климова.

Нам повезло — освобождая затор, случайно наткнулись на два высоких фургона-близнеца, они оказались дивизионной ремонтной мастерской во главе с младшим лейтенантом-воентехником, с десятком слесарей-механиков, с сохранным оборудованием и, что важно, со сварочной установкой. Их тоже направили к капитану Климову.

Весть о строительстве нового парома разнеслась по переправе ещё до наступления ночи. Измаявшиеся в бездельной толкотне солдаты хлынули к строительству, каждый желал предложить свою помощь, заработать себе место на первый рейс. Наплыв добровольцев оказался столь велик, что Климову пришлось выставить ограждение, иначе работа бы захлебнулась.

Едва появлялась очередная автоцистерна, как к ней кидались десятки людей. Лязгал металл, ухали кувалды, раздавались торжествующие крики: «Р-р-раз-два! В-взяли!» Рвали на клочья ночь судорожные, слепяще-голубые огни сварки. По обрыву прыгали, кривлялись гигантские тени, возносились в чёрное небо, раскатывались по чёрной глади натужные голоса: «Ры-аз-два!.. П-шла! П-шла! Ще р-раз!» И всплески стаскиваемых в реку сваренных секций, и вразной говорок топоров, и вырванные

из ночи дерзкими вспышками белые фигуры людей в дегтярной воде, и бледная недоуменная луна свыше, и слитная толпа оттеснённых зрителей, забывших об опасности. Лихорадочный труд, заражающий надеждой.

Фантастическая ночь. Каждый раз, попадая к строительству, я пьянел и каждый раз изумлённо, вспоминал: буйная ночь рождена рядом со мной выкриком Чуликова. Где он сейчас?.. Где-то тут, мне недоступный, внутри звенящей, гремящей, слепящей вспышками, многолюдной фантазмагории... Должно быть, и Смачкин изумлялся вместе со мной, но скрытно, не показывая того. ...После полуночи Смачкин отпустил автоматчиков — капитан Климов получил всё, что могла дать переправа, в нашей помощи больше не нуждался.

— Посидим в затишке, поостынем...

Только сейчас мы почувствовали, что ночь знобяще прохладна. Слева подмывающий шум строительства, справа гомон у причала — подошёл в очередной раз паром. И заворожённая речная гладь прямо перед нами, таинственно бескрайняя, скрыт мраком другой берег. Тихий Дон...

На границе света и мрака вырос, помаячил, осел зелёный столб, прокатился и канул взрыв. Шальной снаряд не нарушил покоя могучей реки. Тихий Дон... Плывёт из вечности в вечность. Днём он готов был принять и нас в свои объятия, днём Звонцов произнёс безнадежные слова: «Путь к спасению сквозь игольное ушко...» Слышу победоносное громохание кувалд — и сквозь игольное ушко сможем! Не обессудь, Тихий Дон...

Но рядом Смачкин. В столь редкую отдохновенную минуту от него тянет, как от малярийного больного.

— Неласково встретит нас тот берег, — роняет он.

— Почему?

— Побитых хлебом-солью не встречают.

— Побитые, да недобитые, — возражаю я. — Сквозь игольное ушко от немцев уходим.

— То-то, сквозь игольное... До крови ободранные.

— А всё-таки целы, лейтенант.

— Це-лы?.. А где Пугачёв? Где четвёртая батарея? Что мы без них?

— Что-то там случилось, мы же с вами не виноваты в том.

— Не виноват только победитель, дружок.

— Всё равно за несчастье Пугачёва с нас не спросят.

— Спросят. И будут правы.

— Н-не пойму.

— Растолкую на пальцах. Сколько пушек мы доставим на тот берег? Две с нашей батареи, две с третьей, три со второй — семь орудий, больше половины потеряли. Вот если б сохранилась четвёртая батарея с её четырьмя орудиями одиннадцать! Это всё

же дивизион. И нет командира, нет штаба. Нас расформируют, мальчик. Считай, как отдельная боевая часть мы уже перестали существовать!

— Но мы живы, живы! Значит, будем драться!

Смачкин горько хмыкнул.

— До каких пор нам обещать себе — будем?.. И сколько можно мириться, что ещё одна боеспособная часть перестала существовать?

— Так что же делать, товарищ лейтенант?

Он задумался и не сразу ответил:

— Да-а... Да-а... Что? Могу ответить только одно: наша земля горит, должны гореть и мы. Гореть, парень, а не тлеть!

От этого ответа мне как-то ясней не стало.

— А! Толочь воду в ступе... Пошли.

Смачкин торопливо поднялся.

Я лез за ним, спешащим вверх по обрыву, и пытался заставить страдать себя за несчастье Пугачёва. Хотелось вспылать душой, и как можно горячее, но майор Пугачёв был для меня всегда столь недоступно высок и могуществен, что мог вызвать лишь почтительность, а никак не сострадание и упрёки. Вместо Пугачёва ко мне вломился Ефим. Со щемящей отчётливостью я представил себе — никогда не увижу его насупленных бровей, не услышу его глуховатый голос. Припомнилось, как он схватил меня за ногу, когда вслед за Сашкой Глухаревым я собирался проскочить под снайпером. Словно клещи наложил: «Повремени, сынок...»

А внизу под берегом вперепляс весело перестукивались плотницкие топоры, крепили воедино сваренные секции. Весёлый перестук обещал жизнь.

1984 г.



В.Ф. Тендряков в первые послевоенные годы

ЛЮДИ ИЛИ НЕЛЮДИ



Рассказ

1

Я дважды в жизни пережил редкостно прекрасное чувство любви. Нет, не к женщине, не к отдельному человеку, а к людям вообще. Просто к людям за то, что они добры к друг другу, душевно красивы.

В первый раз это случилось на подступах к Сталинграду поздним сумрачным январским вечером 1943 года.

Я возвращался из дивизионных мастерских, в противогазной сумке нёс заряженный аккумулятор для своей радиостанции. И не то чтобы я заблудился... Просто, пока я торчал в тылу, шло наступление, стрелковые роты, штабы, миномётные и артиллерийские батареи двигались вперёд. Целый день всё менялось и перемешивалось, сейчас остановилось на ночь. Солдаты долбили мёрзлую землю, как могли укрывались от шальных пуль, от мин, от холода, кому повезло, попрятались в оставшихся после немца землянках. И сумей-ка теперь разыскать своих.

Я шатался по степи, натываясь на чужие подразделения.

— Случаем, не знаете, где штаб Сорок четвёртого?..

От меня отмахивались:

— Тут нет. Топай, друг, не маячь.

И я снова выходил в степь, заснеженную, взорванную воронками. Ночь устало переругивалась выстрелами. Там, где невнятная степь смыкалась с чёрным низким небом, тускло сочилились отсветы далёких пожаров — сальные пятна сукровицы израненной планеты. Не видишь, но кожей чувствуешь, что земля под серым снегом начинена железом, рваным, зубренным, уже не горячим, остывшим, потерявшим свою злую силу. Это невзошедшие семена смерти. Чуть ли не на каждом шагу торчит или вывернутый локоть, или каменное плечо, обтянутое шинельным сукном, или гладкая, ледяно-прокалённая каска, скрывающая глазницы, запорошенные снегом.

Я привык к трупам, они давно для меня часть быта, ненужная, как для лесоруба старые пни. А когда-то содрогался при виде их...

И вот на этом бескрайнем поле, покинутом всеми, я увидел ещё одно бесприютное живое существо. На сукровичное пятно далёкого пожара из темноты выковыляла лошадь, на трёх ногах, нелепо кланаясь при каждом скоке. Выковыляла и стала понуро — любуйся всласть: голова уронена, натруженная холка выпирает горбом, обвислый зад, страдающе поджата перебитая нога. Ранена и брошена, всю жизнь работала, нажила горб, теперь — не нужна, лень даже пристрелить, зачем, когда и так подохнет от голода, холода, кровоточащей раны.

Я привык к человеческим трупам, но выгнанная на смерть и продолжающая жить с понурым упрямством лошадь обожгла меня жалостью. А нет ничего опаснее жалости на войне.

Некто окаменевший в снегу с вывернутым локтем. Вывернутый локоть значит, пытался встать, стонал, ждал помощи и... как не пожалеть его. Нет, не смей!

За жалостью сразу придёт мысль: ты сам не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра — ты с вывернутым локтем, с застывшим оскалом, с невыдавленным стоном. И уж тут-то день за днём пойдут в кошмаре ожидания. Ты заранее почувствуешь себя погибшим, на тебя найдёт сонная одурь, будешь вяло двигаться, не кланяться под пулями, не припадать к земле при звуке летящего снаряда, неохотно долбить окоп — зачем, всё одно конец. И такой очумелый долго не протянет — не свалит осколок, доконает мороз.

Не смей жалеть и не смей лишка думать — война! Огрубей и очерствей, стань деревом!

Я не заметил, как одеревенел. Вот привык к трупам — старые пни в лесу...

Трупы привычно, а выгнанная на смерть рабочая лошадь, знать не знающая о великом сумасшествии, неведающая, непричастная, слепо доверчивая, живая военная бессмыслица, нет, не привычно. К тому же я очень устал, а потому не выдержал, отравился опасной жалостью.

Отравленная мысль, как всегда, метнулась к спасительному: «Вот кончится война!..» И споткнулась... «Да, кончится. Может, ты и выживешь... Ты, привыкший к трупам — старые пни в лесу! Выживет, может, и тот, кто выгнал лошадь... Выживете, но как будете жить? Разучились жалеть, страдать, равнодушны до древесности! Как жить вам потом — порченным среди порченных? Неужели ты думаешь, такая страшная война выветрится из тебя, из других? Выветрится без следа?.. Да оглянись кругом, разве такое не может навсегда войти в душу. Может! Войдёт!»

В тусклом отсвете потустороннего пожара горбатилась рабочая коняга — среди оконечности комок стынущей плоти, лишняя вещь на земле. И я себя в ту минуту тоже почувствовал лишним — кому буду нужен такой, отупевший от войны! Будущее казалось столь холодным, столь неудобным, что даже надежда «А вдруг да выживу!» — никак не радовала, а пугала. Я едва ли не завидовал тем, кто уже лежит в снегу, накрывшись прокалённой морозом каской.

Но мёрзлы ноги в сапогах и в рукава шинели пробирался колючий ветер — я жил и надо было исполнять солдатские обязанности, искать штаб своего полка. Я двинулся дальше среди воронок и трупов — к людям! Оставив в одиночестве лошадь — не нужна миру, мне тоже...

Через сотню метров я наткнулся на землянку.

Густой воздух, жирно пахнущий парафином от горящих немецких плошек и тем прекрасным, оглушающим с мороза, едким до слёз запахом солдатских портянок, овчины, пота, мокрых валенок, который — хошь, не хошь, — а с такой покоряющей силой доказывает неистребимость жизни, что заставляет забывать о войне. И этот густой — топор вешай — воздух колеблется от мощного, переливчатого, с изнеможёнными стопами,

с восторженными захлёбами храпа. Так упоённо спать могут лишь солдаты, которым не каждую-то неделю удаётся растянуться в тепле во весь рост. А здесь даже многие скинули с ног валенки, недаром же среди всех прочих запахов победно господствует портяночный. И, колеблемые храпом, шевелятся огоньки плошек, и сквозь накат, через толщу земли смутно-смутно доносятся вой и похлёсты позёмки, гуляющей по снежной степи. Нет, что ни говори, а райский угол, обиталище счастливец.

Счастливицы лежали вповалку на полу, тесно друг к другу — ладонь не просунешь. От стены к стене, под нарами, на нарах, всюду — буйное пиршество сна.

Один счастливцев не спал, голый по пояс (во как тепло!), освободив дородные и уже немолодые тела, самозабвенно, с явным наслаждением бил вшей в нательной рубахе, и отсветы качающихся огоньков от плошек хороводились на его лысеющем, без малого ленинском, лбу.

— Эй, ты! Дверь! — крикнул он, отрываясь от рубахи, но тут же подобрел голосом: — Радист! Ты как сюда?..

Я узнал его — дядя Паша из комендантского взвода, постоянно торчал на часах у землянки штаба полка, недавно его вместе с помощниками поваров, химвзводниками, хозяйственниками направили в стрелковую роту. В ротах повыбило людей.

Значит, я всё-таки добрался до своих.

— Проскочил ты штаб полка, парень, обратно придётся топтать. Да это недалече, километра три. Рядом батальонные связисты, от них по кабелю — не собьёшься. Покуда лезь сюда, погрейся. — Дядя Паша потеснился.

Наступая на спящих, которые со вздохами шевелились, невнятно мычали и внятно посылали меня по матушке, но не просыпались, я пробрался к нарам и тут же споткнулся о чьи-то ноги. На этот раз спящий беспокойно завозился под нарами и выполз на свет плошек. Передо мной предстал... немец. Щекастенький, сонно розовый, в просторном, сумеречного сукна мундире с бляшками-пуговицами, он жмурился и застенчиво улыбался, словно хотел сказать: «Извините, пожалуйста, что я вас так удивил».

— Что это? — не выдержал я.

Круглая мясистая физиономи дяди Паши раздвинулась в ухмылке:

— Вот обзавелись... Третьёводни, смех и грех, среди ночи с кухней на нашу позицию въехал. Заблудился в степи и — наше вам, здравствуйте. Кашу его съели, самого хотели в штаб, да там нынче не очень-то нуждаются в таких «языках». Вот и прижился... Рад поди, Вилли, что отвоевался?..

Вилли жмурился и улыбался, у него были длинные белесые ресницы, детское простодушие на щекастом лице — лет восемнадцати и того, пожалуй, нет. Мне в тот год едва перевалило за девятнадцать, и я без ошибки, чутьём угадывал — кто моложе меня.

По землянке прошла волна холодного воздуха.

— Эй, Вилли! Якушин пришёл, встречай, — объявил дядя Паша, натягивая на себя рубаху.

Приземистый солдат — из-под вязаного заиндевело подшлемника лишь воспалённые глаза — переминался у входа, примеряясь, как бы не потоптать спящих. Наконец он, втискивая заснеженные валенки между телами, подошёл к нам, стянул с головы морозную каску, оказался в ушанке, снял ушанку, остался в подшлемнике, содрал наконец и подшлемник, открыл давно не бритое, чугунное от стужи и усталости мужицкое, обильно губастое лицо.

А Вилли тем временем успел нырнуть под нары, вытащил оттуда объёмистый узел, стал суетливо его разворачивать — ватник, плащ-палатка, вафельное, почти что чистое полотенце — и, счастливо рдея, протянул скинувшему полушубок Якушину котелок.

Якушин довольно хмыкнул, потёр узловатые красные руки, непослушными пальцами выудил из валенка ложку.

— Ишь ты, заботушка — тёплое... — Потеснив меня, он сел на край нар, сурово приказал Вилли: — Садись!

Вилли, взмахивая невинными ресницами, улыбался.

— Кому говорят?.. Навернём сейчас на пару.

Дядя Паша подтолкнул Вилли в спину.

— Шнель! Шнель! Коли просит, чего уж...

И Вилли смущённо пристроился к котелку.

Немецкий парнишка и русский мужик — голова к голове. Я сидел за спиной Якушина, видел его крутой затылок на просторных плечах, усердно двигающиеся уши Вилли, вежливо работающего ложкой, дядю Пашу, следящего из-под лоснящегося лба увлажнённым добрым взглядом.

Стесняясь своего доброго взгляда, дядя Паша, блуждая извиняющейся улыбочкой, объяснял мне через две склонённые головы:

— Хороший парень Вилли, душевный... Хошь и немец, а человек. Да-а... Это же Якушин его с кухни стащил, а теперь, вишь вон, душа в душу живут.

А я не нуждался в объяснениях, тем более извинительных. Во мне бурно таяла тяжёлая вселенская тоска, которую я принёс сюда со взрытой снарядами, заваленной окоченевшими трупами степи. Да, трупы, да, пожарища, да, где-то замерзает лошадь, нажившая на работе горб и выгнанная без жалости. Война! Страшило: она кончится, а жестокость останется. И вот — голова к голове над одним котелком...

Немец начал эту войну, трупы в степи — его вина, велика к нему ненависть, даже у поэта в стихах: «Убей его!» А солдат Якушин, убивавший немцев, делит сейчас свою кашу с немецким паренком.

Война пройдёт, а деревянность и жестокость останутся?.. Как я был глуп! Война в разгаре, рядом линия фронта, с той и другой стороны нацелены пулемёты, а уже двое врагов забыли вражду, где она, деревянность, где жестокость?

Голова к голове, ложка за ложкой и — хлеб пополам.

Кончится война, и доброта Якушина, доброта Вилли — их сотни миллионов, большинство на земле! — как половодье, затопит мир!

Навряд ли я тогда думал точно такими словами. В девятнадцать лет больше чувствую, чем размышляю. Я просто задышался от нахлынувшей любви. Любви к Якушину, к Вилли, к дяде Паше, к храпящим солдатам, ко всему роду людскому, который столь отходчив от зла и неизменчив к добру. Слезы душили горло. Слезы счастья, слёзы гордости за всё человечество!

Я вырос атеистом, не читал тогда Евангелия от Матфея, не знал слов из Нагорной проповеди: «Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас... ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари?»

Но кажется, в ту минуту я сам собой до них дозрел, с наивной страстью просто-душно верил в невозможное.

2

Второй раз нечто подобное случилось четырнадцать лет спустя в Пекине.

Я был в составе так называемой культурной делегации Общества советско-китайской дружбы. Мы летали по всему Китаю, и всюду нас встречали пышно, бурно, празднично — толпы, цветы, восторженные лица, страстно тянущиеся руки, церемонно длинные обеды с бесконечной чередой блюд, экзотических до несъедобности. Вкушали змей с хризантемами, пробовали ласточкины гнёзда, пили рисовую водку — вкус самогона — за вечную дружбу, братство, за общий путь до конца, и гостеприимные хозяева кричали нам: «Гамбей!»

По европейскому календарю наступал Новый, 1957 год. Китайцы свой Новый год празднуют весной. Но почему-то в наш праздник нас не предоставили самим себе — мол, отдохните от встреч, выпейте, закусите, поздравьте друг друга — наоборот, решили усиленно показывать нас молодёжи.

Ритуальные беседы за чаем, трибуны, речь о великой дружбе двух великих народов. Попадаем в недавно организованный Пекинский институт кинематографии. Должно быть, в этот институт принимают не по таланту, а по стати. Нас встречают не по-китайски рослые, разбитые и жизнерадостные парни, одетые, как один, в безупречные европейские вечерние костюмы. И девушки в костюмах национальных — яркие шелка, золотое шитьё. Столько красавиц, собранных вместе, я не видел в своей жизни — и до, и после, увы! Были и величавые, до оторопи, до зябкости — мраморные в горделивой посадке тонкие лица, на вскинутых, утончённо чеканных бровях покоится непомерная спесь Востока, чужеватый разрез глаз прекрасен, как непостижимое мастерство древнего азиатского ремесленника, и нет плоти, есть воздушность, нет походки, есть пловучесть. Но были и с той щемящей одухотворённостью, не столь красивы,

как просты, не бьющие в глаза с налёту, а лишь останавливающие взгляд затаённой добротой, и... ты уже непоправимо несчастен, твоё сердце тоскливо сжимается — такое вот чудо человеческое, мелькнув раз, пройдёт мимо тебя!..

Традиционные кружки чая, но вместо традиционных речей — танцы.

Мне, право же, стыдно за себя и обидно — экий пентюх! Как-то так получилось, что я всегда оказывался в стороне от танцплощадок. Сказать — не поверят: ни разу в жизни не танцевал!

Однако мне не дают сидеть бирюком, подходят.

— Товалис...

И взгляд в зрачки, и ожидание, и просьба.

Стыд. Но сильнее самого стыда — страх перед стыдом грядущим: вдруг да, чёрт возьми, осрамлюсь!

И надменнобровая красавица с лёгким удручённым румянцем отплывает от меня. Обидел её! Надо же!

Новый танец, и снова:

— Товалис...

И взгляд в зрачки. И надежда... А эта из тех — земных, не воздушных, одухотворённых добротой. Да вались все в тартарары! Была не была!

И я впервые в жизни выхожу с намерением совершить ритуальные движения под музыку. И, к своему удивлению, с грехом пополам совершаю, хотя и костенею плечами, поджигаю живот к позвоночнику, стараюсь, стараюсь до испарины.

Но не завидую больше ни старому Валентину Катаеву, плавающему среди кружащихся пар, как рыба в воде, ни нашему степенному главе делегации, президенту Академии педнаук Каирову, теснящему толстым животом некое сверхвоздушное создание. И мы, братцы, не лыком шиты!

— Кал-ла-со! Кал-ла-со!

Господи! Меня поняли, меня подбадривают! Славная ты моя, спасибо тебе за доброе слово, только, ради бога, береги свои маленькие ножки — никак не поручусь за себя.

Я готов танцевать и дальше, лиха беда начало, но...

Уже несколько раз к каждому из нас склоняются китайские товарищи из нашей свиты, почтительнейше шепчут:

— Нас ждут в Педагогическом университете.

Опять трибуна, опять речи о нерушимой дружбе — не больно-то охота, сегодня же у нас праздник. Мы дружно и горячо высказываем желание остаться здесь.

— Надо ехать, надо...

Скорбные покачивания головами, понимающе поджатые губы, полнейшее сочувствие, однако:

— Надо! Нас ждут. На два часа опаздываем.

Вкрадчивая китайская вежливость побеждает русское упрямство: «А, черт! Надо так надо! Пошли — всё равно не отцепятся!»

Подъезжая к Педагогическому университету, мы невольно переглядываемся друг с другом и... прячем глаза, поёживаемся. Нас ждут — да! Целая толпа. Ждут уже два часа, если не больше. Ждут на морозе — Пекин не Кантон, зима здесь нешуточная, а одёжка всех китайцев, тем более студентов — ситчик на рыбьем меху. Нас ждут, и вопль восторга встречает нас. Толпа хлынула, только что не бросаются под машины, все стараются заглянуть в окна, поймать наш взгляд, хоть на секунду, хоть на миг показать счастливое — сплошная улыбка! — лицо. Добровольцы-активисты теснят толпу, иначе не откроешь дверцы машин, мы, закупоренные общим восторгом, не сумеем выбраться наружу.

Один за другим вылезает, и к каждому из нас тянутся руки, десятки рук с отчаянной страстностью, через головы впереди стоящих. Нам не рекомендуют, да мы и сами не решаемся пожимать их. Протянутых рук всегда столько, что церемония рукопожатия может затянуться на добрый час, а мы и так безбожно опоздали. Нас ждут не только эти встречающие энтузиасты. И мы снова виновато переглядываемся — экие сукины дети, засиделись у веселья.

Толпа выдавливает из себя тщедушного студентика с посиневшим от ожидания лицом и мученически вскинутыми бровями — всё ясно, выдающийся знаток русского языка, которому надлежит приветствовать высоких гостей. Оттого-то мученически и задраны его брови.

Он встаёт перед нами, некоторое время собирается с духом, наконец размеренно изрекает:

— Добы-ро пожа-лу-ват, до-ро-гие то-ва-риш-ши! — И сразу же бойко спрашивает: — Что?! — То есть не совсем уверен, то ли сказал.

А так как мы с готовностью слушаем, он продолжает, почти чётко, без запинки:

— Вы наши братья!.. Что?!

На этом запас его русского красноречия иссякает, мы жмём ему руки, для ободрения хлопаем его по плечу, и он нас ведёт, правда, сначала совсем не в ту сторону, но бдительная толпа и возгласами и тесным напором исправляет его смятенную ошибку, поворачивает на нужный путь.

Нас пытаются усадить за чай, но в воздухе разлито лихорадящее нетерпение, им заражены мы, заражаются и наши хозяева. Кружки с чаем остаются нетронутыми. Поспешно ведут на сцену...

Зал взрывается аплодисментами. Зал... Едва я кинул в него взгляд, как почувствовал, что встречаюсь с чем-то небывалым для меня, столь властным, чего я не чувствовал ни в одной аудитории.

А мы облетели уже большую часть Китая, в каждом городе, в каждой провинции — по несколько митингов. Мы привыкли к китайскому многолюдью и сборища-

ми в две, даже в три тысячи нас не удивишь, всюду — восторженность, жадное внимание, щедрые аплодисменты.

Здесь, в общем-то, не так уж и много народу — может, тысяча, может, чуть больше. Не всех желающих вместил этот зал, но вместить ещё — хотя бы одного человека — он уже не в состоянии. Никаких скамей, никто не сидит, все плотно стоят. Всё вокруг донельзя туго набито лицами. Каждое повёрнуто на тебя, от каждого истекает напряжённое ожидание чего-то особого, непременно счастливого. Лица сливаются в нечто единое, монолитное, а поэтому истекающее от них ожидание тоже столь слитно едино, что обретает плоть, я его физически чувствую, мне почти больно.

И как они умудряются ещё аплодировать в такой тесноте?

Но аплодисменты стихают, а ожидание возрастает — до взрывоопасности!

Я случайно кидаю взгляд на самый первый ряд, на тех, кто вплотную придавлен к сцене. Лица рядом, от моих ботинок — один шаг, рукой дотянись. Лица девчонок с сияющими глазами. На них нет национальных красочных одежд, они в затасканных, застиранных хлопчатобумажных робах, в которых ходит весь Китай, мужчины и женщины, рикши и министры. Но почему-то девочки кажутся празднично наряженными. От светлых улыбок, от сияющих глаз?..

Не только.

Они и в самом деле принарядились. Как могли, каждая. У одной в чёрных волосах кокетливый бантик, у другой цветная косыночка на шее, у третьей ворот затасканной рубы расстёгнут и старательно расправлен, чтоб видна была белая глаженная кофточка. Очень белая, очень чистая, похоже, что шёлковая, не для каждого дня.

И меня оглушает простая мысль: они стоят в первом ряду, в самом первом! Но, чтоб занять этот ряд, девочки должны прийти сюда не два часа назад, ко времени назначенной встречи. Чтоб быть ближе к нам, девочки явились сюда, по крайней мере, часа за четыре. Целых четыре часа, добрую половину рабочего дня они стояли и ждали, ждали, ждали.

Чего?

Чтоб увидеть меня и моих товарищей, людей весьма заурядной наружности? Может, они читали наши книги — Валентина Катаева, мои, — с девичьей экзальтированностью полюбили нас? Ой нет, не так-то мы известны в Китае, нас едва знают профессионалы, те, кто специально занимается русской литературой. А уж девочки-то наверняка и не слышали наших фамилий. Но что-то заставило их ждать четыре часа. Никто не требовал от них этой жертвы, не организаторы же вечера принудили нацепить кокетливые бантики, повязать праздничные косыночки. Мы им нужны. Ждали, ждут! Ждёт и оглушает нас своим требовательным, счастливым ожиданием переполненный зал. Каждое лицо словно излучает свет. Тысячи направленных на тебя лиц, больно от их мощного света — слепят, сжигают. Всё замерло, как перед чудом.

И позднее я ни разу не испытывал на себе столь сплочённое, любовное да, любовное, нельзя назвать иначе! — людское внимание. Наверное, только выдающиеся пророки и великие вожди испытывали такое. Мы не пророки и не вожди, ни наших имён, ни наших дел не ведают в этой стране. Почему нам это, испепеляющее?.. Почему?

Только теперь я как-то могу объяснить: мы тогда, были олицетворённой надеждой, наглядным будущим. Этим парням и девушкам настойчиво твердили, и они все с готовностью верили: впереди вас ждёт земной коммунистический рай! Русские отвоёвали его раньше, они уже люди будущего, почти что райские жители. Как пропустить встречу с ними, как не постараться встать к ним поближе, к ним, счастливым, чтобы увидеть воочию то, что ждёт тебя! Здесь собралась только молодёжь, из разных углов Китая, из разных слоёв народа, нищего китайского народа, забитого, затравленного, надрывающегося в непосильном и неблагодарном труде. Народа, лишённого в течение тысячелетий даже каких-либо надежд. Молодёжь легко убедить надеждой — грядущее прекрасно! Да окажись вы на их месте, в их возрасте, с их надеждами, разве не ринулись бы вы на встречу... с будущим?

Прав ли я?.. В тот момент я и не искал ответа. Ко мне повёрнуты лица, лица, лица. Зал распирает от счастливых молодых лиц. И кто-то не сумел сюда втиснуться. Здесь малая часть народа. Юная его часть. Молодость необъятного народа взирает на меня. И снизу, с расстояния в один шаг — девичьи сияющие глаза. От меня ждут... ждут великого. Если б я мог сейчас отдать свою жизнь! Что моя маленькая жизнь по сравнению с этим народным ожиданием?.. Если б мог!..

То же самое, должно быть, чувствовали и мои товарищи, я видел, как все они подобрались, подтянулись, вскинули головы, у каждого выражение почти трагической взволнованности. И подозрительно блестят глаза. Даже у Пети, стукача нашей делегации, который и раньше бывал в Китае с какими-то заданиями, хвалился нам, что сживал за одним столом с Чан Кай-ши, ругал китайцев за темноту, за восточную лживость, за жестокость друг к другу. И этот Петя сейчас сдерживает слёзы, как и я...

От любви к девочкам с сияющими глазами, от любви к тем, кто стоит за ними, к людям за этими стенами, людям этой страны, ко всем, всем людям на свете! Всемирно необъятное чувство, задыхаешься от него!..

3

О Бояны, соловьи старых и новых времён! Кто из вас, «скача по мыслену древу, летая умом под облакы», не воспевал народ?

Совесть народа, воля народа — нечто запредельно высокое, чему нет сравнения. Сила народа неисчислима, мудрость народа безгранична. От него и только от него исходит та сокровенная доброта, которая и поддерживает жизнь на земле.

Сталин постоянно низкопоклонничал перед народом, главным образом, русским: «...Потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение».

Непримиримый враг сталинизма Солженицын тоже утверждает за народом приоритет ясности ума и стойкости характера. В его романе «В круге первом» не высокоучёные и высоконравственные интеллигенты, собранные злой волей Сталина-Берии-Абакумова в «шарагу», несут слово обличающей мудрости, его произносит старик сторож, представитель простого народа: «Волкодав — прав, людоед — нет!» Философское кредо объёмистого романа.

Ну, а кумир современного витийства Евтушенко с завидным апломбом и прямо-той объявляет:

*Все, кто мыслит, — тот народ,
Остальные — население!*

Гитлеровцы, сжигая в печах Майданека и Освенцима детей, сталинисты, разорявшие и ссылавшие миллионы крестьян, миллионами расстреливавшие своих единомышленников, маоисты, заварившие кровавую кашу «культурной революции», уважаемое правительство Трумэна, бросавшее на уже обескровленную, сломленную Японию атомные бомбы, — все они, столь разноликие, действовали от имени народа, во благо его, не иначе!

Великие русские писатели прошлого столетия, как никто, восславляли народ, исходя из общепринятого положения, что в нём — и только в нём, народе! — заложены лучшие духовные качества. И лишь у Пушкина настораживающим диссонансом прорывается что-то противоположное:

*Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремящими да бичи.*

Стихи Некрасова, романы Достоевского, мятущиеся поиски Льва Толстого по сути — развитие и углубление старинной притчи о добром самаритянине, простонародном носителе бесхитростной и спасительной для мира человечности.

В меру своих сил я старался быть верным учеником наших классиков, и меня всегда властно тянуло на умиление перед милосердием самаритян из гущи народной, но жизнь постоянно преподносила мне жестокие разочарования.

4

Я пробыл в той живительно душевной, упоённо храпящей землянке каких-нибудь полчаса, а казалось, набрался надежды на всю жизнь. Если только будет у меня эта жизнь, если посчастливится увидеть конец войны, то меня окружают люди, уставшие от крови и ненависти, истосковавшиеся по любви... И тогда немец повернётся раскаянным лицом к русскому. И, как это ни невероятно — да, да! — матери простят им погибших сыновей, сыновья — потерянных отцов. Так нужно, так будет. Якушин, хлебавший из одного котелка с Вилли, — тому порука.

А утром снова забесновались артиллерийские батареи, залаяли миномёты, гулом отозвалась земля с чужой стороны — мы поднялись в наступление. Вперёд к Сталинграду, где сидят зажатые со всех сторон немцы. Уже близко!

После полудня вошли в хутор где-то на подступах к Воропонову.

Средь придавленно плоской белой степи раскиданы чёрные, свежие углица, в каждом из них горбатится печь, даже трубы и те сбиты снарядами. По измятой гусеницами земле тянется нечистый дымок, угарно пахнущий горелым мясом, палёной шерстью. Брошенная гаубица глядит тупым рылом в невнятную просинь ясного зимнего неба и похожа на сидящую гигантскую собаку, только что не воет. И под ногами немецкие противогазы в жестянках, каски, игрушечно красивые ручные гранаты, как крашенные пасхальные яйца.

Хутор? Нет. След от него. Таких снесённых с земли селений осталось много за нашей спиной. Мы даже не успевали поинтересоваться, как они называются.

Печные трубы сбиты снарядами, а колодезный журавель остался — косо торчит, сиротливо смотрится. Под ним плотно сбитая, плечом к плечу, куча солдат — шинели, овчинные полушубки, белые маскхалаты, торчащие винтовки, покачивается тяжёлый ствол противотанкового ружья, — а вокруг суетня, сбегаются любопытные, втискиваются в толпу, другие выползают, сердито крутят шапками, жестикулируют, и все краснолицы. Что-то там случилось, что-то особое, солдаты возбуждены, а уж их-то в наступлении трудно чем-либо удивить.

Я тоже, как и все, спешу к общей куче, придерживая на груди автомат.

Навстречу бежит солдатик, путается валенками в полах шинели, лицо варёное, бабье, тонко по-старушечьи причитает:

— Люди добрые! Да что же это?.. Изверги! Семя проклятушее!..

Второй солдат, низкий, кряжистый, эдакая глыба, упрятанная в полушубок, вываливается из толпы, с минуту одурело стоит, с бычьей бодливостью склонив каску, с усилием разгибается, на тёмной заросшей физиономии белые, невидящие глаза.

— Якушин! — узнаю я его. — Что тут?

Он, глядя слепым выбеленным взглядом мимо меня, выдавливает тяжёлое ругательство:

— В бога, мать их! Миловался! Ну, теперя обласкаю!..

И, качнувшись, идёт с напором, широкие плечи угрожающе опущены, каской вперёд.

Спины с тощими вещмешками, в каждой напряжённая сутулость. А за этими спинами мечется, как осатаневшая лиса в капкане, надрывно слезливый, с горловыми рудами голос:

— Брат-цы! Любуйтесь!.. Брат-цы-ы! Это не зверьё даже! Это!.. Это!.. Слов нету, брат-цы!..

Я плечом раздвигаю спины, протискиваюсь вперёд, толкаюсь, цепляюсь автоматом, но никто не замечает этого, не огрызается.

Обледенелый сруб колодца, грузная обледенелая бадья в воздухе, обледенелая с наплывами земля. На толстой наледи — два странных ледяных бугра, похожих на мутно-зелёные, безобразно искривлённые, расплзшиеся церковные колокола, намертво спаянные с землёй, выросшие из неё. В первую минуту я ничего не понимаю, только чувствую, как от живота ползёт вверх страх, сковывает грудь.

— Брат-цы-ы! Мы их в плен берём! Чтоб живы остались, чтоб хлеб наш ели!..

Я не могу оторвать взгляда от ледяных колоколов, лишь краем глаза улавливаю ораторствующего парня без шапки, с развороченной на груди шинелью.

И вдруг... Внизу, там, где колокол расплзается непомерно вширь, кто-то пешней или штыком выбил широкую лунку, в её сахарной боковинке что-то впаяно, похоже на очищенную варёную картофелину... Пятка! Голая смёрзшаяся человеческая пятка! И сквозь туманную толщу, как собственная смерть из непроглядного будущего, смутно проступили плечи, уроненная голова — человек! Там — внутри ледяного нароста! Окружённый пыльным ледяным кринолином. Перевожу взгляд на второй колокол — и там...

Их трудно разглядеть, похожи на тени, на призрачную игру света с толщей неподатливо прозрачного льда. Не тени, не обман зрения — наглухо запечатанные, стоящие на коленях люди. Оттого-то и угловаты эти припаянные к земле колокола. Нет, нет! Не хочется верить! Но мои глаза настолько свыкаются, что я уже начинаю различать нательное бельё, покрывающее плечи тех, что внутри. И пятка торчит из выбитой лунки, жёлтая, похожая на варёную смёрзшуюся картофелину.

Простоволосый парень рвёт на груди лацканы шинели, машет зажатой в кулак шапкой.

— Так их, брат-цы!.. Потроха вытягивать из живых!..

И кто-то угнетённо угрюмо, без запальчивости произносит:

— Это те... Из пешей разведки... Третьего дня двое не вернулись.

— Брат-цы-ы!!

А толпу качнуло. Сначала негромко, угрожающе глухо:

— Опсовели.

— И в войну знай меру...
 — Того и себе, видно, хотят.
 — Да мы ж их теперь!..
 И осатанелый всплеск:
 — Захаркают кровью!
 — Потроха из живых!
 — Так их в душу мать!
 — О-о-о!
 — У-у-у!

И я тоже вопил что-то злое и бессмысленное.
 — Тих-ха!

На расползшуюся наледь выскочил пехотинец в копотном полушубке, вскинул над ушанкой сжатые в рукавицах кулаки — дядя Паша, непохожий на себя. На багровой физиономии раздуты белые ноздри, жёлтые прокуренные зубы в оскале.

— Тих-ха! Слушайте!.. Коль они так, то и мы так! Чего зря глотки драть! С-час!.. Вот с-час покажем. Отольются кошке мышкены слёзы!
 — Отольются — жди!
 — Покуда доберёмся до них — подобреем!
 — Всегда так — покричим да остынем!
 — Тих-ха!! Побежали уже... С-час! Вот с-час приведут...

Я ничего не понимал и, как все, с надеждой взирал на дядю Пашу с чужим оскалом на красном лице, неповоротливого, в завоженном окопном полушубке судию, вещающего отмщение. И я хотел этого отмщения, всей воспалённой душой, каждой взвинченной клеточкой негодующего тела.

Очнулся от ликующего до рези в ушах вопля:
 — Ведут-ут!!

Толпа протащила меня в одну сторону, в другую и распалась, давая проход. Ещё не до конца понимая, ещё ничего не видя, я успел ощутить некую отрезвляющую неуютность.

И она сразу же сменилась ужасом... Пополам согнут, головой вперёд, на русой прилизанной макушке вздыбленный хохолок. Вскинулось от толчка и вновь упало к земле лицо, одеревенело бледное и щекастое — Вилли! Двое солдат заламывали ему руки — один незнаком, второй — пузырящаяся каска лежит прямо на широких плечах. Якушин...

Толпа развалилась, давая проход, но упруго колыхалась, готовая вот-вот сомкнуться, обрушиться на заломанную жертву.

Дядя Паша, пророк-судия в окопном полушубке, уже успокоившийся, без оскала, степенный, важный, сознавая свою высокую ответственность, сдерживал накалённую толпу:

— Тих-ха! Тиха! Не лезь! Не больно-то... Что толку — сомнёте. Живым его надо...

И простоволосый парень в расхристанной шинели приплясывал в проходе, сучил ногами, отступая шагком за шагком перед жертвой, захлёбывался:

— Братцы! Только не все! Только раньше времени не смейте... Вежливенько, братцы, вежливенько!..

И толпа сжималась, напирала, но натужно сдерживалась. Из неё вылетали лишь советы, трезвые и беспощадные:

— Башку ему подымите, пусть посмотрит!
 — Верно! Пусть знает — что за что!
 — Проникайся, гад!

Якушин с добровольцем-помощником вытолкнули Вилли к колодцу на наледь. Он разогнулся, зелёный, как лёд, с раскрытым ртом, помятый, стал дико оглядываться, явно не замечая ледяных колоколов.

А парень-активист в расхристанной шинели тыкал шапкой в ледяные колокола и восторженно, почти умиленно вздохнул:

— Ты, милый, сюда смотри, сю-юда-а!

Вилли глядел на напиравших людей, на обросшие, искажённые ненавистью солдатские лица. У Вилли была крупная голова и узкие, нескладные плечи под суконным мешковатым мундиром.

— Хватай! Раздевай! — приказал сурово дядя Паша.

И парень в расхристанной шинели деловито насадил на голову шапку, уцепился за мундир Вилли, и тут-то толпа ринулась, десятки рук вцепились в одежду. Вилли закричал, не по-детски, даже не по-человечьи — сипло каркаяще, с захлёбом.

Я уже не видел Вилли — закрыли, слышал только его рвущийся крик и озабоченные голоса:

— Ишь, сучье вымя, дёргается.
 — Держи, держи, я стяну..
 — На колени ставьте!

И торжествующий возглас парня:

— Брат-цы! Воду!..

Заскрипел, стал нагибаться колодезный журавель, а я, вцепившись обеими руками в автомат, попятился, натываясь спиной на суетящихся людей.

Нет, я не сорвал автомат с шеи, не остановил, я даже не крикнул. Люди перестали быть людьми, я их боялся.

Что мой голос для них? И что мой автомат? Здесь был вооружён каждый. Я трусливо пятился.

Склонялся и вымётывался колодезный журавель. Давился в крике Вилли.

5

Продолжение второй моей истории наблюдал в 1966 году китаевед Желоховцев.

Вот отрывок из его записок. (*Желоховцев А.* «Культурная революция» с близкого расстояния». М., 1973)

«У библиотеки соорудили высокий дощатый помост — не то трибуну, не то эстраду, не то эшафот. На фоне красных знамён на нём стоят выстроенные в шеренгу люди, опустив на грудь головы в ушастых бумажных колпаках. На многих бумажные наклейки, сплошь покрытые надписями. В руках они держат фанерные щиты с перечнем «преступлений». На груди у некоторых висят плакатики: «Чёрный бандит».

— Склони голову! — вдруг услышал я возглас за спиной и резко обернулся: к импровизированному эшафоту вели сравнительно молодого человека. Двое держали его под руки, а третий ударял по затылку — человек этот не желал опускать голову, он стойко и упрямо выпрямлялся.

Тогда конвойные остановились, стали осыпать осуждённого бранью и бить куда попало. Избиваемый не сопротивлялся, он шатался из стороны в сторону, пытаюсь устоять. Проходившие по аллее студенты сгрудились вокруг жертвы.

— Контра! Сволочь! — неслись выкрики.

Человек упал, и все наперебой стали пинать его ногами, но он не издал ни одного стопа или крика.

Вдруг от собравшейся на судилище толпы отделились человек пять и бегом понесли к нему, крича:

— Его будут судить массы. Ведите его сюда!

Разъярённая толпа, только что с холодным ожесточением избивавшая беззащитного человека, при властном крике мгновенно дисциплинированно расступилась. Жертва недвижимо лежала на асфальте.

— Вставай! — крикнули подбежавшие студенты еле дышавшему человеку, подняли его и потащили к эстраде. Избитый из последних сил несколько раз попытался поднять голову, но, получив затрещины, беспомощно ронял её снова. Я смотрел, как его вытащили на сцену и прислонили к заднику, обтянутому красной тканью. Он соскользнул на пол. Ему приказали встать на ноги и вlepили несколько увесистых пощёчин, но тщетно. Тогда подошёл здоровенный детина, кто-то из ведущих активистов — и заработал солдатским ремнём. Удары ремня привели избитого в чувство, он встал на ноги. На него натянули бумажный колпак клоуна и накинули бумажную хламиду. Двое юнцов начали быстро что-то писать на ней чёрной тушью. Ещё один парень замазал его лицо белой краской, макая кисть в большую консервную банку — в старом национальном театре злодеев гримировали белым...»

Читаю дальше: «В тот же день я возвращался из клуба советского посольства. Собрание перед библиотекой продолжалось. Осуждённые по-прежнему стояли шеренгой, у самого края ramпы, держа на вытянутых руках над головой фанерные щитки с перечнем своих «преступлений». Время шло, и вдруг люди начали один за другим мешковато валиться на помост. Все глазели на них, но никто не подходил, не трогал их — это, видимо, никого не удивляло. Я был настолько потрясён этим зрелищем, что не удержался и спросил стоявшего рядом паренёк с красной повязкой, что с ними.

— Они стоят так целый день. Человек же не может простоять долго, держа руки над головой, вот они и падают, — охотно объяснил он мне, нарушая строгий запрет вступать в разговор с иностранцами. — Только их нечего жалеть. Ведь это чёрные бандиты и предатели. Они захватили власть в парткоме и насаждали здесь чёрное царство. Зато теперь пришло время и революционные массы спросят с них.

А в это время на эстраду, освещённую ярким светом ламп, вышли молодые ребята с ремнями в руках и принялись самозабвенно хлестать упавших. Те поднимались, снова падали, фигуры «революционеров» прыгали вокруг них, пряжки ремней поблёскивали в лучах света, а возбуждённая толпа, требуя смерти, скандировала:

— Ша! Ша! Ша!» (— *Смерть! (китайск.)*)

Всё это происходило в том самом Педагогическом университете, где я пережил одни из самых светлых минут своей жизни.

6

Едва ли не всю жизнь меня отравляла загадка дяди Паши и Якушина. Учился в институте, спорил до хрипоты о судьбах человечества, читал умные, выстраданные книги, ездил по стране, сам стал писать книги и всегда помнил рвущийся крик Вилли.

Были же добры в землянке эти дядя Паша с Якушиным. Что за нужда им притворяться. «Душевный человек Вилли...» И: «Братцы! Воду! Живём его!»

Доброта и лютая жестокость — как это может находиться в одной шкуре? Когда дядя Паша и Якушин были сами собой — в землянке или у колодца?

Кто они, собственно, — люди или нелюди?!

Там, у колодца, озверела целая толпа. И невольно припоминаешь годы, когда едва ли не весь наш народ вопил в исступлении: «Требуем высшей меры наказания презренным выродкам, врагам народа!» Требуем смерти, жаждем крови! Нет, нет! Дядя Паша и Якушин — не случайное уродство, к ним применимо избитое выражение «типичные представители».

По капле воды можно судить о химическом составе океана. Того океана, который зовётся Великим Русским народом, за которым всеми признаётся широта и доброта души!

Я горжусь своим народом, он дал миру Герцена и Льва Толстого, Достоевского и Чехова — великих человеколюбцев. И вот теперь впору задать себе вопрос: мой народ, частью которого я являюсь, — люди или нелюди?!

Как тут не отчаиваться, не сходить с ума!

Подозреваю: такой же вопрос может задать любой и каждый человек на планете о своём народе.

7

В Кремлёвском зале шёл III съезд советских писателей. Выступал сам Хрущёв, учил писателей, как надо писать и о чём писать.

Рядом со мной сидел сотрудник отдела культуры ЦК Игорь Черноуцан и растерянно крутил головой.

— Ни одного слова. Ну, ни одного...

Как и положено, выступление было заранее запланировано и подготовлено. Сейчас Черноуцан слушал своего высокого хозяина, изумлённо крутил головой и тихо сетовал — ни слова из написанного Хрущёв не произносит, вдохновенно импровизирует. И куда только его не заносит, даже в поэзию. Вспомнил неожиданно некоего Махотько, шахтёра, писавшего стихи в отдалённые времена хрущёвской юности. Перед избранными писателями страны с энтузиазмом были прочитаны махотькинские шедевры. Кто-то стыдливо клонил голову долу, кто-то пожимал плечами, кто-то ухмылялся про себя, ну а кто-то ликующе взрывался аплодисментами, вскакивал с места, чтоб его ликование не осталось незамеченным.

Впоследствии газеты устроили усиленную облаву на этого Махотько, хотели напечатать, прославить, прочесали страну во всех направлениях и... не нашли. Подпочвенный поэт, шахтёр Махотько оказался странным мифом. Многие заподозрили — уж не сам ли Хрущёв легкомысленно грешил в молодости стихосочинительством, застенчиво прикрывшись сейчас псевдонимом?

Хрущёв наконец иссяк и сошёл с трибуны. Казалось бы, после Юпитера и боги и смертные должны молчать, следует объявить долгожданный перерыв. Ан нет, слово предоставляется Корнейчуку. И тот, захлёбываясь от восторга, в течение двадцати минут с упоённым усердием, по-лакейски грубо поёт аллилуйю Юпитеру:

— Историческая речь Никиты Сергеевича... Мудрое слово Никиты Сергеевича... Мы все потрясены... Мы прозрели...

Тут уж стыдно было, кажется, всем без исключения, и тем, кто сидел в президиуме рядом с Хрущёвым, и тем — кто в зале. Клонились ниц, прятали глаза, не вскакивали с мест в ликовании. Не испытывали стыда только двое — вдохновенный Корнейчук и

сам Юпитер. Хрущёв сидел с горделивой осаночкой, высоко держал голову, величаво взирал — очень, очень ему нравилось!

С должным запалом, с приличествующим — до мокроты в голосе — проникновением Корнейчук произнёс здравицу и с чувством исполненного долга ретировался. Перерыв! Расходитесь! Э-э нет, погоди — ещё один ритуал.

Хрущёв занимает место на выходе, и каждый из членов президиума съезда, проходя, обязан с изъяснением чувств пожать ему руку. Тут уж — кто во что горазд, со всей изобретательностью.

Почтенный глава Союза писателей Константин Федин с картинной благоговейностью берётся за руку Хрущёва и сгибается — раз, другой, причём поразительно низко, к самым хрущёвским коленям. Рука в рукопожатии оказывается намного выше седого затылка. Какая, однако, гибкая спина у этого старейшего писателя, воистину резиновая.

Леонид Соболев, напротив, жадно хватая руку Хрущёва обеими руками и трясёт, трясёт, столь судорожно, что сам весь жидко трясётся. Трясётся и приседает в изнеможении, набирается усилий, разгибает ноги и снова трясётся, снова обессиленно оседает... Уф! Наконец-то кончил, испарился.

Не столь приметные члены президиума — из союзных республик — подкатывали бочком, коснувшись руки, обмирали и ускользали.

Александр Твардовский с подчёркнутым достоинством подошёл, с подчёркнутой вежливостью пожал руку — не задержался.

И вот сцена опустела, на ней остались только двое — Хрущёв, дежурящий у входа, и в самом дальнем углу Валентин Овечкин, с прядью, уроненной на лоб, с поднятыми плечами. Он что-то не торопился подыматься. А Хрущёв ждал, не уходил.

Делегаты съезда, дружно освобождавшие зал, замешкались, кто застыл в охотничьей стойке, кто опускался на первое же попавшееся место, выжидательно тянул шею.

Овечкин в углу, недвижимый Хрущёв у входа — руки по швам, спина деревянно пряма, живот подобран, лоб бодливо склонён. Томительная минутка...

Но вот Овечкин решительно встаёт, напористо идёт к выходу. Выход загорожен, и Овечкин останавливается.

Склонённый лоб против склонённого лба, коренасто подобранный Овечкин и тяжеломерно плотный, взведённый Хрущёв, у обоих руки по швам. В двух шагах, глядят исподлобья, не шевелятся.

Овечкин дёрнулся, плечом вперёд, с явным намерением прорвать осаду. И Хрущёв не выдержал, поспешно, даже с некоторой несолидной суетливостью вскинул руку. Овечкин походя тряхнул её и исчез.

Я, веселясь про себя, направился в гостиницу «Москва», где остановился Овечкин.

Не скинув пиджака, он ходил по номеру, раздражённо зелен, мелкие, обычно рассеянно добрые глаза сейчас колючи, в углах губ жёсткие складочки.

— Ты что комедию ломаешь?

Он пнул монументальный плюшевый стул старой гостиницы.

— Комедию начал он!

— Напоминало ребячью игру в гляделки — кто кого?

— Знает, что мне противно жать ему руку, оттого-то и ждал — пугану, мол, в штаны наложит.

— Ты что, объявлял ему об этом «противно»?

— Письма писал.

— Насчёт рукопожатия?

— Насчёт всего. В открытую! Без беллетристики. Сначала писал вежливо, потом сердито, а уж последние письма — матерные! Писем двадцать пять! Не могли они мимо пройти, особенно последние — показали, не сомневаюсь! И ни на одно!.. Ни на одно не ответил!

— Рассчитывал его образумить?

Овечкин яростно повернулся ко мне, схватил за лацканы пиджака.

— А на что можно рассчитывать стране? На какую силу?! На крикунов, которые снова готовы звать Русь к топору? Не хватит ли играть в эти игрища? От них только реки крови да кровавые болота! Снова старым голосом петь: «Весь мир насилья мы разрушим!..» Разрушим, но не построим! От змеи змея рождается, от насилия — насилие! Хочу силу направить на разумное! А у нас теперь есть одна сила — власть!

— Считаешь — власть может всё?

Овечкин выпустил из рук мой пиджак, устало сел.

— Всё, — сказал он тихо и убежденно. — Даже больше, может и невозможное.

— Например?

— От примеров деваться некуда. Взбалмошный человек заставляет: делай, страна, что моя левая нога захочет! Прикажет на Луне сеять кукурузу — будем! Сам по себе он бессилен, а его власть сильна. Её бы направить на полезное дело!..

— У любого из русских царей было, ей-ей, не меньше власти — самодержцы всея Руси! — напомнил я. — А могли бы они заставить сеять кукурузу?

— Хреновые, видать, самодержцы. Четыре царя, начиная с Екатерины, картошку вводили. Восемьдесят лет волюнили — льготы, премии, бунты умирляли. И ввели потому только, что в конце концов мужик разнюхал — полезна картошка. А кукурузу за Полярным кругом — нет уж, жидковаты самодержцы!

— Бунты умирляли... А у нас, заметь, без всяких усилий — не только бунтов, маломальского непослушания не было. С какой стати ты нашей власти приписываешь силу, которой она и не применяла. На чём ты её сумел увидеть?

Он долго молчал, смотрел в окно на рыжую кремлёвскую стену, дыбющую из зелени Александровского сада.

— Знаешь, — глухо произнёс он наконец, — это страх! Дикий страх перед властью, убивающий рассудок.

— Но слишком уж невнушительны сейчас методы запугивания — ни карательных отрядов, ни репрессий, самое большее — начальнический окрик да удар кулака по столу. Право же, причин пугаться нет.

— Сейчас невнушительно... Сейчас! А вспомни, что было. Не только вслух говорить — думать боялись, как бы «чёрный ворон» ночью не выгреб из постели к следователю, который прежде, чем уйдёт за колючую проволоку или поставит к стенке, потешится — прикажет ломать кости, вгонять под ногти иголки. Говорят: Моисей сорок лет водил евреев по пустыням, чтоб вымерло поколение рабов, вместе с ними исчез из народа рабский дух. У нас, наверное, тоже должны смениться поколения, чтоб исчез страх перед властью, даже перед начальническим окриком.

— Да страх ли? — усомнился я. — Припомни сам, как люди во времена «чёрных воронов» бесновались на собраниях. Скажешь, не было восторга в этих беснованиях? Искреннего восторга, поклонения перед жестокостью. Да я подростком сам его переживал, видел — переживают и взрослые. От страха ли такая искренность?

Овечкин молчал, смотрел в гостиничное окно на кремлёвскую стену. Лицо его было каменно, и только подобранные губы судорожно напряжены. Он молчал, значит, сознавал мою правоту, иначе уж обрушился бы с возражениями. Он молчал и, кто знает, не вспоминал ли, что сам верил и восторгался. Унизительные воспоминания — кто из нас может избежать их?

Поддержанный его молчанием, я решил на крамольное:

— Мы считаем, что «чёрные вороны» Сталина — причина испорченности народа. Страхом, видите ли, заразили, поколения должны вымереть, чтоб исчез сей порок. А может, всё наоборот — оттого и «чёрные вороны» стали рыскать по ночам, что сам народ был подпорчен — покорностью, безынициативностью, той же рабской трусостью.

Овечкин резко повернулся ко мне.

— Думай, что говоришь! — почти с угрозой.

— То есть не святотатствуй! — подсказал я с вызовом.

— На народ списывать?!

— Ну да, народ же свят и чист! Совесть его — запредельна, воля — несокрушима, мудрость — непостижима. И вот почему только те, у кого нет ни совести, ни воли, ни мудрости, подчиняют, извращают столь сильный и святой состав человечества?

Овечкин закричал:

— Списывать на народ!.. На на-род!! Всё равно, что кивать — стихия виновата, на то воля божья! Как можно жить с таким бессильем? Жить и ещё писать книги!

Он был прав — жить трудно. И сам скоро подтвердил это, пустив себе из ружья пулю в голову. Пуля, задев мозг, выбила глаз. Овечкин остался жить.

Из Курска, из центральной России, которую столь хорошо знал и любил, изуверченный и больной, он уехал в Ташкент к сыновьям... Там и умер, неприкаянный, забытый, непримиримый.

Наш спор с ним так и остался незаконченным.

8

Но я продолжал спорить с самим собой — все эти шестнадцать лет после разговора в гостинице «Москва». И образ дяди Паши мучил меня — «типичный представитель»? Жестокая загадка.

— Народ — стихия. Не столь ли бессмысленно упрекать его, скажем, в жестокости, как разверзшийся вулкан?

— А, собственно, что такое народ? Как он выглядит?

— Обычно мы представляем себе бесчисленных дядей Паш, некую величественную человеческую массу, нечто необъятное и бесформенное. Но бесформенным-то народ никогда не бывает. Во все времена, любой народ представлял из себя определённое устройство.

— Ну и что? Разве это как-нибудь меняет наше отношение к народу?

— Меняет в корне. Мы считаем, что История слагается именно из действий личностей.

— И это не верно? Неужели человек не причастен к своей истории?

— Не верно уже потому, что человек постоянно вынужден поступать вопреки своим личным интересам, своим желаниям. Хочу одного, а делаю совсем иное.

— Например?

— Примеры на каждом шагу. Вот хотя бы самый бытовой, незначительный... По дороге с работы мне нужно зайти в магазин, купить колбасы к ужину. А к продавцу очередь. Я устал, я голоден, моё насущное желание — поскорей попасть домой, поужинать, растянуться на диване. Но я становлюсь в очередь, жду, вынужден пропускать вперёд себя других, терять время, поступать вопреки своим желаниям.

— Какое это имеет отношение к истории?

— Иллюстрирует на малом, что человек крайне зависим в своих поступках, не хозяин сам себе.

— Открыл Америку!

— То-то и оно, что всем это известно, глаза намозолило, но странно — никто не принимает этой очевидности в расчёт. А ведь, кажется, ясно — если все так зависимы даже в столь мелких человеческих построениях, как очередь к прилавку с колбасой, то уж, наверное, грандиозные общественные построения ещё с большей силой должны заставлять любого и каждого поступать против своих интересов, против личных

желаний. История слагается из действий личностей. Как бы не так! Сами-то личности действуют не самостоятельно.

— Так кто ими крутит? Господь Бог?

— Устройство общества.

— Но общество-то устроено из чего? Из людей же, из отдельных личностей!

— Почка и мозг тоже построены из одних белковых веществ, да по-разному, а потому различно и функционируют. В США живут такие же люди, но представить себе нельзя, чтоб там могла развернуться широкая кукурузная кампания. Все понимали: вредно, бессмысленно сеять эту южную культуру в Приполярье, а сеяли — массовый идиотизм! Нельзя же допустить, что русские от природы дуры американцев. Устройство иное, иное и поведение людей.

— Значит — каково устройство, таковы и люди?

— Ну, а как объяснить чудовищную жестокость дяди Паши у обледелого колодца? Тоже система заставила?

— Да. Начать с того, что дядя Паша и Якушин находились в весьма своеобразном человеческом устройстве, именуемом действующим фронтом, где одни людские вооружённые массы расположены против других вооружённых масс. Одно это противорасположение уже заставляет прятаться и выслеживать, защищаться и убивать, пребывать в постоянной настороженности и ожесточённости. Землянка на короткое время укрыла солдат от войны. Не надо прятаться, выслеживать, убивать. И дядя Паша с Якушиным на короткое время стали теми, какими были в мирной обстановке. Нет, они тут не притворялись добрыми. Они были ими!

А как ни жестока война, но и в ней существует свой предел жестокости. Обстоятельства на фронте обычно не складываются для солдата так, чтоб он ради выполнения приказа или спасения себя становился перед необходимостью изуверски пытаться противника.

И вот ледяные колокола — случай необычный, из ряда вон выходящий, вызывающий необычные чувства. А они, в свою очередь, толкают и на необычные действия, причём направленные, требующие какой-то организации. Солдаты, сами того не желая, создали своеобразную карательную систему. Да, да, систему, где люди по-своему взаиморасположены и связаны — с добровольцами-исполнителями, с ведущими и ведомыми. Система действует, перевоплощает солдат в палачей. Дядю Пашу и Якушина в том числе.

— Ну и заврался. Сам сказал: сначала солдаты стали действовать, система сложилась потом в результате их действий. Значит, и палачами стали раньше, система в том не повинна.

— Ан нет, всё-таки без сложившейся системы дядя Паша бы до палача не дорос.

9

Автобус катит по московской улице — газетный киоск, убегающие вывески магазинов, громоздкий автокран у обочины, строительный новенький жёлтый забор, выпирающий на середину мостовой...

Неожиданно из-за забора с перекрёстной улицы выскакивает такси. И... скрежет тормозов, как снопы под ветром, валятся друг на друга пассажиры в проходе. Тупой, с причмоком удар и крик женщины, гортанно-резкий, словно голос морской чайки.

В такси оцепеневший шофёр, почти мальчишка — подрубленные бачки, нечёсаная, по моде, волосня, невызревше угловатый профиль устремлён вперёд, куда-то вдаль. За ним грузин в громадной плоской кепке-«аэродром». Он темпераментно крутит «аэродром», дёргается всем телом на взирающего в неблагополучную даль паренька, кипятится. Удар пришёлся на переднее крыло, крышка капота отскочила, в ней, изувеченной, живая дрожь.

После чаечного крика женщины в автобусе накалённая тишина, ни шороха, ни шевеления, лишь вливается влажная свежесть улицы в раскрывшиеся при ударе дверцы. Наконец прорезался густой, недовольный баритон:

— Сук-кин сын!

Сразу же въедливо тонкий, со слёзной мокрецей голос:

— Сажают за руль сопляков!

И всколыхнулся оскорблённый, грозиво растущий ропот:

— Хорошо — без жертв.

— Как сказать, я вот по рылу получил.

— Ох, господи! Не отдышусь...

— Старую задавили.

— Без-зоб-разие!

Ропот выметает из автобуса одного из пассажиров. Он в жарко распахнутой дошке, в болтающемся на шее кашне, в посаженной на уши шляпе, выхватывает из кармана бутылку и начинает ею угрожающе манипулировать с приплясом:

— Т-ты! Опусто стекло! Т-ты! Ды-вад-цать пять человек из-за тебя, плюгавого, нервами сейчас оборвались! Может, тут такие едут, т-ты пальца их не стоишь!.. Опусто стекло! Я тебя бутылкой, бутылкой!..

Парнишка-шофёр лишь втягивает свою волосатую голову в плечи и продолжает вглядываться в даль, с другой стороны дёргается, крутит кепкой-«аэродромом» грузин.

А внутри автобуса растёт раздражение — пассажиры зажимаются воинственностью человека с бутылкой:

— Ехали себе и — какой-то хмырь!

— Из-за него по рылу мне, могло и покалечить.

— Старую придавили чуть ли не насмерть.

— Ох, миленькие, не отдышусь...

— Врежь ему, врежь!

— Открой дверцу, лапоты! Вытащи!

— Не справишься — поможем!

— Кости пощупаем!

— Кос-ти! Таким головы отвинчивать!

И гневно краснеют лица, и расправляются плечи, и победные переглядки, и толкучка возле открытых дверей — дёргаются, сучат ногами, готовы выскочить.

Человек с бутылкой, чуя поддержку, возбуждается до неистовства, пляшут ноги, разлетаются полы дошки, кашне сползает с шеи, вот-вот упадёт, будет затоптано, и бутылка, отблескивая, крутится над шляпой, и голос тоньшеет, рвётся от злобы:

— Стекло! Кому сказано — опусти стекло! Всё равно не спрячешься! Бутылкой тебе! Бутылкой!

Играет спина под дошкой, сверкает бутылка, автобус подогревает:

— Врежь ему! Врежь!

— Крикни кацо, пусть дверку отомкнёт.

— Ударь по стеклу, чего уж жалеть!

И человек с бутылкой уже воет нечленораздельно:

— У-о-х т-те-бя!!

Возле него вырастают два парня — простовато одеты, внушительно рослы, должно быть, рабочие с автокрана.

— А ну, раскудахтался!

— Человек влип, без тебя не сладко.

— Рад, скотина, чужой беде!

Бутылка опускается, перепляс замирает, в расхристанной фигуре ни тени неистовства, шляпа, натянутая на самые уши, ползёт в плечи.

— Так ведь он что... аварию устроил!

— Без тебя разберутся, мотай отсюда!

В автобусе озадаченная заминка, все тянут шеи, недовольно разглядывают типа в распахнутой дошке, держащего в руке бытылку. И вновь густой недовольный баритон:

— Действительно.

Баритон не дозвучал, как уже подхватили:

— Что верно, то верно — у парня беда.

— Не расхлебается — затаскают теперь.

— Молоденький!

— Слава богу, без жертв — не посадят.

— Зато влетит в трудовую копеечку — машину-то гробанул.

И как прежде — грозиво растущий ропот:

— Бутылку выхватил!..

— Нализался, скотина!

— Ему бы бутылкой по шляпе!

— Эй вы! Врежьте ему! Врежьте!

Те же самые люди, теми же голосами.

— Видишь, какие фортели выкидывает толпа. А что если предположить, что в автобусе, не считая выскочившего человека с бутылкой, находился всего один пассажир. Так ли бы он вёл себя?

— Смотря какой по характеру. Импульсивный, наверное, так же бы возмущался.

10

— В том-то и дело, что не так, не столь бурно. Даже самый импульсивный. Он бы, конечно, возмутился, однако на его возмущение никто бы не откликнулся, оно не получило бы поддержки, не подогрелось бы, не стало расти дальше, не достигло степени той активности.

— Хочешь сказать, что и дядя Паша, столкнись он с колоколами в одиночку, не дошёл бы до жестокой крайности?

— А разве можно в этом сомневаться? Казнить человека, да ещё таким страшным способом, взять на себя (только на себя!) тяжёлую ответственность — нет, тут надо быть патологическим садистом. Дядя Паша им не был — нормальный человек, мог поделиться пайкой хлеба с товарищем, наверное, с риском для жизни мог вытащить из-под огня раненого — человеческое ему присуще.

— То-то и страшно — человеческое присуще, а поступить бесчеловечно способен!

— Не сам по себе, только в компании. Толпа вокруг ледяных колоколов распалила себя, стала той благоприятной средой, где страшный процесс трансформации человека в садиста мог дозреть до конца.

— Почему же тогда ты в этой толпе не дозрел? И вообще не кажется ли тебе, что ты своими рассуждениями убиваешь личность? Человек живёт в окружении других людей, как правило, выстроенных в какой-то порядок, а значит, воздействующих на отдельного человека, направляющих его поступки. А действует ли когда-нибудь человек, как того ему хочется? Бывает ли он сам собой? Имеет ли право называться личностью?

11

Личность — тема, не одного меня пугающая своей непосильной сложностью. Формирование личности, её восприимчивость, зависимость, эмоциональные и рациональные особенности... великие умы блуждали тут, как в лесу, не добираясь до заповедных ответов.

Нет, не решусь влезать в личность и свою дремучую некомпетентность могу компенсировать одним — рассказать случай, который, как мне кажется, существенно «подправил» моё «я».

Случай внешне незначительный, но для меня постыдный. Было время — думал, что не сообщу его ни матери, ни брату, ни жене, ни детям своим, сам забуду, погребу в глубине души. Но вот, считай, прожил жизнь, и, кажется, она даёт мне право быть предельно искренним — открывать то, что обжигало стыдом за себя.

Маршевая рота шла на фронт. Тусклую, высушенную, безнадежно бескрайнюю степь накрывало вылинявшее необъятное небо. Иногда в нём появлялась «рама» — немецкий двухфюзеляжный корректировщик. Не торопясь, не прячась, с хозяйской деловитостью, нарушая нутряным урчанием моторов тихую грусть осеннего воздуха, «рама» кружила над землёй. Сотня захомутанных в шершавые скатки солдат, растянувшихся по дороге, не привлекала её внимания — не дислокация войск, не переброска техники, так себе блукающие.

Все мы пробывали месяц в запасном полку за Волгой в селе Пологое Займище. Мы, это так — мусор отступления, остатки разбитых за Доном частей, докатившихся до Сталинграда. Кого-то вновь бросили в бой, а нас отвели в запас, казалось бы — счастливы, какой-никакой отдых от окопов. Отдых... два свинцово-тяжёлых сухаря на день, мутная водица вместо похлёбки, ватные ноги и головокружение от голода и с утра до вечера ненужная маршировка с деревянными, грубо выструганными из досок ружьями:

*Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..*

Отправку на фронт встретили с радостью.

Лейтенант, которому была вручена маршевая рота, сбился с маршрута, шестые сутки мы блуждали по степи, а продпункты, на которых мы должны были получать пропитание, оставались где-то, бог весть, в стороне. Давно был съеден НЗ, четвёртый день никто ничего не ел. Шли, и падающих помкомвзводы подымали сапогами...

Ещё в Пологом Займище я сошёлся с одним старшим сержантом. Он относился ко мне покровительственно, свысока, и я за это был ему благодарен. Солдат кадровой службы, лет под тридцать, для меня многоопытный старик. Ему нравилось учить меня житейской мудрости, которая вся вмещалась в одно слово — «находчивость». Под ним подразумевалось умение обмануть, и главным образом старшину. Ходячее мнение — нет во всех вооружённых силах такого старшины, который бы не обворовывал солдат. Я совсем не обладал находчивостью, страдал от этого, презирал себя.

Нет, нет, во время похода старший сержант не был рядом со мной, не руководил мною. Истошённые, движущиеся, как тени, мы уже не в состоянии были проявлять друг к другу внимание, каждый боролся за себя в одиночку.

Очередной хутор на нашем пути, населённый не мирными жителями, а военными. Мы все попадали на обочину дороги, а наш бестолковый лейтенант в сопровождении старшины отправился выяснять обстановку.

Через полчаса старшина вернулся.

— Ребята! — объявил он вдохновенно. — Удалось вышибить: на рыло по двести пятьдесят граммов хлеба и по пятнадцати граммов сахара!

Восторга сообщение старшины, разумеется, не вызвало. Каждый мечтал, что в конце концов нам выдадут за все голодные дни — ешь до отвала. А тут, как милостыню, кусок хлеба.

— Ладно, ладно вам! Понимать должны — от себя люди оторвали, имели право послать нас по матушке... Кто со мной получать хлеб?.. Давай ты! — Я лежал рядом, и старшина ткнул в меня пальцем.

Дом с невысоким крыльцом. Прямо на крыльце я расстелил плащ-палатку, на неё стали падать буханки — семь и ещё половина. Мягкий пахнувший хлеб!

В ту секунду, когда старшина ткнул в меня пальцем — «Давай ты!» — у меня вспыхнула мыслишка... о находчивости, трусливая, гаденькая и унылая. Я и сам не верил ей — где уж мне...

Тащился с плащ-палаткой за старшиной, а мыслишка жила и заполняла меня отравой. Я расстилал плащ-палатку на затоптанном крыльце, и у меня дрожали руки. Я ненавидел себя за эту гнусную дрожь, ненавидел за трусость, за мягкотелую добропорядочность, за постоянную несчастливость — не находчив, не умею жить, никогда не научусь! Ненавидел и в эти же секунды успевал мечтать: принесу старшему сержанту хлеб, он хлопнет меня по плечу, скажет: «Э-э, да ты, брат, не лапоть!»

Старшина на секунду отвернулся, и я сунул полбуханки под крыльцо, завернул хлеб в плащ-палатку, взвалил её себе на плечо.

Плотный, невысокий, чуть кривоногий старшина вышагивал впереди меня поступью спасителя, а я тащился за ним, сгибаясь под плащ-палаткой, и с каждым шагом всё отчётливей осознавал бессмысленность и чудовищность своего поступка. Только идиот может рассчитывать, что старшина не заметит исчезновения перерубленной пополам буханки. К полученному хлебу никто не прикасался, кроме него и меня. Военная находчивость, да нет — я вор, и сейчас, вот сейчас, через несколько минут это станет известно... Да, тем, кто, как и я, пятеро суток ничего не ел. Как и я!

В жизни мне случалось делать нехорошее — врал учителям, чтоб не поставили двойку, не раз давал слово не драться со своим уличным врагом Игорем Рявкиным, и не сдерживал слова, однажды на рыбалке я наткнулся на чужой перепутанный перемёт, на котором сидел толстый, как полено, пожелтевший от старости голавль, и снял его с крюка... Но всякий раз я находил для себя оправдание: наврал учителю, что был болен, не выучил задание — надо было дочитать книгу, которую мне дали на один

день, подрался снова с Игорем, так тот сам полез первый, снял с чужого перемёта голавля — рыбацкое воровство! — но перемёт-то снесло течением, перепутало, сам хозяин его ни за что бы не нашёл...

Теперь я и не искал оправданий. Ох, если б можно вернуться, достать спрятанный хлеб, положить его обратно в плащ-палатку! Но, расправив плечи, заломив фуражку, вышагивал старшина-кормилец, ни на шаг нельзя от него отстать.

Я был бы рад, если б сейчас налетели немецкие самолёты, шальной осколок — и меня нет. Смерть — это так привычно, меня сейчас ждёт что-то более страшное.

С обочины дороги навстречу нам с усилием — ноет каждая косточка — стали подыматься солдаты. Хмурые, тёмные лица, согнутые спины, опущенные плечи.

Старшина распахнул плащ-палатку, и куча хлеба была встречена почтительным молчанием.

В этой-то почтительной тишине и раздалось недоуменное:

— А где?.. Тут полбуханка была!

Произошло лёгкое движение, тёмные лица повернулись ко мне, со всех сторон — глаза, глаза, жуткая настороженность в них.

— Эй ты! Где?! Тебя спрашиваю!

Я молчал.

— Да ты что — за дурака меня считаешь?

Мне больше всего на свете хотелось вернуть украденный хлеб: да будь он трижды проклят! Вернуть, но как? Вести людей за этим спрятанным хлебом, доставать его на глазах у всех, совершить то, что уже совершил, только в обратном порядке? Нет, не могу! А ведь ещё потребуют: объясни — почему, оправдывайся...

— Где?!

Скуластое лицо старшины, гневное вздрагивание нацеленных зрачков. Я молчал. И пыльные люди с тёмными лицами обступали меня.

— Я же помню, братцы! Из ума ещё не выжил — полбуханки тут было! На ходу тиснул!

Пожилой солдат, выбеленно голубые глаза, изрытые морщинами щёки, сивый от щетины подбородок, голос без злобы:

— Лучше, парень, будет, коли признаешься.

Я окаменело молчал.

И тогда взорвались молодые:

— У кого рвёшь, гнида?! У товарищей рвёшь!

— У голодных из горла!

— Он больше нас есть хочет!

— Рождаются же такие на свете...

Я бы сам кричал то же и тем же изумлённо-ненавидящим голосом. Нет мне прощения, и нисколько не жаль себя.

— А ну, подыми морду! В глаза нам гляди!

И я поднял глаза, а это так трудно! Должен поднять, должен до конца пережить свой позор, они правы от меня этого требовать. Я поднял глаза, но это вызвало лишь новое возмущение:

— Гляньте: пялится, не стыдится!

— Да какой стыд у такого!

— Ну и люди бывают...

— Не люди — воши, чужой кровушкой сыты!

— Парень, повинись, лучше будет.

В голосе пожилого солдата — крупница странного, почти неправдоподобного сочувствия. А оно нестерпимее, чем ругань и изумление.

— Да что с ним разговаривать! — Один из парней вскинул руку.

И я невольно дёрнулся. А парень просто поправил на голове пилотку.

— Не бойся! — с презрением проговорил он. — Бить тебя... Руки пачкать.

А я хотел возмездия, если б меня избили, если б!.. Было бы легче. Я дёрнулся по привычке, тело жило помимо меня, оно испугалось, не я.

И неожиданно я увидел, что окружавшие меня люди поразительно красивы — тёмные, измученные походом, голодные, но лица какие-то гранёные, чётко лепные, особенно у того парня, который поправил пилотку: «Бить тебя — руки пачкать!» Каждый из обступивших меня по-своему красив, даже старик солдат со своими голубенькими глазками в красных веках и сивым подбородком. Среди красивых людей — я безобразный.

— Пусть подавится нашим хлебом, давайте делить, что есть.

Старшина покачал перед моим носом крепким кулаком.

— Не возмёшь ты спрятанное, глаз с тебя не спущу! И здесь тебе — не жди — не отколется.

Он отвернулся к плащ-палатке.

Господи! Мог ли я теперь есть тот преступный хлеб, что лежал под крыльцом, — он хуже отравы. И на пайку хлеба я рассчитывать не хотел. Хоть малым, да наказать себя!

На секунду передо мной мелькнул знакомый мне старший сержант. Он стоял всё это время позади всех — лицо бесстрастное, считай, что тоже осуждает. Но он-то лучше других понимал, что случилось, возможно, лучше меня самого. Старший сержант тоже казался сейчас мне красивым.

Когда хлеб был разделен, а я забыто стоял в стороне, бочком подошли ко мне двое: мужичонка в расползшейся пилотке, нос пуговицей, дряблые губы во влажной улыбочке, и угловатый кавказец, полфизиономии погружено в мрачную небритость, глаза бархатные.

— Братишечка, — осторожным шепотком, — ты зря тушуешься. Три к носу — всё пройдёт.

— Правыл-но сдэлал. Ма-ла-дэц!

— Ты нам скажи — где? Тебе-то несподручно, а мы — мигом.

— Дэлым на тры, па совесты!

Я послал их, как умел.

Мы шли ещё более суток. Я ничего не ел, но голода не чувствовал. Не чувствовал я и усталости. Много разных людей прошло за эти сутки мимо меня. И большинство поражало меня своей красотой. Едва ли не каждый... Но встречались и некрасивые.

Мужичонка с дряблыми губами и небритый кавказец — да, шакалы, но всё-таки они лучше меня — имеют право спокойно говорить с другими людьми, шутить, смеяться, я этого не достоин.

Во встречной колонне двое озлобленных и усталых солдат тащат третьего — молодой, растерзан, рожа полосатая от грязи, от слёз, от распущенных соплей. Раскис в походе, «лабушит» — это чаще бывает не от физической немочи, от ужаса перед приближающимся фронтом. Но и этот лучше меня — «оклемается», моё — непоправимо.

На повозке тыловик старшина — хромовые сапожки, ряха, как кусок сырого мяса, — конечно, ворует, но не так, как я, чище, а потому и честней меня.

А на обочине дороги возле убитой лошади убитый ездовой (попал под бомбёжку) — счастливей меня.

Тогда мне было неполных девятнадцать лет, с тех пор прошло тридцать три года, случалось в жизни всякое. Ой нет, не всегда был доволен собой, не всегда поступал достойно, как часто досадовал на себя! Но чтоб испытывать отвращение к себе — такого не помню.

Ничего не бывает страшнее, чем чувствовать невозможность оправдать себя перед самим собой. Тот, кто это носит в себе, — потенциальный самоубийца.

Мне повезло, в роте связи гвардейского полка, куда я попал, не оказалось никого, кто видел бы мой позор. Но какое-то время я не падал на землю при звуке приближающегося снаряда, ходил под пулями, распрямившись во весь рост, — убьют, пусть, несколько не жалко. Самоубийство на фронте — зачем, когда и так легко найти смерть.

Мелкими поступками раз за разом я завоёвывал себе самоуважение — лез первым на обрыв линии под шквальным обстрелом, старался взвалить на себя катушку с кабелем потяжелее, если удавалось получить у повара лишний котелок супа, не считал это своей добычей, всегда с кем-то делил его. И никто не замечал моих альтруистических «подвигов», считали — нормально. А это-то мне и было нужно, я не претендовал на исключительность, не смел и мечтать стать лучше других.

Странно, но окончательно излечился от презрения к себе я лишь тогда, когда... украл второй раз. Наше наступление остановилось под хутором Старые Рогачи. Посреди заснеженного поля мы принялись долбить землянки. Я и направился на кухню с котелками. И возле этой, запряжённой унылыми лошадёнками, дымящейся кухни я заметил прислонённое к колесу ветровое стекло от немецкой автомашины. Кто-то

из солдат раздобыл его, услужливо принёс повару за лишний котелок кулеша, пайку хлеба, возможно, и за стакан водки. Мне налили в котелки похлёбку, и, отправляясь к своим, я прихватил ветровое стекло. Моя совесть на этот раз была совершенно спокойна. Повар и так был наделён благами, какие нам могли только сниться, он не ползал по передовой, не рисковал жизнью каждый день, не ел из общего котла и землянку сам не долбил, за него это делали доброты, которых он прикармливал. И стекло это повар оплатил из нашего солдатского кошта, нашим наваром, нашей водкой. Услужливый солдатик за стекло своё получил — обижаться не мог, — а сам повар на стекло прав имел не больше, чем я, чем мои товарищи. Я же самоутверждался в своих глазах: чувствую, что можно, а что нельзя, подлости не совершу, но и удачи не упущу, перед жизнью уже не робею.

В обороне под Старыми Рогачами мы жили в светлой, с окном — моим стеклом — в крыше, землянке — роскошь, не доступная даже офицерам.

Больше в жизни я не воровал. Как-то не приходилось.

12

Украденный у голодных товарищей хлеб — лично для меня случай, наверное, даже более значительный, чем страшный эпизод у обледенелого колодца. Дядя Паша и Якушин заставили меня тревожно задуматься, украденные полбуханки хлеба, пожалуй, определили мою жизнь. Я узнал, что значит — презрение к самому себе! Самосуд без оправдания, самоубийственное чувство — ты хуже любого встречного, навоз среди людей! Можно ли при этом испытывать радость бытия? А существовать без радости — есть, пить, спать, встречаться с женщинами, даже работать, приносить какую-то пользу и быть отравленным своей ничтожностью — тошно! Тут уж единственный выход — крюк в потолок.

Я стал литератором, не считал себя приспособленцем, но всякий раз, обдумывая замысел новой повести, взвешивал — это пройдёт, это не пройдёт, прямо не лгал, лишь молчал о том, что под запретом. Молчащий писатель вдумается! — дойная корова, не дающая молока.

И я почувствовал, как начинает копиться неуважение к себе.

Не случись истории с украденным хлебом, я бы, наверное, не насторожился сразу, продолжал перед собой оправдывать своё угодливое умолчание, пока в один несчастный день не открыл себе — жизнь моя мелочна и бесцельна, тяну её через силу.

Всех нас жизнь учит через малое сознавать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения, через детское «пожалуйста» — нормы человеческого общения.

Всех учит, но, право же, не все одинаково способны учиться.

13

В Москве проходило очередное помпезное совещание писателей, кажется, опять съезд. Я собирался на него, чтоб потолкаться в кулуарах Колонного зала, встретить знакомых, уже натянул пальто, нахлобучил шапку, двинулся к двери, как в дверь позвонили.

На пороге стоял невысокий человек — одет вполне прилично, добротное ширпотребовское пальто, мальчишковая кепочка-«бобочка», пёстрое кашне. И лицо, широкое, скуластое, с едва уловимой азиатчинкой, снующий взгляд чёрных глаз. Из глубины моей биографии, из толщи лет на меня поплыли зыбкие, ещё бесформенные воспоминания.

— Узнаёшь? — спросил он.

— Шурка! Шубуров!

— Я. Здравствуй, Володя.

Ни мало ни много, тридцать лет назад в селе Подосиновец мы сидели с ним за одной школьной партией. Он скоро бросил школу, исчез из села.

А несколько лет спустя просочился слух — гуляет по городам, рвёт, что плохо лежит.

В первые дни войны один из моих знакомых, возвращавшийся в село через Москву, встретил Шурку на Казанском вокзале. Тот был взвинчен, даже не захотел разговаривать, несколько раз появлялся и исчезал, крутился вокруг грузного мужчины с маленьким потрёпанным чемоданчиком.

Наконец Шурка надолго исчез, появился лишь к вечеру, в руках его был потёртый чемоданчик.

— Пошли!

Завёл в глухой закуток, стал лицом к стене.

— Гляди, да не вякай. Кабана подоил.

Он приоткрыл крышку, чемодан был набит пачками денег.

Мой приятель любил присочинить. Чемодан, полный денег, — эдакая традиционная оглушающая деталь ходячего мифа об удачливом воре. Скорей всего, баснословного чемодана не было. Шурка Шубуров работал скромнее.

Вот он с прилизанными волосами, в тесноватом пиджачке — скромн и приличен — сидит передо мной. И лёгкий шрамик на скуле под глазом — знакомый мне с детства.

— Давно завязал. У меня семья, двое детей, квартира в Кирове, но жизни нет, съедают, не верят, что жить по-человечески могу.

Он скупенько рассказал, что прошёл по всем лагерям:

— По колено в крови, бывало, ходил...

Лет восемь назад он отбыл последний срок и... жить негде, жить не на что, на работу никуда не принимают, прописки не дают. Бродил по Москве, не зная, куда присло-

нить голову — с вокзалов гнали, с отчаяния решился: пришёл на Красную площадь и направился прямо в Спасские ворота Кремля. Его остановила охрана:

— Куда?

— К Никите Сергеевичу Хрущёву. Не пропустите — здесь лягу, идти мне некуда. Или берите обратно, откуда пришёл.

Лечь ему под Спасскими воротами не позволили, забрать обратно не решились — за старую вину отсидел, новой ещё не приобрёл. Его начали передавать с одной охранной инстанции в другую, и везде он твердил одно:

— Хочу встречи с Никитой Сергеевичем. Кроме, как у него, правды не найду.

Раскаявшийся преступник, жаждущий ступить на путь добродетели, ещё во времена, когда рыскали «чёрные вороны», вызывал симпатии, прошёл косяком по нашей литературе, выдавался за образец высокого человеколюбия: «Ни одна блоха не плоха!» Жестокость редко обходится без сентиментальности. И это-то помогло Шурке Шубурову. Охранные органы прониклись сочувствием настолько, что доложили о нём, бывшем воре, желающем стать честным советским гражданином, Хрущёву. А уж тот кинул через плечо: помочь! И Шурку ласково, почти с почётом отправляют в главный город той области, где он родился, там его ждёт квартира, предоставляется работа. Но...

— Съедают. Не могут простить — Хрущёв мне помог.

Нельзя не верить — теперь всё, что связано с ниспровергнутым главой, вызывает недоверие и вражду. Нельзя и забыть, что сидел с ним за одной партией, шрамик на скуле — не след лагерной жизни, помню его с детских времён.

Но как и чем помочь? Я не Хрущёв, кинуть через плечо — помогите! — не могу. Но есть какие-то знакомые в Кирове, не попробовали ли действовать через них?

— Знаешь, я без копейки. А здесь жена и дети...

У меня в эту минуту в кошельке только двадцать пять рублей. Договариваемся о встрече — выясню, заручусь поддержкой, отправишься обратно, ну, а о деньгах на дорогу не беспокойся.

Друг детства, натянув свою кепочку, уходит от меня.

Через час я в Колонном зале, встречаюсь с писателем из Кирова, на помощь которого рассчитываю. Он уже знает о появлении в Москве Шурки Шубурова, Шуркина жена нашла его на совещании, пожаловалась на безденежье, взяла... двадцать пять рублей.

Жена с детишками на следующий день приходит ко мне на дом, но меня не застаёт. Мои домашние, как могли, обласкали её, посадили за стол, умилялись детишками, снова дали денег.

А спустя ещё день или два я получаю по почте извещение — явитесь к следователю в одиннадцатое отделение милиции, что находится рядом с ГУМом.

Следователь милиции, молодой человек со значком юридического вуза в петлице, объявляет: Шубуров арестован в ГУМе — залез в карман. Мелкое воровство осложняется воровским прошлым.

— Провинция, — не скрывает следователь своего презрения. — В ГУМе стал промышлять. Масса народу, толкучка — удобно, а не знает, что где-где, а уж тут-то следят всюду — не развернёшься. В его кармане найдены деньги — восемнадцать рублей, указывает на вас — дали вы.

— Дал.

Я рассказываю о нашей встрече, подписываю протокол, прошу следователя: не нарушая законности, проявить снисходительность и человеческое понимание — двое детей на руках и, вполне возможно, вернуться на прежний путь вынудила его травля, которой он подвергался в родном городе.

Следователь обещает мне, но без особого энтузиазма:

— Право же, мало чем могу помочь. Схвачен на преступлении, заведено дело — не прикроешь. Разрешите, я распишусь на повестке, иначе вас отсюда не выпустят.

И действительно, милиционер с монументальной фигурой и сумрачной физиономией, стоящий у выхода, придирчиво и подозрительно оглядывает меня с головы до ног. Не то место, где оказывают доверие.

Я чувствовал себя пакостно, словно Шурка попытался обворовать не какого-то неизвестного покупателя в ГУМе, а меня. Зачем ему это было нужно? Какие-то деньги он имел, голодным не был, знал, что скоро встретимся, мог рассчитывать на мою помощь.

В толкучке прохожих на людной Октябрьской улице, неся досаду и недоумение, я вдруг подумал: Шурку уж наверняка не раз уличали, как меня с украденным хлебом, и он снова и снова повторял тот же номер. Значит, не проникался к себе самоубийственным презрением — проходило мимо, ничуть не задевало.

Жизнь учит через малое сознавать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения...

А чему я, собственно, удивляюсь: из многих миллионов только один человек оказался столь чуток, что заметил в упавшем яблоке всемирно масштабное. Мне доступно такое? Ой нет.

Все люди сходны друг с другом, никто не может похвастаться, что имеет больше органов чувств, принципиально иное устройство мозга, любой про себя может сказать: «Ничто человеческое мне не чуждо». Но как эти люди не похожи, как по-разному они глядят на мир, различно чувствуют, различно поступают.

Никак не проникнемся азбучным: личность по-своему воспринимает мир.

Сколько личностей — столько миров!

Хотелось бы знать: а как случай у обледеленного колодца подействовал на дядю Пашу? Изменился ли он после своего палачества? Может, стал садистом или, напротив, казнит себя за содеянное?

Навряд ли, скорее всего остался прежним. Если уцелел на войне, то теперь он уже почтенный старик. Прожил жизнь, родные и знакомые, наверно, не считали его злым человеком.

14

Во мне обнаружилось нечто моё личное лишь после того, как я, голодный, столкнулся из-за полбуханки хлеба с голодными товарищами.

Кто я таков? Каковы мои личные качества? Я это могу узнать только тогда, когда соприкоснусь с окружением, почувствую на себе его влияние.

Бессмысленно говорить о личности, отрывая её от окружающей среды. Без неё личность просто не проявится.

А для любого и каждого самой существенной частью окружающей среды является его человеческое окружение, всегда каким-то образом построенное.

Каждый реагирует на него по-своему, не похоже на других.

И каждый находится от него в зависимости.

Зависимость ещё не значит обезличивание. Наоборот, влияние человеческого окружения и открывает уникальные особенности отдельного человека.

Ты среди масс порождаешь меня. Я в числе прочих — тебя.

До сих пор мы рассматривали случаи, когда массы дурно влияют на личность. Однако бывает же и наоборот.

В конце августа 1947 года я возвращался из своего села, где проводил каникулы, снова в институт. В Кирове — пересадка на московский поезд.

Ещё страна не улеглась после войны, ещё продолжали возвращаться и эвакуированные, и демобилизованные, и партии вербованных рабочих катили — одни на восток, в Сибирь, другие — на запад, в разрушенные войной области, и соединялись разбросанные семьи, и началось уже бегство из голодных деревень, и потоки командированных... Великая страна кочевала, заполняя вокзалы пёстрым народом, спящим вповалку, мечущимся, голодающим, напивающимся, страдательно мечтающим об одном — о билете на нужный поезд!

К окошечку билетной кассы выстроилась огромная, через всю привокзальную площадь, очередь, тревожно колышущаяся и в то же время обречённо терпеливая, охваченная зыбкими надеждами. Все надеяться не могли — очередь слишком велика, билетов выбрасывалось слишком мало. Растянутый хвост гудел от сдержанных голосов, там сочинялись легенды: «Могут пустить "Пятьсот весёлый", дополнительный поезд с товарными вагонами, тогда-то уедем все...» Творили легенды и тут же опровергали их: «"Пятьсот весёлый" в столицу?.. Не ждите, Москва "весёлые" поезда пропускает стороной». Хвост очереди шумел, с лёгкостью отказывался от надежд, а голова — отрешённо молчалива, замороженно неподвижна. Здесь в счастливой близости к закрытому окошечку кассы стояли те, кто выстрадал это счастье несколькими сутками вокзальной жизни, кто в этой очереди коротал бессонные ночи, много раз впадал в отчаяние, истерзан, изнеможён, держится из последних сил, полон сомнений, не верит уже в удачу. Очередь через всю пас-

мурную, мокрую от дождя площадь — парад ватников, брезентовых плащей, шинелей со споротыми погонами, платков, кепок, меховых не по сезону шапок, громоздких мешков, чемоданов, вместительных, как сундуки, сундуков, приспособленных под чемоданы.

Наконец голова очереди, стоявшая вблизи окошечка в отрешённом окаменении, вздрогнула, подалась вперёд, и дрожь прошла по всей длинной очереди, подавив смех, смыв улыбки, оборвав на полуслове разговоры. Касса открылась! И перекатный ропот от начала в конец, удивлённый и недовольный — кассирша вывесила цифру мест, предназначенных для распродажи. Ропотать не было ни нужды, ни смысла, без того каждый знал — на всех не хватит. И ропот быстро сменился деловым шевелением.

Середина очереди, её обильное туловище, высалала незамедлительно вперёд своих делегатов-добровольцев, чтоб досматривали и не пускали ловкачей, желающих просочиться к заветному окошечку. Сразу же среди пятка решительных делегатов, в те минуты, пока они шагали к голове, выделился атаман — дюжий парень, кубаночка венчает рубленую физиономию, напущенный чуб, нахальные глаза, золотой искрой зуб во рту.

— Стройся! Стройся по порядку! — напористым старшинским тенорком начал командовать он. — Вы, гражданочка, стояли тут или только приклеились? А то мы можем и за локоток. У нас быст-ра!..

Но ему сразу же пришлось почтительно отступить перед плечом с малиновым погоном, перед фуражкой с малиновым верхом — железнодорожный милиционер с дремотно недовольным лицом бесцеремонно растолкал очередь и кивнул молодой женщине:

— Сюда!

Втолкнул её третьей от окошечка.

Женщина была нищенски одета, из просторного, с мужского плеча, затасканного ватника тянулась тонкая, беззащитная шея, щёки в нездоровой зелени, запавшие глаза в сухом беспокойном блеске, руки зябко прячутся в длинные рукава.

— Правонарушителей опекаешь, браток? — понимающе осведомился парень в кубанке.

Милиционер не счёл нужным повести в его сторону даже бровью, всё с тем же дремотным недовольством на лице, выражающим, однако, убеждённую в своей силе и величии, удалился.

Парень долго и оценивающе изучал женщину, слепо глядящую перед собой, наконец авторитетно пояснил:

— Лагерная шалава, из заключения. Стараются сплавить быстрее, чтоб не шманала на вокзале.

— А выгодно, братцы, быть жуликом.

— Заботятся.

— Мы тут четвёртый день околачиваемся, нас бы кто за ручку подвёл.

С головы к хвосту по всей очереди потёк недоброжелательный говорок:

— Попробовать тоже... авторитет заработать.

- Попробуй, тогда на казённый счёт отправят.
- Только не в ту сторону, куда целишься.
- Это чтой там случилось?
- Да партию лагерных девок поставили в очередь.
- Ну-у, теперь нам ещё сидеть.
- За нас лагерные сучки поедут!
- Ах, мать-перемать! Нет жизни честному человеку!

А парень в кубаночке ораторствовал, подогревал:

— Чей-то билет ей достанется! Может, мой, может, твой!.. Я за родину кровь проливал, а она державе пакостила. Зазря бы в лагерь не сунули. И вот её берегут, а на меня плевать!..

Женщина молчала, напряжённо распрямившаяся, с вытянутой из ватника бледной тонкой шеей, худое лицо безжизненно замкнуто, глаза прячутся в глазницах, только в неестественно вскинутых плечах ощущалось — всё слышит, переживает враждебность.

Наконец два человека, стоявшие впереди неё, не участвовавшие в осуждении, получили свои билеты, с резвостью исчезли. Женщина пригнулась к окошечку кассы. И все кругом замолчали, только ели глазами её спину в объёмистом ватнике, уже не находили слов, чтоб выразить свою неприязнь и обиду. Даже парень в кубанке только сплюнул в сердцах.

Но что-то случилось возле окошечка, женщина задерживалась, волновалась, сдавленно объясняла.

— Ну, что там? Бери да проваливай! — не выдержал парень.

Мужичонка с лисьей физиономией и тяжким сидором на горбу, который, однако, не мешал прыткой подвижности, сунулся сбоку, прислушался и откачнулся в ликование:

— А у неё, ребятушки, денег-то нету! Торгуется — на билет не достаёт!

Парень в кубанке победно из-под чуба оглядел своё окружение, расправил плечи и крикнул уже по-начальнически:

— Пусть проваливает! Эй, кума, чисти место!

Женщина послушно откачнулась от кассы, серое в нездоровую зелень узкое лицо, плавающие в глубоких глазницах глаза.

— Не выгорело! — Парень показывал радостно золотой зуб, выпячивал грудь, чувствовал себя героем. — Сходи-ка с ручкой к тем, кто привёл. Может, отвалят.

И женщина с трудом разлепила бледные губы:

— Смейся!.. К детям еду, сама больна... Нету денег, откуда?.. Сколько было — хранила, двое суток уже не ела... Смейся!

— Вот, вот, пожалуйста, а я пожалую, — парень, показывая золотой зуб, картинно поворачивался в разные стороны, ждал поддержки.

Но на этот раз кучная голова очереди не отозвалась, все угрюмо отворачивались. Отворачивались, не хотели знать чужой беды. Минутная неловкая тишина. Женщина грязным рукавом ватника досадливо смахивала слёзы. И мужичонка с большим сидором глядел на неё, конфузливо мялся, побрякивал.

Из-за его спины — «ну-кося, расшаршился!» — вынырнула старушка, развязала платочек, скупенько заковырялась в нём сухонькими пальцами, протянула бумажку.

— Сколь не хватает-то? Немного, чай?.. Возьми, милая, может, ещё кто даст. Больше-то не могу...

Старушка совала бумажку женщине, та слабо отмахивалась:

— Не, бабушка, что уж...

— Да бери, бери! Стыдного нет. Не все же без сердца — поймут...

Мужичонка с сидором решительно крикнул, с досадою полез за пазуху.

— И правда, девка, с миру по нитке — голому рубаха. Я тоже вот к детям еду, с гостинцами... Да бери ты, коли дают!

Женщина глядела в землю и не шевелилась, над впалыми щеками проступили два вишнёвых пятна. Чей-то густой решительный бас взорвался за платками и кепками:

— Чего вы как нищенке суете! Пройди кто по очереди да собери! Не откажут!

Парень в кубанке с размаху хлопнул себя по коленке:

— Вер-на! Организация нужна!..

Он сорвал с себя кубанку, достал из кармана пятирублёвую бумажку, повертел её перед толпой — любуйтесь, что жертвую! — шагнул к старухе.

— Кидай, бабуся, свой рублишко! И ты, дядя!.. Граждане! Кто сочувствует... Граждане! Не обременяя себя, так сказать, по мере возможности!.. Каждый может оказаться в стеснительном положении... Спасибо!.. Тронут!.. Ещё спасибо...

Очередь уставших, издёрганых людей, только что накалённых недоброжелательством, только что презиравшая эту приведённую милицией женщину, завидовавшая ей, считавшая едва ли не врагом, теперь охотно бросала в подставленную кубанку смятые деньги.

А женщина смотрела вниз, щеки её цвели пятнами и блестели от слёз.

Парень, раздумываясь, посверкивая зубом, прижимая кубанку, прошествовал к окошечку кассы, обернулся к очереди.

— Прошу кого-нибудь сюда — для контроля! Хотя бы ты, дядя, проследи: не для себя, пользуясь случаем, только для неё!.. Чтоб не было неприятных недоразумений, чтоб честно и благородно до конца!

И опять из-за платков и кепок прокатился давящий бас:

— Бери и себе заодно, раз так! Что уж, всех одним билетом не спасёшь!

— Нет, я честно и благородно до конца!.. Ни в коем разе!

Женщина стояла, уронив вдоль тела рукава ватника, и плакала.

15

Парень в кубанке достал билет, сел в поезд. И что — стал другим, уже не хамовитым по натуре, а чутким? Наивно думать. Он остался прежним.

Но если он окажется в таком человеческом устройстве, которое заставит его не от случая к случаю, а год за годом поступать отзывчиво, не хамовито, то можно ли сомневаться, что отзывчивость у него превратится в привычку, привычка — в характер. Изменится личность.

Люби ближнего своего, не убий, не лжесвидетельствуй!.. Пророки и поэты, педагоги и философы тысячелетиями на разные голоса обращались к отдельно взятому человеку: совершенствуйся сам, внутри себя!

Я бы рад самоусовершенствоваться — любить, не убивать, не лгать, — но стоит мне попасть в общественное устройство, раздираемое непримиримым антагонизмом, как приходится люто ненавидеть, война — и я становлюсь убийцей, государственная система выдвигает диктатора, он сажает и казнит, заставляет раболепствовать, я вижу это и молчу, а то даже славлю — отец и учитель, гений человечества! В том и другом случае лгу и не могу поступить иначе.

Благие призывы моралистов ко мне: совершенствуйся! Они давно доказали своё бессилие.

Мы все воедино связаны друг с другом, жизненно зависим друг от друга, в одиночку не существуем, — а потому самосовершенствование каждого лежит не внутри нас: моё — в тебе, твоё — во мне!

Не отсюда ли должна начинаться мысль, меняющая наше бытие?

1975—1976



Рисунок Владимира Тендрякова. 1945 г.



ВОСПОМИНАНИЯ О «ЛИТЕРАТУРНОЙ МОСКВЕ»

Ещё одно письмо из писательского архива В.Ф. Тендрякова – фрагмент воспоминаний об Э.Г. Казакевиче, которые превращаются в разговор о главном противостоянии эпохи – противостоянии личности и безличной силы государства.

Это разговор о «Литературной Москве», рассказ об очередном собрании и экстазе всеобщего осуждения, где «все как один», и дружный лес рук «ату его» – маленький урок истории, той самой, которую так старательно пытаются вычеркнуть из памяти.

Судя по адресу на конверте, письмо с просьбой Г.О. Казакевич написать в сборник воспоминаний, прислано где-то году в 1974 или 1975, позже мы жили уже по другому адресу. Ответ, видимо, датируется тем же временем и сохранился в виде написанного от руки черновика, который мы расшифровали. К черновику были прикреплены странички воспоминаний, отпечатанные на машинке, второй экземпляр.

Прим. Марии Тендряковой

Уважаемая Г[алина] Ос.[иповна]

Я долго, очень долго, не отвечал Вам только потому, что не знал – что сказать, как выполнить Вашу просьбу. И что скрывать, проходило время, проходили и терзания, успокаивался, забывал, пока новое Ваше письмо вновь не заставляло меня метаться в исканиях. Не терялся и всё ждал, ждал, что вот-вот нащупаю нечто такое, которое поможет мне написать об Э.Г. – искренне, полностью соответствующее действительности и в то же время приемлемое для печати. Ведь разговор идёт об участии в сборнике воспоминаний.

Вот теперь, после, право же, усиленного до болезненности копания в себе, я окончательно понял: всё, что я помню об Э.Г., всё, что меня с ним связывало, не может служить

Письмо Тендрякова Галине Осиповне Казакевич. Подробные комментарии к нему опубликованы в журнале «Знамя» №7, 2019 г.

Печатается по журнальной публикации: Розенблюм О.М., Тендрякова М.Ф. «Наше поколение богато примерами солдатского мужества и почти совсем не знало гражданского...». Владимир Тендряков об Эммануиле Казакевиче // Знамя. 2019. №7.



материалом для сборника. Нас свели литературные интересы, право же, круто замешанные на социальных проблемах. Я не знал Э.Г., так сказать, в бытовом плане, не валялся вместе с ним в окопах, не ходил в разведку, я знал [его] как общественного деятеля, ищущего литератора. Наше общение ограничивалось только тем, что мы садились друг против друга и разговаривали. И темы наших разговоров, если они даже были наивны и примитивны (ибо наивно и примитивно мыслило в то время, право же, всё наше общество), всё равно не для теперешней печати. Я не могу и не хочу ничего выдумывать об Э.Г., не могу приглаживать его, причёсывать на благопристойный манер. Это оскорбительно было бы для него, оскорбительно и для меня. Можно бы сказать общие добрые слова об Э.Г., и я это сделал в своё время для радио. Но общие слова не воспоминания и не анализ столь сложного и глубокого человека, каким был Э.Г., на них не развернёшься, при всём желании не вылезешь за рамки жалкой страницы. Я решительно бессилён написать что-то такое, которое могло бы быть помещено в сборнике. Но, чтоб как-то показать Вам — у нас было нечто общее, нас связывали одни интересы и одни стремления, — я решил записать самый запомнившийся мне эпизод, показывающий Э.Г. как чистого, мужественного, сильного человека, сыгравшего высокую роль в развитии нашей литературы, а значит и в развитии нашего общества. Напечатать его Вы вряд ли сможете, примите его просто к сведению. Конечно, этим не ограничиваются мои воспоминания об Э.Г., но остальное не столь конкретно-событийно, зато ещё более, так сказать, не публикуемо. Если же Вы, Г[алина] О[сиповна], найдёте возможным напечатать нечто подобное, то я к Вашим услугам.

Ещё раз, не могу и не хочу говорить о Казак[евиче] нечто обще-безликое, не хочу перед его памятью, не хочу и потому, что встреча с ним для меня была моим собственным становлением как человека.

Надеюсь, что тут Вы поймёте меня.

С глубоким уважением, ВТ

Весна 1956 года. Страна второй раз хоронит Сталина, теперь уже как идеолога. Редкий человек тогда не проверял сам себя, не «сжигал то, чему поклонялся».

Именно это время ломки взглядов, мнений, самой жизни и свело меня с Эммануилом Генриховичем Казакевичем. Да, не более, не менее — само время.

Группа энтузиастов отвоевала разрешение на выпуск альманаха «Литературная Москва», который по замыслу должен создаваться коллективными усилиями самих писателей, а значит, пользоваться и какой-то относительной независимостью. Явление само по себе недопустимое, крамольное в годы сталинизма. Казакевич, инициатор, вдохновитель и будущий главный редактор альманаха, пригласил меня участвовать в редколлегии.

В трудах и горестях, преодолевая нападки, наветы, многочисленные запреты, рождалась вторая книга альманаха. Члены редколлегии установили дежурство в типографии на Ваволовой, считывали чистые листы.

Мы уговорились дежурить на пару с Казакевичем.

Ночь. Мы сидим в пустой, только что отремонтированной, ещё не обставленной, пахнущей свежей краской комнате, ждём очередной порции листов, беседуем. В альманахе идёт роман Казакевича «Дом на площади». Я его уже прочитал в рукописи, и Казакевич от меня добивается:

— Вам он должен не понравиться. Говорите прямо, не стесняйтесь.

— Он меня не удивил, Эммануил Генрихович. Но есть прекрасные места, завидные, впрочем, как и в любой вещи Казакевича.

Казакевич вздохнул:

— Пока я его писал, время перепрыгнуло через меня.

— Дай-то бог, чтоб так было и дальше.

— Да, но большой радости не испытываешь, право, когда открываешь для себя: всё, что ты сделал, принадлежит прошлому. Нынче каждый писатель — начинающий, если даже он сед и за спиной у него десятки томов.

— А «Двое в степи»?.. — напомнил я. — Прошлое не признало эту повесть, не приходит ли её время?

— Я бы сейчас и её написал иначе, — ответил сдержанно Казакевич.

И мы замолчали.

Это молчание я помню до сих пор, потому что оно заполнено было надеждами и страхом. В те минуты мы думали о величии будущей литературы, совершенно не похожей на ту, какую мы знали до сих пор, и конечно же мы тогда верили в расцвет русской общественной мысли, надеялись, что скоро распутаем все запутанные противоречия нашей беспокойной жизни. Распутаем противоречия и заглянем в тёмные закоулки истории своей страны. В тот ночной час мы свято верили в будущее, но и страшались — сумеет ли мы, лично мы, Казакевич и Тендряков, справиться с теми задачами, какие поставит перед нами наше многообещающее завтра? А вдруг да мы окажемся слабы, немощны, мы, отравленные привычками прошлого, его духовной скудостью, его умственной робостью!..

Казакевич первый перебил молчание.

— Во всяком случае, я «Домов на площади» строить больше не буду! — заявил он.

Роман «Дом на площади» лежал перед нами ещё не в сброшюрованных листах, он ещё не появился на свет. Редкий писатель мог столь беспощадно отнестись к своему труду. «Сожги то, чему поклонялся...» Своего рода клятва — достичь великого, оказаться достойным тех перемен, которых ждёт каждый.

С той ночи до сего дня, когда я пишу эти строки, прошло без малого два десятилетия, давно уже нет в живых Казакевича, а я недавно миновал через своё пятидесятилетие. Всё оказалось не так, как мы тогда думали — старые идолы медленно тлеют и распространяют зловоние, наша литература, увы, ещё не удивляет своим величием, довольствуется лишь скромными успехами, общественная мысль до сих пор не осветила тёмные закоулки нашей истории... А Казакевичу так и не удалось совершить то, о чём он дерзновенно мечтал. Мне пока — тоже.

Впрочем, мы очень скоро начали тогда сомневаться в возможности решительных перемен. После короткого хмеля незамедлительно наступило тяжёлое похмелье. Вокруг двух выпущенных книг альманаха «Литературная Москва» поднялась свистопляска. Такие писатели, как Лукашевич (помнит ли кто его ныне?), истерически вопили в печати: «Редактора им! Редактора!» Начались бесконечные вызовы в секретариат Союза писателей, где нас допрашивали как злоумышленников. Журналы перепугались, что та жалкая независимость, какой пользовался альманах, отобьёт у них всех авторов. И третья книга «Литературной Москвы» была незамедлительно прикрыта — крамольна!

А что называли крамолой? В третьей книге шли повесть М. Булгакова «Жизнь Мольера», моя повесть «Чудотворная», несколько стихотворений молодого Евтушенко.

Я только что заявил — время не оправдало наших надежд, не подняло до величия литературу, не развило общественную мысль. Да, но это не значит, что оно совсем застыло, не продвинулось вперёд ни на пядь. Оглянемся и сравним — то, что раньше казалось дерзким, сейчас выглядит, право же, смехотворно безобидным. Кому нынче придёт в голову назвать крамольной изданную и переизданную светлую повесть Булгакова о Мольере, или «Чудотворную», которая своей добропорядочностью надоела даже школьникам. А вспомните, каким беззаветно смелым казался нам роман Дудинцева «Не хлебом единым». Лет пять тому назад этот роман снова вышел массовым тиражом и... ни звука о смелости. У смелости теперь иные мерки, у дерзости иные рубежи.

Но тогда запрещение третьей книги альманаха «Литературная Москва» сопровождалось шумным разгромом, жестоким избиением, в которое даже — шутка сказать! — включился сам глава государства Н.С. Хрущёв.

Я не был приглашён на высокую правительственную встречу, когда несколько переложивший за воротник гостеприимный хозяин, в присутствии всей культурной элиты страны, с налившимся кровью лицом кричал на Казакевича и Алигер: «Не верю вам!» Обзывал врагами. Пусть очевидцы не забудут рассказать об этом.

Я же присутствовал на более скромном судилище — партсобрании московских писателей, которое для вящего устрашения было собрано не в Доме литераторов на Воровского, а в Краснопресненском райкоме партии.

Большой сумрачный зал, неизменная сцена со столом президиума. В президиуме — первый секретарь Краснопресненского райкома, уже достаточно известная, но ещё не достигшая пока своих должностных высот товарищ Фурцева. Председательствует Сергей Сергеевич Смирнов, уже тогда мой хороший знакомый.

Ах, Сергей Сергеевич, Сергей Сергеевич! В общем-то, добрый и честный человек, больше того, доказавший даже свою доброту делом. Но как часто вы, верно, морщитесь, вспоминая свою общественную активность, в частности председательские обязанности на собраниях. Вы председательствовали, когда громили «Литературную Москву», вы председательствовали и тогда, когда уничтожали Пастернака...

Казакевич, Алигер и другие члены порочной редколлегии сидят впереди, я — сзади, в конце зала. Это моё преимущество перед ними, моё странное право. То ли потому, что я моложе остальных, то ли потому, что в данное время случайно нахожусь, так сказать, на волне — меня склоняют в критике вместе с Овечкиным — мне попадает меньше других. Ругают, поносят, клянут Казакевича, Алигер, Рудного, но не Тендрякова. Я могу позволить себе сесть подальше, не на виду, в окружении приятелей, которые разделяют мои взгляды, симпатизируют альманаху. Если же это сделает Казакевич, то непременно на его голову посыплются упрёки: «Ага! Спрятался! Стыдно показаться людям на глаза!» Казакевич мужественно занял место в первом ряду, перед самым президиумом, на виду. Где-то там и Алигер, и Рудный... Там, но не рядом с Казакевичем, по отдельности друг от друга, ибо это тоже может послужить поводом для упрёков: «Любуйтесь! Вот она групповщина! Налицо!»

Однако жалкие предосторожности. Как бы там ни садились, но этот многолюдный ареопаг, собственно, собрался для того, чтобы упрекать, избличать, клеймить! И один за другим выступают ораторы — избличают, клеймят!

Меньше всего подвергается критике и разбору содержание предосудительных альманахов, лишь изредка, походя недоброжелательно упоминается название того или иного произведения (чаще всего — «Рычаги» А. Яшина), главная ж тема обвинения — всё та же групповщина. Создаётся невольное впечатление — если б мы делали своё дело не вместе, а по отдельности, то ничего криминального никто нам предьявить не мог.

Сейчас я не без некоторого изумления вспоминаю, как редколлегия альманаха, в большинстве своём известные писатели, достаточно пожившие на свете люди, словно дети, упрямо отпирались — не было у нас групповщины, бог с вами! И как легко, победоносно нас уличали во лжи — не крутите, не морочьте нам головы, была! И почему это нам никому не приходило на ум признаться: да, была! Собралась группа литераторов, добровольно и безвозмездно, в ущерб своему творчеству, тратя время, силы и нервы, пыталась обогатить нашу литературу новыми авторами и новыми произведениями, устранить какие-то рогадки на подступах к печатному слову, поднять новые темы и новые проблемы, сделать какой-то посильный вклад в культуру общества. Конечно же, такое честное признание не спасло бы нас от обвинения, но пришлось бы уж тогда говорить по существу, по крайней мере, мы не пребывали бы в ложном положении, не выглядели дураками.

Шло привычное бичевание. Привычное уже потому, что все собравшиеся хорошо помнили недавние судилища времён борьбы с безродными космополитами. Ораторы изливали своё негодование, а из зала нет-нет да летели возмущённые возгласы: «Позор!», «На трибуну их!». То есть тащи на лобное место. Как в добрые сталинские времена...

Наконец, прения кончились, председательствующий объявил о голосовании, при этом посчитал нужным строго напомнить, чтоб никто из присутствующих не уваливал от своих обязанностей, не сидел сложа руки, а открыто голосовал — или за осуждение, или против осуждения, или за «воздержался». Воздерживаться втихую, не открывая себя, не поднимая руки — запрещено!

Такие добродетельные призывы обычно — глас вопиющего в пустыне. Можно отнять у человека волю, силу, совесть, но отнять стремление спрятаться, исчезнуть в общей массе очень и очень трудно. Сколько людей в годы репрессий сохранили и жизнь, и даже какую-то долю своей порядочности тем, что умели вовремя становиться невидимками — не подавали голоса, когда их призывали говорить, не тянули рук, когда им предлагали голосовать...

— Итак, — объявляет председательствующий, — кто за то, чтобы осудить литературную групповщину Казакевича и компания? Прошу поднять руки.

Лес рук. Не сплошной, нет, но достаточно густой. Один из моих товарищей, мой однокашник по Литературному институту, с кем я, сидя бок о бок, только что откровенничал, кто почувствовал мне и, ругаясь, искренне, привычно вскидывает вверх руку. За осуждение!.. Но остальные мои товарищи сидят возле меня с замороженными лицами, не шевелятся. Для президиума они невидимки.

— Кто против?..

Неловкое шевеление в зале, и ни одной руки.

— Кто воздержался?..

Ни одной... Ой, нет. В первом ряду подымается рука. И зал, колыхнувшись, привстаёт, молчаливо и почтительно. Рука Казакевича — беспомощная, щемяще жалкая в своём одиночестве. Но она поднята, эта рука! Она привлекает внимание...

Эммануил Генрихович старше меня на десять лет, но всё-таки мы с ним люди одного поколения — одному радовались, одному огорчались, дышали и отравлялись тоже одним, на одной войне получили раны. Наше поколение богато примерами солдатского мужества, и почти совсем не знало гражданского... Мы всегда гордились, что мы солдаты, гордились своей грубостью, своей жестокостью к себе и другим, по-солдатски безоговорочно уважали чужой авторитет, способность мыслить нам заменял приказ, а наша совесть не выходила за рамки исполнительности. Откуда солдатам, привыкшим по команде ходить в ногу с другими, научиться отстаивать своё личное — свои взгляды, своё убеждение, свою волю. И вполне естественно, что люди с солдатской душой, расстреливаемые по приказу Сталина, с солдатским же мужеством смотрели в зрачки карательных винтовок и преданно кричали: «Да здравствует Сталин!» Признать палачом столь высокий авторитет дерзости у них уже не хватило. Человечество вырождается, разучится не только дерзать мыслью, но и вообще мыслить, если оно ограничится одним лишь солдатским мужеством. Нам больше всего сейчас нужно мужество личности, умеющей отстоять своё перед другими. Мужество одного, выступающего против большинства, ибо глубочайшее заблуждение, что большинство всегда и во всём неукоснительно право. Тысячи примеров говорят обратное. Во времена Коперника подавляющее большинство считало, что земля — пуп вселенной, солнце кружится вокруг неё, а прав оказался дерзкий мыслитель. Развитие человечества движется не заурядным мнением большинства, — мнением коперников, осмеливающихся не соглашаться с большинством.

Поднятая над залом одинокая рука Казакевича. Тот, кто её видел, может считать, что был свидетелем одного из первых проявлений гражданского мужества после казарменной эпохи Сталина. Если не самым первым...

Пусть этот случай нам теперь кажется весьма скромным — всего-навсего публично воздержался, — но не с него ли начинается тот длительный и тяжёлый процесс освобождения от духовной солдатчины, который с проторями и убытками продолжается по сю пору.

Собрание кончилось, все расходились. Направляясь к раздевалке, я столкнулся с Казакевичем. Мы улыбнулись друг другу. Какая у меня была улыбка — не знаю, у него — мученическая, когда далеко не все нужные мускулы лица приходят в движение.

Мы не остановились, чтоб переброситься парой слов, мы даже не кивнули друг другу головой, потому только, что были в окружении людей — на нас глазели с острым любопытством, с особой пристальностью, а значит и могли, не дай бог, подумать — вновь проявляем групповщину, о чём-то сговариваемся. Психологический штрих, сейчас кажущийся столь нелепым, что может вызвать лишь недоумение у нынешнего молодого человека. Уж он-то наверняка лишён начисто такой стеснительности, да и у меня она давно отмерла, — теперь

в подобных случаях подхожу, завязываю разговор, нисколько не беспокоюсь, что увидят, услышат, осудят со стороны. На здоровье!

Мы обменялись улыбками и миновали друг друга. Со мной шёл мой товарищ, тот самый, который с привычной готовностью вскинул руку, чтоб осудить. Он, конечно же, был сконфужен немного, виновато говорил:

— Чёрт! Как только услышу: «Кто — за?», рука сама дёргается вверх.

Он довольно известен, часто слышу о нём, нечасто встречаюсь, не вспоминаю об этом случае. Думается, он его совсем забыл, но почти убеждён — сегодня его рука не столь независима от хозяина.

В очередь за пальто я встал за спиной поэта с громким именем. Ровесник Казакевича, наделённый недюжинным талантом, человек со сложной судьбой и тяжёлым болезненно мнительным, самоедски-самолюбивым характером, он с ходу, сипя одышкой, начал мне выговаривать:

— Ты — русский парень! Чего ты связался с этим еврейским кагалом?

И тут-то, наконец, я взорвался. Кажется, я тогда кричал, что он поэт конченый, пусть пишет стихи на спичках, убеждает детей не баловаться огнём!..

А ведь я оказался не прав, — этот поэт написал ещё много хороших стихов. Среди них были и такие, которые защищали достоинство человека. Сложен же, однако, род людской.

1975 г.

Из воспоминаний Ларисы Эммануиловны Казакевич

...В своём выступлении Э.Г. Казакевич отверг все обвинения в «измах», сказал, что заграничные отзывы ему и другим членам редколлегии неизвестны, поскольку информации об этом не поступает. (Добавлю от себя: наверняка сказал в общих чертах, что критику учтёт.) После папиного выступления поговорили ещё — по поводу его непризнания ошибок. В том числе Долматовский сказал, что он знает об отваге Казакевича на фронте, а вот сейчас ему не хватает смелости признать свои ошибки. А потом было голосование. Кто за то, чтобы осудить, признать и т.п.? Лес рук. Кто против? Папа поднял руку и увидел ещё одну поднятую руку в конце зала. Он подумал: «Кто этот идиот?». Оказалось — Тендряков.

Казакевич Л.
Об альманахе
«Литературная
Москва» //
интернет-газета
«Мы здесь»
newswe.com





К. Г. Паустовский

УЧИТЕЛЬ. О КОНСТАНТИНЕ ПАУСТОВСКОМ

Мне думается, практически связь времён проявляется не в чём ином, как во взаимоотношениях учителя и ученика, в передаче духовных ценностей от старшего к младшему.

Константин Георгиевич Паустовский не знает и не может знать всех своих учеников, их по стране не тысячи — миллионы. В любом городе, в любой деревне от Колхиды до Белого моря, от берегов Балтики до Тихого океана — всюду можно встретить горячих поклонников Паустовского. А уж если уважаешь писателя, то, значит, чему-то учишься у него неизбежно.

Себя я могу считать дважды учеником Константина Георгиевича. Он вошёл в моё детство в компании Дюма и Жюль Верна, он прошёл по моей юности вместе с Чеховым и Толстым. Он был тогда для меня одним из многих, но не похожий на остальных. Он учил улавливать ясную праздничность природы, заставлял верить, что мир, окружающий тебя, столь же прекрасен, как прекрасны живущие в нём люди, чистые душой, чуждые злобы и зависти. Я ещё тогда не осознавал, что добрые книги Паустовского стали моими педагогами, просто дышал ими.

Но случилось нечто большее, стал моим прямым педагогом и сам автор этих книг. На протяжении нескольких лет в аудитории Литературного института Константин Георгиевич занимал перед нами, студентами, место наставника.

И вот тут-то мне довелось получить уроки: чем отличается инертная доброта, качество не столь уж и редкое в людях, от доброты активной, встречающейся куда реже.

Как-то на семинаре разобрался рассказ, помню, об одной продавщице и об одном покупателе, о их нежной любви, так сказать, не отходя от прилавка. Право, он давал повод к резкой критике, и мы с молодым азартом набросились на автора, своего же товарища. Мы не стеснялись в выражениях, не замечали, что наша резкость, которую искренне принимали за принципиальность, перерастала в довольно грубые нападки. И вдруг Константин Георгиевич — он обычно не только вежлив, но и на редкость

Публикуется по статье в Литературной газете, 1967 г.

*Тендряков В.Ф.
Учитель:
К.Г. Паустовскому —
75 лет // Литературная
газета. 1967.
31 мая.*

бережен в обращении — гневно взорвался. Он говорил, что на свете нет ничего более важного и значительного, чем человеческое достоинство, и нет ничего более преступного, как быть слепым и глухим к нему. Преступно не помнить, что любой и каждый, кто бы он ни был, способен так же страдать, как ты сам. Гневная отповедь кончилась ультиматумом: «Тот, кто не согласен со мной, пусть выйдет сейчас же и никогда больше не переступает порог семинара!»

Впоследствии я не раз слышал гневные отповеди из уст Константина Георгиевича уже не среди тесной аудитории, а с трибуны, перед общим собранием, по поводам куда более серьёзным. Но впервые я столкнулся с тем, что лежит в основе и личных качеств человека Паустовского, и творчества Паустовского-писателя, на том студенческом семинаре. Столкнулся и запомнил.

Нет ничего более значительного, чем человеческое достоинство, а уважение к достоинству идёт через доверие к самому человеку.

Достоинство и доверие — две стороны одной медали. Нет доверия, — значит, нет никакой гарантии, что к тебе отнесутся с должным уважением. И как часто мы бываем преступны в своём недоверии не к тем, кому не доверяем, — к самим себе!

Хотя бы такой пример. Мы считаем: верующий в бога не враг, он заблуждается, наш долг — переубедить, перевоспитать его, — и в то же время действуем порой излишне агрессивными методами. Если ты враждебно-недоверчив, то не рассчитывай, что тебе ответят милой доверчивостью! От твоей недоверчивости плохо верующим, но плохо и тебе самому, потому что недоверчивость перерастает во вражду, ты увеличишь число своих врагов.

Недоверие и подозрительность на производстве, в быту, в искусстве — где бы то ни было — неизбежно приносят вред. Недоверие и подозрительность к человеку — своего рода ржавчина, разъедающая общественную жизнь. Недоверие всегда взаимно, от него плохо всем.

Именно такой вот защите человека, а значит, защите всего общества, и отдал свою большую творческую жизнь Паустовский, жизнь писателя и учителя.

Быть просто добрым, инертно человеколюбивым, избегать подлости, но и не мешать ей — даже это при определённых обстоятельствах не столь уж лёгкое дело. Быть же деятельно добрым, активно человеколюбивым, идти против подлости и сокрушать её трудно настолько, что порой приходится становиться подвижником.

Постоянно чувствуя себя учеником Константина Георгиевича, я был бы счастлив, если всей своей жизнью и своим трудом смог бы передать дальше хоть что-то из гуманной науки Паустовского. Если б смог; не смогу я — передадут другие. Учеников у К. Г. Паустовского немало. Связь времён не оборвётся.

1967 г.



В коридоре Литинститута. В.Ф. Тендряков второй слева



На семинаре в Литинституте. Владимир Тендряков третий слева. Фрагмент фотографии, 1947 г.



ЛИТИНСТИТУТСКИЙ КОРИДОР

В Подосиновце (в Кировской области) я написал повесть о войне. Она в конце концов получила название «Экзамен на зрелость». Куда мне её послать? Не верил, что меня напечатают, и хотел только получить консультацию. Решил послать повесть в «Комсомольскую правду» прямо в рукописном виде, аккуратно переписанную, с вклеенными поправками.

Не дождавшись ответа из «Комсомольской правды», приехал в 1945 году в Москву – поступать на художественный факультет ВГИКа. Было мне не до моей рукописи: после экзаменов нужно было утверждать себя, потому что я чувствовал, что если по рисунку я «тяну», то не «тяну» по живописи.

И когда добился каких-то сдвигов, стало чуть-чуть полегче, вспомнил о своей повести и решил позвонить в «Комсомольскую правду». Не сразу там нашли мою рукопись. С грехом пополам, однако, нашли, предложили: «Перешлём её в издательство «Молодая гвардия». Я согласился. Переслали. А в «Молодой гвардии» мне сообщают: «Вашу рукопись мы передали рецензенту. Позвоните ей». Звоню и вдруг слышу: «Тут есть кое-что любопытное. Приезжайте!» Меня встречает не только она, её муж – писатель Николай Атаров. Он ещё не снял тогда своих майорских погон. Уважительно взял он в передней мою шинельку. А я застеснялся: он – майор, а я всего-навсего бывший младший сержант. Говорил главным образом сам Атаров, внимательный, добрейший человек: «Язык у вас варварский. Чёрт знает, что вы там накрутили. Но есть интересные места. Мы будем просить, чтобы вам дали литературного обработчика».

И представьте себе: со мной заключают договор и дают мне литобработчика. Литобработчик – Дроздова. А у неё муж Александр Михайлович Дроздов – старый, ещё до революции начавший писать прозаик. Он вёл семинар в Литературном институте и отнёс туда мою работу. Новая неожиданность: меня принимают в Литературный институт вне конкурса. Для меня Литературный институт делил-

Публикуется по тексту статьи в журнале «Литературная учёба» (Тендряков В. Литинститутский коридор // Литературная учёба. 1985. №2).

Статья предшествовала комментариям от редакции журнала:

«Наш корреспондент встретился с Владимиром Фёдоровичем Тендряковым и попросил его поделиться воспоминаниями о годах своей учёбы в Литературном институте. Горько сознавать, что это была последняя встреча с замечательным писателем...»

ся как бы на два института: институт как таковой и институт коридорный с его творческими контактами, спорами, утверждением литературных интересов и пристрастий. И этот коридорный институт сделал для меня, как мне кажется, не меньше, чем учебный институт.

Нет, я не скидываю со счетов ни лекции, ни тем более семинаров — дали много, хотя могли дать куда больше. Но уж в этом виноват был я сам. Я, как бывший фронтовик, был по молодости и глупости заражён некоторой самомнительностью — мол, война меня учила жизни! А потому не очень-то перегружал себя учёбой, сдавал два раза в год сессии, зато ночами занимался: сочинительством, которое целиком шло в мусорные корзины.

А у нас тогда были прекрасные преподаватели. Например, профессор Александр Александрович Реформатский, не просто великолепно, а вдохновенно и виртуозно читавший языкознание. Любили его слушать, панически боялись его экзаменов, звали между собой «фонетиком своего дела»). Или профессор Сергей Иванович Радциг, преподававший античную историю и античную литературу. По институту ходила легенда, доставшаяся нам от старших курсов. Александр Межиров, тогда студент Литинститута и одновременно уже достаточно известный поэт, сдавал экзамен Радцигу; тот задал вопрос: «Что было изображено на щите Ахиллеса?» Межиров поднапрягся и изрёк: «Медуза». И Радциг заплакал... Как надо любить свой предмет, чтобы так искренне огорчаться. Увы, я тоже грешен — доставлял огорчения своим преподавателям. В чём сейчас, в свою очередь, огорчённо каюсь.

И всё-таки я вынес из Литинститута культурный, творческий багаж, который вбирает в себя и систему знаний, и уроки мастерства, и глубокое постижение человеческих отношений. И здесь надо сказать о семинарах в Литературном институте. Я был участником семинара прозаиков, который вёл Константин Георгиевич Паустовский. Он — мой прямой учитель. И вот что важно: Паустовский давал нам не только творческие, но и нравственные уроки. В памяти моей запечатлелся один эпизод, о котором я однажды писал. Вот фрагмент из моей статьи «Учитель», посвящённой Паустовскому:

«Как-то на семинаре разбирался рассказ, помню, об одной продавщице и об одном покупателе, о их нежной любви, так сказать, не отходя от прилавка. Право, он давал повод к резкой критике, и мы с молодым азартом набросились на автора, своего же товарища. Мы не стеснялись в выражениях, не замечали, что наша резкость, которую искренне принимали за принципиальность, перерастала в довольно грубые нападки. И вдруг Константин Георгиевич — он обычно не только вежлив, но и на редкость бережен в обращении — гневно взорвался. Он говорил, что на свете нет ничего более важного и значительного, чем человеческое достоинство, и нет ничего более преступного, как быть слепым и глухим к нему. Преступно не помнить, что любой и каждый, кто бы он ни был, способен так же страдать, как ты сам. Гневная отповедь кончилась ультиматумом: «Тот, кто не согласен со мной, пусть выйдет сейчас же и никогда больше не переступает порог семинара!»

Я продолжал общаться с Паустовским и после окончания Литературного института. С годами наши отношения становились близкими к дружбе, если можно назвать это дружбой:

всё-таки он был намного старше меня, и я всегда чувствовал себя по отношению к нему учеником.

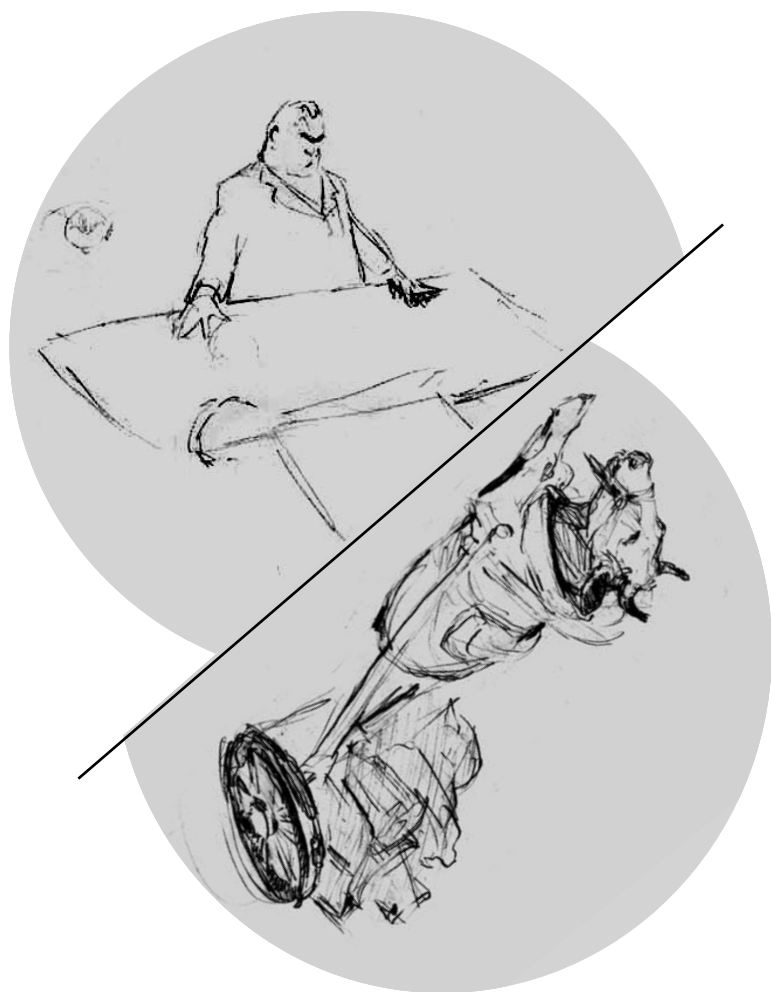
И всё-таки самый влиятельный для меня учитель — литинститутский коридор. Преданность литературе, любовь к литературе, любовь к языку были растворены в самом коридорном воздухе. Там разговаривали меньше прозой, а больше стихами. Именно в коридорах Литинститута я научился по-настоящему понимать стихи.

Коридор и общежитие были ареной постоянных словесных битв, где запальчиво ниспровергались авторитеты и провозглашались гении, где возникали литературные течения, чтоб сразу же исчезнуть без следа, где шёл бурный обмен взглядами и оттачивались человеческие качества.

На нашем курсе было всего 22 студента, из них теперь многие получили широкую известность: Юрий Бондарев и Григорий Бакланов, Владимир Солоухин и Григорий Поженян, Евгений Винокуров и Семён Гончаров, Михаил Годенко и Семён Шуртаков... А в коридорах нашими товарищами были Расул Гамзатов, гремевший аварскими и русскими стихами, Юрий Трифонов, уже напечатавший тогда свой первый роман, Константин Ваншенкин, Инна Гофф.

Литературный институт не может «сфабриковать» готового писателя, но усилить талант, ускорить его созревание — может. Он катализатор мастерства.

1984 г.



ПРИСТРАСТНЫЙ ВЗГЛЯД ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ

Часовые правды

Зря трубадуры реставрации хлопочут: поздно пить советское шампанское за единый беспечальный и бесконфликтный учебник истории. Ложь уже отвалилась навсегда, и немалую роль в этом сыграли два писателя, двое часовых правды: Александр Солженицын и Владимир Тендряков. В этом декабре, на днях, исполнилось 95 лет со дня рождения великого писателя, великого антисоветчика, фронтовика, пророка поколения Александра Исаевича Солженицына. И минуло 90 лет со дня рождения ещё одного нашего классика, антисоветчика и фронтовика Владимира Фёдоровича Тендрякова. Так и видится кадр из фильма по «Братству кольца» Толкиена: Осгилиат, две громадные статуи древних королей, а между ними по узкому проливу пробирается крошечная лодочка. Так и будет выглядеть на фоне двух писателей единый учебник истории.

Три главные темы, которые его авторам придётся искажать, замазывать, класть под красное сукно — это война, ГУЛАГ и вечный страх затравленного населения, а также горькая участь русской деревни, дотла уничтоженной советской властью, названной Солженицыным «крестьянской чумой». А эти темы у Солженицына, бывшего ээка, и Тендрякова, вроде бы благополучного совписа, даны одинаково и так мощно, что никаких наёмных историков не хватит перекричать. У Солженицына и Тендрякова в активе не только тот фронт, где сражались с оружием в руках. Они были бойцами другого, невидимого антисталинского фронта, где за правду сражались пишущей машинкой и авторучкой, но где тоже расплачивались своими жизнями.

Рядом с единым учебником всегда будут стоять они, Солженицын и Тендряков. «Наши мёртвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые...» (Владимир Высоцкий). Война... И миллион «изменников», от хорошей сталинской жизни ушедших в полицаи, и горькая правда западных украинцев и чеченцев, почти поголовно переселённых в ссылку и лагеря. Солженицынские Павло из «Одного дня Ивана Денисовича» и ингуш Хадрис из «Зна-

Валерия Ильинична Новодворская (1950–2014) — российский публицист, диссидент, политик.

Публикуется по журналу «Новое время». Новодворская В. Часовые правды // Новое время. 2013. №42, 16 дек.



ют истину танки». Правда «Пира победителей», где молодые советские офицеры спасают от смершевцев угнанную в Германию Галину (невесту лейтенанта РОА); правда «Пленников», где смершевцы и энкавэдисты арестовывают и вешают на «освобождаемой» европейской территории русских эмигрантов; правда наших военнопленных, из гитлеровских концлагерей отправляемых эшелонами в лагеря восточносибирские. Это вклад Солженицына. И «Донна Анна» Тендрякова, где смершевцы расстреливают лейтенанта Ярика Галчевского, которого погнали в безнадежную атаку. И последние слова Ярика: «Убейте его, кто ставил "Если завтра война"! Я не враг! Мне ввали! Я верил!»

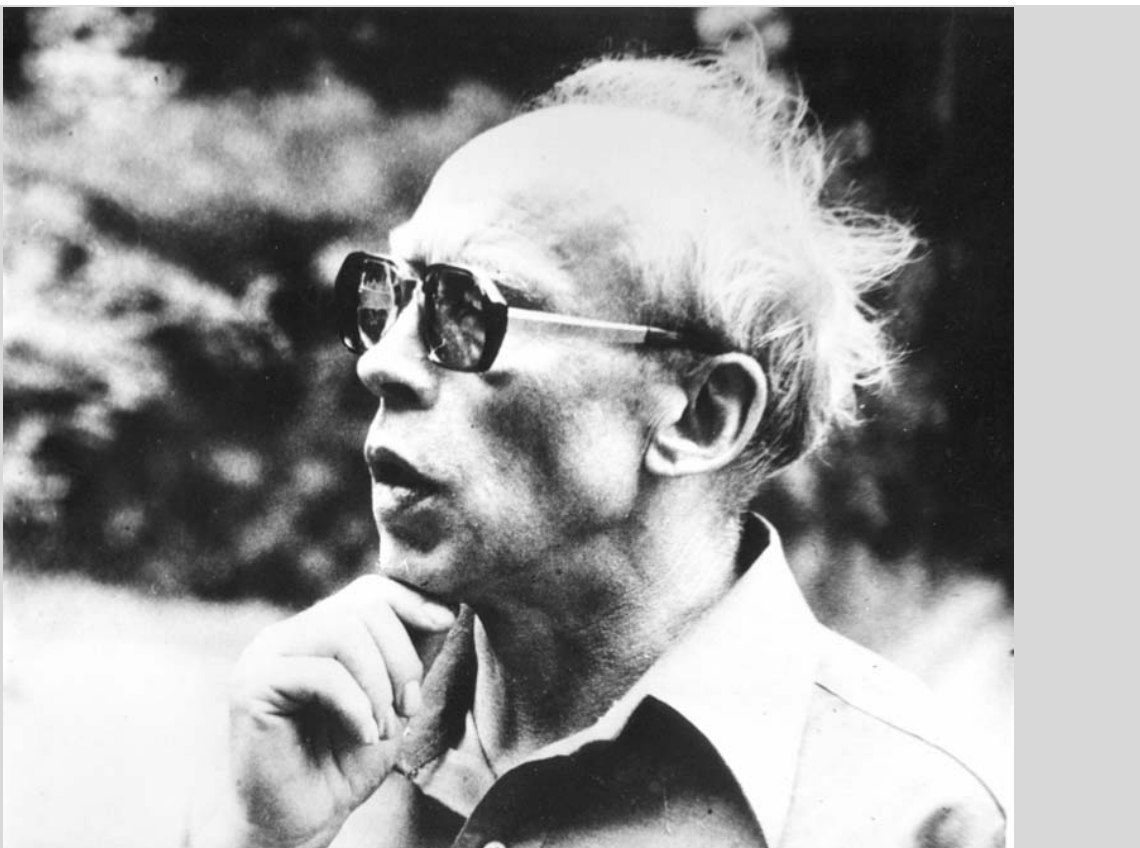
И Солженицын, и Тендряков учили не верить, не бояться и не просить. Солженицын львиную долю «Архипелага» посвятил миллионам уничтоженных хлеборобов. Тендряков в «Кончине» (1968) и в маленькой трагедии «Хлеб для собаки», двадцать лет дождавшейся перестройки, рассказал, как умирали в привокзальном скверике сосланные «кулаки» за свою нехитрую правду: «Всяк за свою свободушку стоит». И о том, что коллективизация была «диким, необузданным грабежом», и что «наше», «общее» — это ничьё и никому не дорого.

А страх, о котором столько писал лагерник Солженицын, достиг апогея у Тендрякова в «Паране», где оказалось, что безопаснее совершить убийство, чем пойти по 58-й статье «за политику»... Оба, и Солженицын, и Тендряков — «бодались с дубами». Но были отнюдь не телята. Скорее тореадоры.

Можно хоть всю страну закидать до крыш «единицами учебниками». И всё перевесит Слово, слово Солженицына и Тендрякова.



Шуточный рисунок В.Ф. Тендрякова



В.Ф. Тендряков в 1970-е годы

ПРИСТРАСТНЫЙ ВЗГЛЯД РОЛАН БЫКОВ

Спор-клуб

Знаете, я смущён. Смущён и хочу, прежде чем говорить о Тендрякове, сказать кое-что. Вы сказали, что поступили в 46-м, а я со страхом подумал: я-то в 47-м. Поколение вроде бы одно. Отчего же всегда для меня Тендряков был категорически другим поколением?

Да, я пришёл в 1947-м в институт театральный и был единственным вчерашним десятиклассником. Ребята-то были старше меня на два года, на три года, Тендряков — на пять лет; не принципиально. Но они были старше меня на войну. Это другой отсчёт времени. Я был действительно мальчишка, а пришли мужчины, отвоевавшие. И вот разница на войну — это другое поколение.

Я знаком с Владимиром Фёдоровичем как-то очень хорошо, как-то очень быстро, к сожалению, коротко. Мы пригласили Владимира Фёдоровича на «Спор-клуб»; была такая передача, пять лет шла. Когда меня выгнали отовсюду и ничего не давали делать, телевидение меня приютило, и мне Лапин разрешил даже передачу — единственную в Советском Союзе передачу без сценария. Он сказал: «Давай пока договоримся так. Ты делаешь передачу без сценария, мы смотрим, и если она не идёт, ты не возражаешь».

Пять передач не прошло, одна из них, естественно, с Владимиром Фёдоровичем. Что это была за передача?

Владимир Фёдорович долго отказывался, басил в телефон: да я, мол, и говорить не могу... Уговорили мы его, сговорились и с ребятами, о чём будет разговор: «Я расскажу, поставлю им нравственные вопросы, и будем говорить».

Стал рассказывать. Как он юношей восемнадцатилетним попал на фронт; он должен был попасть в какую-то часть, была жуткая погода. Он шёл по полю боя, лежали мёртвые, лежала техника, умирала лошадь раненая: «Я шёл и думал: нет человечности на свете; мир кончился; доброта кончилась. А может, её никогда и не было?..»

Ролан Антонович Быков (1929-1998) — актёр, кино- и театральный режиссёр, сценарист, педагог.

Текст расшифрован по аудио-файлу из архива Н.В. Тендряковой.

Пришёл в часть. В блиндаж и войти было нельзя, нужно было наступать на кого-то, с трудом прошёл... А там ел маленький восемнадцатилетний пацанёнок, худенький, из общего котелка; вот, дали ему поесть.

— Кто это такой? — Немец. — Откуда немец? — А вот поварёнок. Со своей поварской ерундой приехал вместо того, чтобы в немецкую часть — в нашу часть. Мы его взяли, похлёбка у него была ужасная, мы её вылили, а что было для офицеров — шоколад, галеты — то съели, вот и ему дали поесть. Ну чего парень, ну в чём он виноват?

Тендряков рассказывает: «Я подумал: "Вот всё-таки, есть доброта. И обогрелся, и поел. Нет, существует доброта. Вот такая война, столько сделали немцы, и вот можно накормить, можно есть из одного котелка..."»

Потом взяли наши деревню. Столпился народ у колодца, зима была. Я подхожу, кричат все, глыба льда какая-то у колодца; какая-то в ней будто печёная картошка. Я подошёл, ничего не понимаю. Оказывается, это два наших разведчика, которые ушли в разведку два дня назад — их немцы поймали, залили водой, и это не картошка была, а пятна почерневшие.

Вот такая история. Ну вот наши все воспалились, стали кричать, схватили этого пацанёнка-поварёнка. (У меня и сердце чуть не оборвалось...) И то же самое сделали и с ним».

И спрашивает у совершенно обалдевших моих ребят, московских школьников: «Вот и ответьте, когда они были люди, и когда они были звери. И почему?»

Ребята все в трансе. Начали активно защищать. «Наши мстили. Имели на это моральное право...» И так далее. Разгромил он их с этой позиции. Ребята спорили, уже теряя импульс, уже желая только слушать, уже желая, чтоб спор прекратился (он шёл несколько часов). А Владимир Фёдорович всё нападал, всё требовал ответа и не давал ни лазейки для демагогического ответа.

Это было так... назидательно для меня. Как не вывернешься у него, никакая хитрость ума, характера не даёт вывернуться от этой прямой логики, от чёткого вопроса, от умения вывести, как говорится, на чистую воду, на ясность мысли. Он мне всё время твердил одну фразу: «Они всё знают, они всё знают...», — что есть упрощённые мозги, что есть приблизительные представления, что ничего не понимают ребята, им кажется, их приучили всё знать, их приучили, что они всё знают.

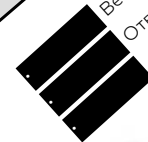
А они не знают, и душа не тревожна, и вопроса нет. Вот чем он был очень взволнован.

Вдруг девочка заплакала и сказала: «Что вы от нас хотите?» — «Что хочу?» — «Да, — ввязался другой парень. — Что вы от нас хотите?» — «Что я от вас хочу... А то вы всё знаете, а я хочу, чтобы вы поняли, что в жизни есть вопросы, на которые нет ответа».

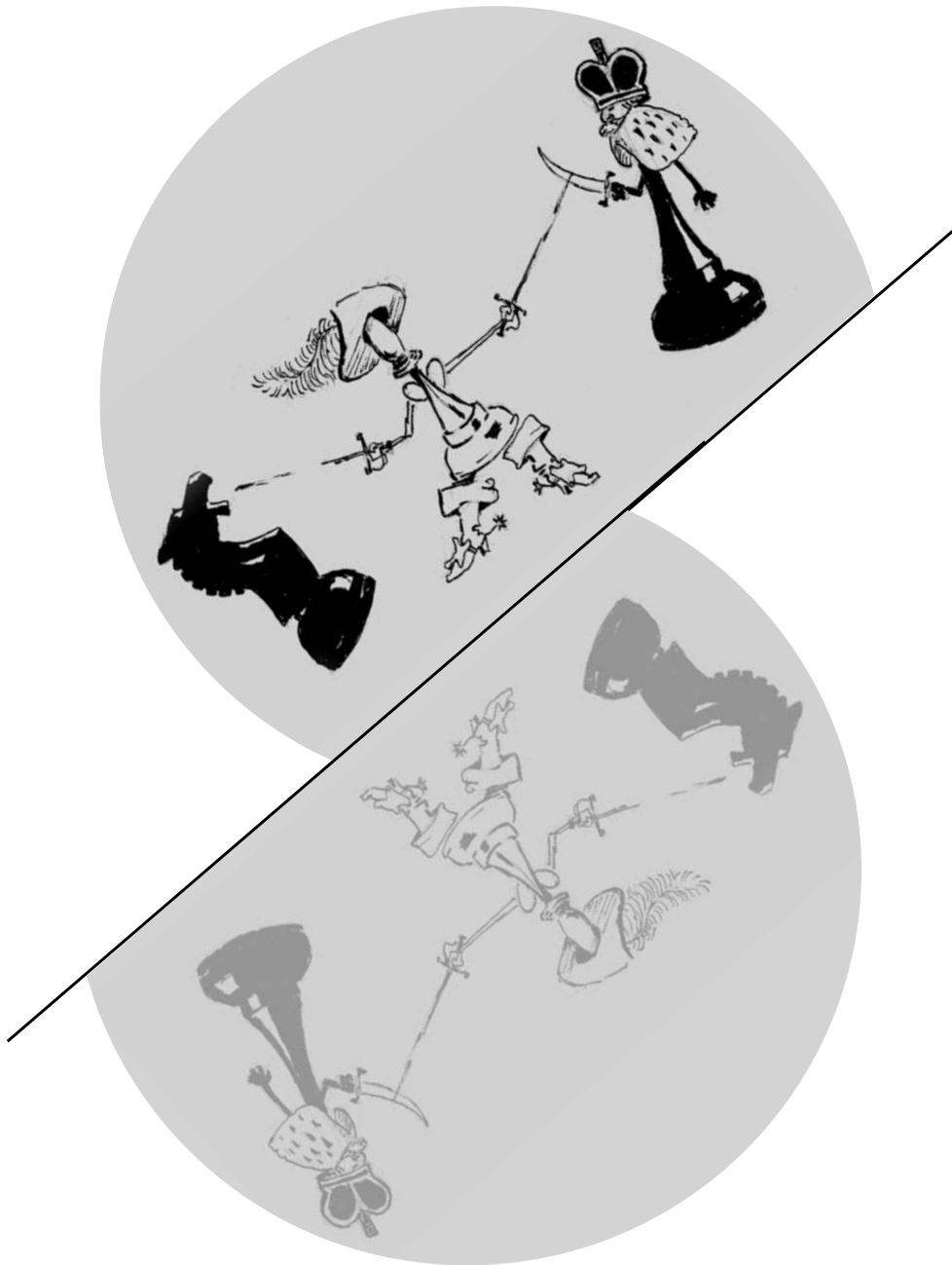


Владимир Тендряков на этюдах в 1946 г.

Часть



Весенние перевёртыши
Ответы на письма о «Весенних перевёртышах»
«Всё дело в трубе». Шуточный рассказ



КОММЕНТАРИИ К III ЧАСТИ

У повести «Весенние перевёртыши» счастливая судьба. Она почти сразу была воспринята как шедевр, многократно издавалась и продолжает переиздаваться. Книга и резкая, и дерзкая, и поэтическая, и тонкая, и суровая. Она сразу захватывает читателя ощущением полноты бытия, которая на грани подросткового и юношеского возраста вдруг соединяется со сверхзначимостью выбора поступков, нового восприятия близких лиц, с осознанием дальних ориентиров.

«...Вдруг возникли какие-то куски мальчишеской философии, идея бесконечности вселенной и повторяемости каждого живущего на земле», — вспоминал Тендряков о ходе работы над повестью.

Повесть увлекает читателя двумя параллельными потоками: движется сюжет со своим драматизмом, динамикой, лицами и историями, а почти независимо от него само дыхание книги будто наполняется воздухом завтрашнего дня, предвосхищением того будущего, которое из юности видно лучше, чем из мира взрослых. Повесть о трудном и прекрасном годе взросления Дюшки Тягунова звучит притчей о том, что связь с миром детства порой оказывается спасительной для взрослых судеб, что юность порой интуитивно лучше представляет завтрашний день, чем его воображают умные расчёты взрослых.

* * *

Приложение к повести — краткая переписка с «учительницей Горюхиной из Новосибирска»: в её классе («...когда Министерство попросило в годовом сочинении проанализировать одну из любимых книг») именно о «Весенних перевёртышах» захотелось написать большинству учеников.

Учительница попросила Тендрякова не ответить на вопрос, а задать свой читателям-школьникам.

Удивительна трагическая интонация, недетская серьёзность его ответного обращения («...Не потому ли сам Маяковский пустил себе пулю в лоб, что увидел: то, что он считал раньше безусловным, безоговорочно хорошим, оказалось на деле, увы, крайне неприглядным. Понять — что такое хорошо, а что такое плохо? — значит уметь предвидеть, как то или иное явление покажет себя в будущем...»). Тендряков, спрашивая, даёт свои версии ответов

и обращается не как взрослый к детям, а свои вопросы шлёт словно завещание от поколения к поколению: «...Моё поколение их не решило».

Фамилия Горюхиной вряд ли что-то говорила тогда Тендрякову. Но адресант писателя — уже в эти годы человек удивительный, со временем станет легендой педагогической России. Их краткая переписка, переключка именно относительно «Весенних перевёртышей» полна символической значимости.

«Платой за наш труд является возможность видеть мир глазами нового поколения», — напишет Эльвира Николаевна Горюхина в послесловии своей книги «Мой 9"в"...», изданной на год раньше «Весенних перевёртышей». Лейтмотив её судьбы — настраивание диалога поколений.

«Быть может, самое удивительное в нашей профессии состоит в том, что приобщая наших детей к миру знаний, мы обретаем способность вечного обновления. Сопричастность наша к юности, к этой на редкость щедрой и богатой поре человеческой жизни, одаривает нас открытиями, которым нет цены», — эти формулы Горюхиной могли бы прозвучать как выводы из повести Тендрякова.

Книга Горюхиной 1972 года¹ — полудокументальное повествование о преподавании литературы в первом физико-математическом классе Советского Союза. Этот класс был открыт в 10-й школе Новосибирска за два года до первых физико-математических школ, был их черновиком: его программу составляли учёные Академгородка под руководством академика С.Л. Соболева; Эльвиру Николаевну назначили классным руководителем.

«Мой 9"в"...» — история о том, зачем нужны уроки литературы будущим математикам и программистам, из которых никто не собирался связывать свою судьбу ни с чем гуманитарным. Зачем нужен учитель, «получать знания» от которого не требуется никому из учеников?

«Странная вещь математика. Она связывает между собой, казалось бы, самые несвязуемые вещи — градусы с заводской трубой, бак водокачки с отдыхающими пионерами! Или бесконечность Вселенной — кому, казалось бы, до неё какое дело! — нет, она обещает Лёвке Гайзеру новую жизнь... после смерти. Ничего себе!» — читаем мы в повести Тендрякова.

«Смысл развития, по-видимому, не в том, что к математическому знанию прибавляется гуманитарное, а в том особом сплаве,



который возникает в результате взаимодействия всех элементов подлинной культуры. Смысл в той искре, которая высекается сшибкой самых неожиданных, самых полярных знаний. Без понимания "странностей" мышления одержимых математикой можно остаться со своими Пушкиным и Толстым по другую сторону от тех, кого учишь. Дело не только в том, что перегородок между научным и художественным нет. Суть в том, что научное выступает как эстетическая категория...» — размышляет Эльвира Горюхина, автор книги «Мой 9"в"...».

Горюхина обсуждает роль учителя как переводчика, помогающего прояснить собственные смыслы и понять других: «По сей день я стараюсь научиться слушать каждого. Я беру на себя роль переводчика, когда вижу, что мысль ученика бьётся в тенетах не до конца осознанных помыслов, то почти умирает, не найдя точных словесных определений, то вмиг становится пугливой, не найдя сочувствия и понимания со стороны окружающих — и тогда я начинаю не то что переводить, начинаю угадывать чутьём, что он хочет сказать, стремлюсь не дать погибнуть слову, мысли, мечте. Этой трудной науке понимать друг друга мы должны научить наших детей».

В восьмидесятые Эльвира Горюхина станет одним из лидеров движения «Школы диалога культур» — педагогики, которую интересовали лишь те вопросы, на которые нет однозначных ответов. Не сам по себе диалог учителя и ученика или школьников с культурой — а разговор разных людей, ищущих взаимопонимания между собой во время выстраивания личного диалога с художественным произведением или авторской мыслью учёного. («Настоящий диалог возможен как минимум на троих», — так утверждал другой великий педагогический исследователь, Е.Е. Шулешко.)

«Учитель имеет счастье всем своим существом ощутить нерасторжимую связь времён, воплощённую в тысячах лиц, в тысячах человеческих судеб», — это убеждение предопределило резкий поворот судьбы учительницы (а к тому времени и университетского профессора) Эльвиры Горюхиной, когда связь времён и судеб начала стремительно рваться.

Она отправится в двадцатилетнее путешествие по дорогам кавказских войн. В роли журналиста «Первого сентября» и «Новой газеты» будет проходить блокпосты всех враждующих сил со сверхстранным удостоверением от Фонда Ролана Быкова: «Выдан учительнице, которую волнуют только дети и старики; Быков просит помогать и пропускать везде».

Эльвира Горюхина не стремилась туда, куда спешили её коллеги-журналисты: ни к начальникам, ни к военным, ни к лидерам боевиков. Она шла к детям и учителям.

¹ Горюхина Э.Н. Мой 9 «в»... М., Знание, 1972.

Иногда долго, через перевалы, иногда быстро, под обстрелом. Но все военные статьи её проникнуты не разоблачениями, а восхищением. «На войне больше всего поражает человечность», — напишет она.

Если в селе работала школа — давала свои уроки.

«...Меня спасало то, что я — русская учительница из города Новосибирска. Почему мне чеченские дети писали в ответ на просьбу рассказать о себе и своей жизни? Писали бы они русской журналистке? Я приходила и говорила:

— Моих детей очень волнует ваша судьба, я к вам пришла, потому что хочу детям в Новосибирске рассказать о вас. Они хотят узнать, как вы живёте. Всё, что вы напишете, будет лежать на партах у моих учеников, когда я вернусь домой.

И чеченские дети садились за парты и писали».

Своих новосибирских учеников Эльвира Николаевна вначале просто оставляла надолго, потом успевала учить их лишь месяц-другой в году, потом приезжала лишь на несколько уроков. А ученики шли и день за днём ставили свечки за возвращение своего учителя живым. Таким оказывался для них опыт «диалогического обучения».

Но не только таким: школьные сочинения кавказских детей сами обретали значение культурных произведений, когда учительница переносила их из класса в класс. (Часть этих «взаимных сочинений» составили «материю» знаменитой книги «Путешествия учительницы на Кавказ»¹.) В сложном эхе этой заочной переписки бились вечные переживания, встречавшие и юных героев Тендрякова:



«Что такое жизнь? Смерть и бессмертие? Как возможна в ней такая жестокость и такая доброта? В чём смысл человеческого пути?..»

* * *

«Прекрасный мир окружал Дюшку, прекрасный и коварный, любящий играть в перевёртыши» — такова последняя строка повести Тендрякова.

¹ Горюхина Э.Н. Путешествия учительницы на Кавказ. М., 2000.

Предперестроечная книга Горюхиной «В эти юные годы»¹ завершается главой с названием «Педагогические перевёртыши».

Там она напишет:

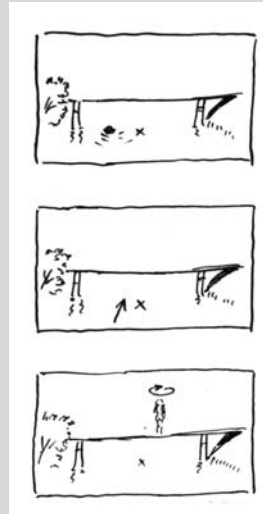
«Если учитель для ученика тайна, если ученик стремится во что бы то ни стало обратить внимание учителя к себе, то и учителю надобно сделать то же самое: отнестись к ученику как к тайне... "У учителя должна быть потребность испытывать свою зависимость от учеников," — вдумается в эту фразу: Чудо начинается именно с этого ощущения — ощущения зависимости педагогического приёма от конкретных проявлений конкретного ребёнка».

Тогда душе учителя становятся присущи и детское любопытство, и восхищение жизнью, и честное отношение ко всему и ко всем — те свойства ранней юности, которыми дышат «Весенние перевёртыши» Тендрякова.

Андрей Русаков

¹ Горюхина Э.Н. В эти юные годы. М., Знание, 1986.

ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ



Повесть

Дюшка Тягунов знал, что такое хорошо, что такое плохо, потому что прожил на свете уже тринадцать лет. Хорошо — учиться на пятёрки, хорошо — слушаться старших, хорошо — каждое утро делать зарядку...

Учился он так себе, старших не всегда слушался, зарядку не делал, конечно, не примерный человек — где уж! — однако таких много, себя не стыдился, а мир кругом был прост и понятен.

Но вот произошло странное. Как-то вдруг, ни с того ни с сего. И ясный, устойчивый мир стал играть с Дюшкой в перевёртыши.

1

Он пришёл с улицы, надо было садиться за уроки. Вася-в-кубе задал на дом задачку: два пешехода вышли одновременно... Вспомнил о пешеходах, и стало тоскливо. Снял с полки первую подвернувшуюся под руку книгу. Попались «Сочинения» Пушкина. Не раз от нечего делать Дюшка читал стихи в этой толстой старой книге, смотрел редкие картинки. В одну картинку вглядывался чаще других — дама в светлом платье, с курчавящимися у висков волосами.

*Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.*

Наталья Гончарова, жена Пушкина, кому не известно — красавица, на которую клал глаз сам царь Николай. И не раз казалось: на кого-то она похожа, на кого-то из знакомых, — но как-то не додумывал до конца. Сейчас вгляделся и вдруг понял: Наталья Гончарова похожа на... Римку Братеневу!

Римка жила в их доме, была старше на год, училась на класс выше. Он видел Римку в день раз по десять. Видел только что, минут пятнадцать назад, — стояла вместе с другими девочками перед домом. Она и сейчас стоит там, сквозь немывтые весенние двойные рамы среди других девчоночьих голосов — её голос.

Дюшка вглядывался в Наталью Гончарову — курчавинки у висков, точёный нос...

*Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.*

Красавица!.. Голос Римки за окном.

Дюшка метнулся к дверям, сорвал с вешалки пальто. Надо проверить: в самом ли деле Римка красавица?

А на улице за эти пятнадцать минут что-то случилось. Небо, солнце, воробьи, девочки — всё как было, и всё не так. Небо не просто синее, оно тянет, оно засасывает, ка-

жется, вот-вот приподымешься на цыпочки да так и останешься на всю жизнь. Солнце вдруг косматое, непричёсанное, весело-разбойное. И недавно освободившаяся от снега, продавленная грузовиками улица сверкает лужами, похоже, поёживается, дышит, словно её пучит изнутри. И под ногами что-то посапывает, лопается, шевелится, как будто стоишь не на земле, а на чём-то живом, изнемогающем от тебя. И по живой земле прыгают сухие, пушистые, согретые воробьи, ругаются надсадно, весело, почти что понятно. Небо, солнце, воробьи, девочки — всё как было. И что-то случилось.

Он не сразу перевёл глаза в её сторону, почему-то вдруг стало страшно. Неровно стучало сердце: не надо, не надо, не надо! И звенело в ушах.

Не надо! Но он пересилил себя...

Каждый день видел её раз по десять... Долговязая, тонконогая, нескладная. Она выросла из старого пальто, из жаркой тесноты сквозь короткие рукава вырываются на волю руки, ломко-хрупкие, лёгкие, летающие. И тонкая шея круто падает из-под вязаной шапочки, и выбившиеся непослушные волосы курчавятся на висках. Ему самому вдруг стало жарко и тесно в своём незастёгнутом пальто, он сам вдруг ощутил на своих стриженных висках щекотность курчавящихся волос.

И никак нельзя отвести глаз от её легко и бесстрашно летающих рук. Испуганное сердце колотилось в ребра: не надо, не надо!

И опрокинутое синее небо обнимает улицу, и разбойное солнце нависает над головой, и постанывает под ногами живая земля. Хочется оторваться от этой страдающей земли хотя бы на вершок, поплыть по воздуху — такая внутри лёгкость.

О чём-то болтают девочки. О чём? Их голоса перепутались с воробьиным базаром — веселы, бессмысленны, слов не разобрать.

Но вот изнутри толчок — сейчас девчоночий базар кончится, сейчас Римка махнёт в последний раз лёгкой рукой, прозвенит на прощание: «Привет, девочки!» И повернётся в его сторону! И пройдёт мимо! И увидит его лицо, его глаза, угадает в нём подымающую лёгкость. Мало ли чего угадает... Дюшка смятенно повернулся к воробьям.

— Привет, девочки! — И невесомые топ, топ, топ за его спиной, едва касаясь земли.

Он глядел на воробьёв, но видел её — затылком сквозь зимнюю шапку: бежит вприпрыжку, бережно несёт перед собой готовые в любой момент взлететь руки, задран тупой маленький нос, блестят глаза, блестят зубы, вздрагивают курчавинки на висках.

Топ, топ — невесомое уже по ступенькам крыльца, хлопнула дверь, и воробьи сорвались с водопадным шумом.

Он освобождённо вздохнул, поднял голову, повёл недобрым глазом в сторону девчонок. Все знакомы: Лялька Сивцева, Гуляева Галка, толстая Понюхина с другого конца улицы. Знакомы, не страшны, интересны только тем, что недавно разговаривали с ней — лицом к лицу, глаза в глаза, надо же!

А раскалённая улица медленно остывала — небо становилось обычно синим, солнце не столь косматым. А сам Дюшка обрёл способность думать.

Что же это?

Он хотел только узнать: похожа ли Римка на Наталью Гончарову? «Тебя мне ни-спослал, тебя, моя Мадонна...» Он и сейчас не знает — похожа ли?

Двадцать минут назад её видел.

За эти двадцать минут она не могла измениться.

Значит — он сам... Что с ним?

Вдруг да сходит с ума?

Что, если все об этом узнают?

Страшней всего, если узнает она.

2

Дюшка жил в посёлке Куделино на улице Жан-Поля Марата. Здесь он и родился тринадцать лет тому назад. Правда, улицы Жан-Поля Марата тогда не было, сам посёлок тоже только что рождался — на месте деревни Куделино, стоявшей над дикой рекой.

Дюшка помнит, как сносились низкие бараки, как строились двухэтажные улицы — Советская, Боровая, имени Жан-Поля Марата, названная так потому, что в тот год, когда её начинали строить, был юбилей французского революционера.

В посёлке была лесоперевалочная база, речная пристань, железнодорожная станция и штабеля брёвен. Эти штабеля — целый город, едва ли не больше самого посёлка, со своими безымянными улочками и переулками, тупиками и площадями, чужой человек легко мог заблудиться среди них. Но чужаки редко появлялись в посёлке. А здесь даже мальчишки хорошо разбирались в лесе — тарокряж, крепёж, баланс, резонанс...

Надо всем посёлком возносится узкий, что решетчатый штык в небо, кран. Он так высок, что в иные, особо угрюмые, дни верхушкой прячется в облака. Его видно со всех сторон за несколько километров от посёлка.

Он виден и из окон Дюшкиной квартиры. Когда семья садится за обеденный стол, то кажется — большой кран рядом, вместе с ними. О нём за столом каждый день ведутся разговоры. Каждый день целый год отец жаловался на этот кран: «Слишком тяжёл, сатана, берег реки не выдерживает, оседает. В гроб загонит, будет мне памятник на могилу в полмиллиона рублей!» Кран не загнал отца в могилу, отец теперь на него поглядывает с гордостью: «Моё детище». Ну, а Дюшка большой кран стал считать своим братом — дома с ним, на улице с ним, никогда не расстаются, даже когда засыпает, чувствует — кран ждёт его в ночи за окном.

Отец Дюшки был инженером по механической выгрузке леса, мать — врачом в больнице, её часто вызывают к больным по ночам. Есть ещё бабушка — Клавдия Климовна. Это не родная Дюшке бабушка, а приходящая. У неё в том же доме на нижнем этаже своя комнатка, но Климовна в ней только ночует. А когда-то даже и не ночева-

ла — нянчилась с Дюшкой. Сейчас Дюшка вырос, нянчиться с ним нужды нет, Климовна ведёт хозяйство и страдает за всё: за то, что у отца оседает берег под краном, что у матери с тяжелобольным Гринченко стало ещё хуже, что Дюшка снова схватил двойку. «О господи! — постоянно вздыхает она обречённо. — Жизнь прожить — не поле перейти».

3

Непривычная, словно раскалённая, улица остыла, снова стала по-знакомому грязной, обычной.

Ждать, ждать, пока Римка не выскочит из дома и улица опять не вспыхнет, не накалится.

Нет, сбежать, спрятаться, потому что стыдно же ждать девчонку.

Стыдно, и готов плюнуть на свой стыд.

Хочет не хочет, хоть разорвись пополам!

А может, он и в самом деле разорвался на две части, на двух Дюшек, совсем не похожих друг на друга?

Бывало ли такое с другими? Спросить?.. Нет! Засмеют.

За домом на болоте слышались ребячьи голоса. Дюшка двинулся на них. Впервые в жизни, сам того не понимая, испытывал желание спрятаться от самого себя.

Болото на задах улицы Жан-Поля Марата не пересыхало даже летом — оставались ляжины, до краёв заполненные чёрной водой.

Сейчас на окраине этого болота, как встревоженные галки, прыгали по кочкам ребята. Среди них в сплавщицкой брезентовой куртке, в лохматой, «из чистой медвежатины», шапке — Санька Ёраха. Дюшке сразу же расхотелось идти.

Санька считался на улице самым сильным среди ребят. Правда, сильнее Саньки был Лёвка Гайзер. Лёвке, как и Саньке, шёл уже пятнадцатый год, он лучше всех в школе «работал» на турнике, накачал себе мускулы, даже, говорят, знал приёмы джиуджитсу и каратэ. Впрочем, Лёвка знал всё на свете, особенно хорошо математику. Вася-в-кубе, преподаватель математики, говорил о нём: «Из таких-то и вырастают гении». И Лёвка не обращал внимания на Саньку, на Дюшку, на других ребят, никто не смел его задевать, он не задевал никого.

Дюшка среди ребят улицы Жан-Поля Марата, если считать Лёвку, был третьим по силе. Там, где был Санька, он старался не появляться. И сейчас лучше было бы повернуть обратно, но ребята, наверное, уже заметили, поверни — подумают, струсил.

Санька всегда выдумывал странные игры. Кто выше всех подбросит кошку. А чтоб кошка не убежала, чтоб не ловить её после каждого броска, привязывали за ногу на тонкую длинную бечёвку. Все бросали кошку по очереди, она падала на утоп-

танную землю и убежать не могла. И Санька бросал выше всех. Или же раз на рыбалке — кто съест живого пескаря? От выловленных на удочку пескарей пресно пахло речной тиной, они бились в руке, Дюшка не смог даже поднести ко рту — тошнило. И Санька издевался: «Неженка. Маленькин сынок...» Сам он с хрустом умял пескаря не моргнув глазом — победил.

Сейчас он придумал новую игру.

На болоте стоял старый, заброшенный сарай, оставшийся ещё с того времени, когда улица Марата только строилась. На его дощатой стене был нарисован мелом круг, вся стена заляпана слизистыми пятнами. Ребята ловили скачущих по кочкам лягушек. Их здесь водилось великое множество — воздух кипел, плескался, скрежетал от лягушачьих голосов. Плескался и кипел в стороне, а напротив сарая — мёртвое молчание, лягушки затаились от охотников, но это их не спасало.

Санька, в своей лохматой шапке, деловито насупленный, принимал услужливо поднесённую лягушку, набрасывал верёвочную петлю на лапку, строго спрашивал:

— Чья очередь? — И передавал из руки в руку верёвочку со слабо барахтающейся лягушкой: — Бей!

Верёвочку принял Петька Горюнов, тихий парнишка с красным, словно ошпаренным лицом. Он раскрутил привязанную лягушку над головой, выпустил из рук конец верёвочки... Лягушка с тошнотно мокрым шлепком врезалась в стену. Но не в круг, далеко от него.

— Косорукий! — сплюнул Санька. — Беги за верёвочкой!

Петька послушно запрыгал по дышащим кочкам к стене сарая.

Только теперь Санька посмотрел на подошедшего Дюшку — глаза впрозелень, словно запачканные болотом, редко мигающие, стоячие. Взглянул и отвернулся: «Ага, пришёл, ну, хорошо же...»

— Мазилы все. Смотрите, как я вот сейчас... Лягуху давай! Эй ты там, косорукий, верёвочку неси!

Колька Лысков, вёрткий, тощий, с маленьким, морщинистым, подвижным, как у обезьянки, лицом, для всех услужливый, а для Саньки особенно, подал пойманную лягушку. Запыхавшийся Петька принёс верёвочку.

— Смотрите все!

Санька не торопился, уставился в сторону сарая выпуклыми немигающими глазами, лениво раскачивал привязанную лягушку. А та висела на верёвочке вниз головой, растопыренная, как рогатка, обмершая в ожидании расправы. А в стороне бурлили, скрежетали, постанывали тысячи тысяч погруженных в болото лягушек, знать не знающих, что одна из них болтается головой вниз в руке Саньки Ёрахи.

На секунду лягушка перестала болтаться, повисла неподвижно. Санька подобрался. А Дюшка вдруг в эту короткую секунду заметил ускользавшую до сих пор мелочь: распятая на верёвочке лягушка натужно дышала изжелта-белым мягким брюхом. Ды-

шала и глядела бессмысленно выкаченным золотистым глазом. Жила вниз головой и покорно ждала...

Санька распряился, сначала медленно, потом азартно, с бешенством раскрутил над шапкой верёвочку и... мокрый шлепок мягким о твёрдое, в круге, обведённом мелом, — клякса слизи.

— Вот! — сказал Санька победно.

У Саньки под лохматой — «из чистой медвежатины» — шапкой широкое, плоское, розовое лицо, на нём торчком твёрдый решительный нос, круглые, свиные, с прозеленью глаза. Дюшка не мог вынести его взгляда, склонил к земле голову.

Под ногами валялся забуревший от старости кирпич. Дюшка постепенно отвёл глаза от кирпича, натолкнулся на переминающегося краснорожего виноватого Петьку — «косорукий, не попал!». И Колька Лысков ослабилась, выставил неровные зубы: до чего, мол, здорово ты, Ёраха!

Воздух клокотал от влажно картавящих лягушачьих голосов. Никак не выгнать из головы висящую лягушку, дышащую мягким животом, глядящую ржаво-золотистым глазом. Широкое розовое лицо под мохнатой шапкой, а нос-то у Саньки серый, деревянный, неживой. Неужели никому не противен Санька? Петька виновато мнётся, Колька Лысков услужливо скалит зубы. Кричат лягушки, крик слепых, не видящих, не слышащих, не знающих ничего, кроме себя. Молчат ребята. Все с Санькой. У Саньки серый нос и зелёные болотные глаза.

— Теперь чья очередь? Ну?..

«Сейчас меня заставит», — подумал Дюшка и вспомнил о старом кирпиче под ногами. Весь подобрался...

— Дай я кину, — подсунулся к Саньке Колька Лысков, на синюшной мордочке несходящая умильная улыбочка. Он даже противнее Саньки!

— Вон Минька не кидал. Его очередь, — ответил Санька и снова покосился на Дюшку.

Минька Богатов самый мелкий по росту, самый слабый из ребят — большая голова дыней на тонкой шее, красный нос стручком, синие глаза. Дюшкин ровесник, учатся в одном классе.

Если Минька бросит, то попробуй после этого отказаться. Не один Санька — все накинутся: «Неженка, маленький сынок!» Все с Санькой... Кирпич под ногами, но против всех кирпич не поможет.

— Я не хочу, Санька, пусть Колька за меня. — Голос у Миньки тонкий, девичий, и синие страдальческие глаза, узкое лицо бледно и перекошено. А ведь Минька-то красив!..

Санька наставил на Миньку деревянный нос:

— Не хоч-чу!.. Все хотят, а ты чистенький!

— Санька, не надо... Колька вон просит. — Слёзы в голосе.

— Бери верёвочку! Где лягуха?

Кричит лягушачье болото, молчат ребята. У Миньки перекошено лицо — от страха, от брезгливости. Куда Миньке деться от Саньки? Если Санька заставит Миньку...

И Дюшка сказал:

— Не тронь человека!

Сказал и впился взглядом в болотные глаза.

Кричит вперелив лягушачье болото. Крик слепых. У Саньки в вязкой зелени глаз стерегущий зрачок, нос помертвевший и на щеках, на плоском подбородке стали расцветать пятна. Петька Горюнов почтительно отступил подальше, у Кольки Лыскова на старушечьем личике изумлённая радость — обострилась каждая морщинка, каждая складочка: «Ну-у, что будет!»

— Не тронь его, сволочь!

— Ты... свихнулся? — У Саньки даже голос осел.

— Бросай сам!

— А в морду?..

— Скотина! Палач! Плевал я на тебя!

Для убедительности Дюшка и в самом деле плюнул в сторону Саньки.

Жёстко округлив нечистые зелёные глаза, опустив плечи, отведя от тела руки, шапкой вперёд, Санька двинулся на Дюшку, бережно перенося каждую ногу, словно пробуя прочность земли. Дюшка быстро нагнулся, выковырнул из-под ног кирпич. Кирпич был тяжёл — так долго лежал в сырости, что насквозь пропитался водой. И Санька, очередной раз попробовав ногой прочность земли, озадаченно остановился.

— Ну?.. — сказал Дюшка. — Давай!

И подался телом в сторону Саньки. Санька заворожённо и уважительно смотрел на кирпич. Клокотал и скрежетал воздух от лягушачьих голосов. Не дыша стояли в стороне ребята, и Колька Лысков обмирал в счастливом восторге: «Ну-у, будет!» Кирпич был надёжно тяжёл.

Санька неловко, словно весь стал деревянным — вот-вот заскрипит, — повернулся спиной к Дюшке, все той же ошупывающей походочкой двинулся на Миньку. И Минька втянул свою большую голову в узкие плечи.

— Бери верёвочку! Ну!

— Минька! Пусть он тронет тебя! — крикнул Дюшка и, навешивая кирпич, шагнул вперёд.

Колька Лысков отскочил в сторону, но счастливое выражение на съёженной физиономии не исчезло, наоборот, стало ещё сильнее: «Что будет!»

— Бери, гад, верёвочку!

— Минька, сюда! Пусть только заденет!

Минька не двигался, вжимал голову в плечи, глядел в землю. Санька нависал над ним, шевелил руками, поёживался спиной, однако Миньку не трогал.

Картаво кричало лягушачье болото.

— Минька, пошли отсюда!

Минька вжимал в плечи голову, смотрел в землю.

— Минька, да что же ты? — Голос Дюшки расстроено зазвенел.

Минька не пошевелился.

— Ты трус, Минька!

Молчал Минька, молчали ребята, передёргивал спиной Санька, кричало болото.

— Оставайся! Так тебе и надо!

Сжимая в руке тяжёлый кирпич, Дюшка боком, оступаясь на кочках, двинулся прочь.

По улице, прогибая её, шли тяжкие лесовозы, заляпанные едкой весенней грязью. Они, должно быть, целый день пробивались из соседних лесопунктов по размытым дорогам, тащили на себе свежие, налитые соком еловые и сосновые кряжи. Они привезли из леса вместе с брёвнами запах хвои, запах смолы, запах чужих далей, запах свободы.

Над крышами в отцветающем вечернем небе дежурил большой кран. Дюшкин друг и брат. И за рычанием лесовозов улавливался растворённый в воздухе невнятно-нежный звон.

Дюшка бросил ненужный кирпич. Дюшке хотелось плакать. Санька теперь не даст проходу. И Минька предал. И Миньку Санька всё равно заставит убить лягушку. Хотелось плакать, но не от страха перед Санькой и уж не от жалости к Миньке — так ему и надо! — от непонятного. Сегодня с ним что-то случилось.

Что?

Кого спросить! Нет, нет! Нельзя! Ни отцу, ни матери, если только большому крану...

И Дюшка почувствовал вокруг себя пустоту — не на кого опереться, не за что ухватиться, живи сам как можешь. Как можешь?.. Земля кажется шаткой.

И стоит перед глазами Римка — лёгкие летающие руки, курчавящиеся у висков волосы... И не прогнать из головы дышащую животом лягушку... и он ненавидит Саньку! Всё перепуталось. Что с ним сейчас?..

Рычат лесовозные машины, тащат тяжёлые бревна, в тихом небе дремлет большой кран. Стоял посреди улицы Дюшка Тягунов, мальчишка, оглушённый самим собой.

Откуда знать мальчишке, что вместе с любовью приходит и ненависть, вместе с неистовым желанием братства — горькое чувство одиночества. Об этом часто не догадываются и взрослые.

Лесовозы прошли, но остался запах бензина и хвойного леса, остался растворённый в воздухе звон. Это с болот доносился крик лягушек. Крик неистовой любви к жизни, крик иступлённой страсти к продолжению рода, и капель с крыш, и движение вод в земле, и шум взбудораженной крови в ушах — всё сливалось в одну звенящую ноту, распиравшую небесный свод.

4

Дома шёл разговор. Как всегда, шумно говорил отец, как всегда, о своём большом кране:

— Кто знал, что в этом году будет такой паводок! Берег подмывает, гляди да локти кусай — кувырнётся в воду наш красавец. А кто настаивал: надо выдвинуть в реку бетонный мол. Нет, мол, — накладно. Из воды выуживать эту махину не накладно? Да дешевле новый кран купить! Всегда так — экономим на крохах, прогораем на ворохах!..

У матери остановившийся взгляд, направленный куда-то внутрь себя, в глубь себя. Она неожиданно перебила отца:

— Федя, ты не помнишь, что случилось пятнадцать лет назад?

— Пятнадцать лет?.. Гм!.. Пятнадцать... Нет, что-то не припомню... Кстати, как сегодня здоровье твоего Гринченко?

— Представь себе, лучше.

— А почему похоронное настроение, словно у тебя там несчастье?

— Да так... Вдруг вот вспомнилось... Пятнадцать лет назад бежали ручьи и капало с крыш, как сегодня.

Отец стоит посреди комнаты в клетчатой рубашке с расстёгнутым воротом, взлохмаченная голова под потолок. Косит глазом на мать — озадачен.

— Что за загадки? Говори прямо.

— Пятнадцать лет назад, Федя, в этот день ты мне поднёс... белые нарциссы, помнишь ли?

— Ах да!.. Да!.. Бежали ручьи... Помню.

— С этих цветов, собственно, и началось.

— Да, да.

— Ты тогда был неуклюжий, сутулился... Цветы, ручьи и твоя слоновья вежливость.

— Действительно... Я боялся тогда тебя.

— Я прижимала твои цветы и думала: господи, возможно ли так, чтобы просыпаться по утрам и видеть этого смущающегося слона день за днём, год за годом. Не верилось.

— Мы вместе, Вера, пятнадцать лет...

— А вместе ли, Фёдор? Краны, тягачи, кубометры, инфаркты, нефриты — гора забот между нами. Чем дальше, тем выше она... Федя, ты мне уже никогда больше не дарил цветов. Те белые нарциссы — первые и последние.

Отец грузно зашагал по комнате, влезая пятернёй в растрёпанные волосы, мать глядела перед собой углублёнными глазами.

— Белые нарциссы... — с досадой бормотал отец. — Я даже еловых шишек не могу здесь поднести, к нам приходят раздетые донага бревна... Вера, ты сегодня что-то не в настроении. Что-то у тебя случилось? Какая неприятность?

— Случилась очередная весна, Федя.

Мать и отец даже не заметили вернувшегося с улицы Дюшку, никто не спрашивал его, сделал ли он домашние задания. Он так и не решил задачу о двух пешеходах.

Бабушка Климовна штопала Дюшкин свитер, тоже прислушивалась к разговору о нарциссах, шумно вздохнула:

— Ох, батюшки! Мечутся, всё мечутся, не знай чего хотят.

Дюшку не волновали белые нарциссы, до них ли сейчас! Он потихоньку взял «Сочинения» Пушкина, убрался в другую комнату, раскрыл книгу на портрете Натальи Гончаровой. Белое бальное платье с вырезом, нежная шея, точёный нос, завитки волос на висках — красавица.

*Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.*

5

Утром он рано проснулся с кипучим чувством — скорей, скорей! Едва хватило сил позавтракать под воркотню Климовны, схватил свой портфель — и на улицу. Скорей! Скорей!

Но, спрыгнув с крыльца, он понял, что поторопился.

Улица была тихо населена, но не людьми, а грачами. Большие парадно-мрачные птицы молчаливо вперевалку разгуливали по дороге, каждая в отрешённом уединении носила свой серый клюв, нет-нет да трогая им землю задумчиво, рассеянно, брезгливо. Большие птицы, чёрные, как головешки, углублённые в свои серьёзные заботы. Странное население, а потому и сама улица Жан-Поля Марата кажется странной, словно в фантастической книжке: люди вымерли, хозяевами остались мудрые птицы, один Дюшка случайно уцелел на всей земле. Представить и — бр-р-р! — жутковато.

Но жутковато так, между делом. Дюшку беспокоили сейчас не грачи, он только теперь сообразил, чего хотел, почему спешил: не пропустить Римку, чтобы идти следом за ней до самой школы (боже упаси, не рядышком!), издали глядеть, глядеть... Скывающее пальто, кусочек тонкой белой шеи между воротником и вязаной шапочкой. Кусочек белой и тёплой кожи...

Но пуста улица, по ней лишь гуляют прилетевшие из дальних стран грачи. Надо ждать, но это трудно, и скоро на улице появятся прохожие, станут подозрительно коситься: а почему мальчишка топчется у крыльца, а кого это он ждёт?..

И опять влез в мысли непрошенный Санька Ёраха. Он-то уж помнит вчерашнее, он-то уж непременно будет сторожить на дороге. Просто кулаками с Санькой не справишься. И снова в грудь отравой полилась бессильная ненависть: зачем только такая пакость живёт на свете?

Дюшка стоял возле крыльца, глядел на грачей, на молодую, крепкую берёзку, окутанную по ветвям сквозным зелёным дымком, на старый пенёк посреди истоптанного двора. Днём этот пенёк как-то незаметен, сейчас нахально лезет в глаза. И неспроста!

Неожиданно Дюшка ощутил: что-то живёт на пустой улице, что-то помимо грачей, берёзки, старого пня. Солнце переливалось через крышу, заставляло жмуриться, длинные тени пересекали помятую машинами дорогу, грачи блуждали между тенями, в полосах солнечного света. Что-то есть, что-то, заполняющее всё, — невидимое, неслышимое, крадущееся по посёлку мимо Дюшки. И оно всегда, всегда было, и никто никогда не замечал его. Никто никогда, ни Дюшка, ни другие люди!

Дюшка стоял затаив дыхание, боясь спугнуть своё хрупкое неведение. Вот-вот — и откроется. Вот-вот — великая тайна, не подвластная никому. Стоит лишь поднапрячься — вот-вот...

Берёза... Она в сквозной дымке. Вчера этой дымки не было — ночью распустились почки. Что-то тут, рядом, а не даётся.

Грачи неожиданно, как по приказу, дружно, молча, деловито, с натужной тяжестью взлетели. Хлопанье крыльев, шум рассекаемого воздуха, сизый отлив чёрных перьев на солнце. Где-то в конце улицы сердито заколотился звук работающего мотора. Грачи, унося с собой шорох взбаламученного воздуха, растаяли в небе. Заполняя до крыш улицу грубым машинным рыком и грохотом расхлябанных металлических суставов, давя ребристыми скатами и без того вмятую щебёнку, прокатил лесовоз-тягач с пустым мотающимся прицепом.

Он прокатил, скрылся за домами, но его грубое рычание ещё долго билось о стены домов, о тёмные, маслянисто отсвечивающие окна. Но и этот отзвук должен исчезнуть. Непременно. И он исчез.

И берёза в зелёной дымке, которой вчера не было... Вот-вот — тайна рядом, вот-вот — сейчас!..

Пуста улица, нет грачей. Улица та же, но и не та — изменилась. Вот-вот... Кажется, он нащупывает след того невидимого, неслышимого, что заполняет улицу, крадётся мимо.

Хлопнула где-то дверь, кто-то из людей вышел из своего дома. Скоро появится много прохожих. И улица снова изменится. Скоро, пройдёт немного времени...

И Дюшка задохнулся — он понял! Он открыл! Сам того не желая, он назвал в мыслях то невидимое и неслышимое, крадущееся мимо: «Пройдёт немного *времени* ...»

Время! Оно крадётся.

Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы.

Вчера на берёзе не было дымки, вчера ещё не распустились почки — сегодня есть! Это след пробежавшего времени!

Были грачи — нет их! Опять время — его след, его шевеление! Оно унесло вдаль рычащую машину, оно скоро заполнит улицу людьми...

Беззвучно течёт по улице время, меняет всё вокруг.

И этот старый пенёк — тоже его след. Когда-то тут, давным-давно, упало семечко, проклюнулся росточек, стал тянуться, превратился в дерево...

Течёт время, рождаются и умирают деревья, рождаются и умирают люди. Из глубокой древности, из безликих далей к этой вот минуте — течёт, подхватывает Дюшку, несёт его дальше, куда-то в щемящую бесконечность.

И жутко и радостно... Радостно, что открыл, жутко — открыл-то не что-нибудь, а великое, дух захватывает!

Течёт время... Дюшка даже забыл о Римке.

— Дюшка...

Бочком, боязливо, склонив на плечо тяжёлую голову в отцовской шапке, приблизился Минька Богатов — на узкие плечики навешен истрёпанный ранец, руки зябко засунуты в карманы.

— Дюшка... — И виновато шмыгнул простуженным носом.

— Минька, а я время увидел! Сейчас вот, — объявил Дюшка.

Минька перестал мигать — глаза яркие, синие, а ресницы совсем белые, как у поросёнка, нос, словно только что вымытая морковка, блестит. И в тонких бледных губах дрожание, должно быть, от страха перед Дюшкой. Дюшке же не до старых счётов.

— Видел! Время! Не веришь? — Он победно развернул плечи.

— Чего, Дюшка?

— Время, говорю! Его никто не видит. Это как ветер. Сам ветер увидеть нельзя, а если он ветки шевелит или листья, то видно...

— Время ветки шевелит?

— Дурак. Время сейчас улицу шевелило. Все! То нет, то вдруг есть... Или вот берёза, например... И грачи были да улетели... И ещё пенёк этот. Погляди, как его время...

Минька глядел на Дюшку, помахивал поросёньими ресницами, губы его начали кривиться.

— Дюшка, ты чего? — спросил он шёпотом.

— «Чего, чего!» Ты пойми — пенёк-то деревом раньше был, а ещё раньше кустиком, а ещё — росточком маленьким, семечком... Разве не время сделало пенёк этот?

— Дюшка, а вчера ты на Саньку вдруг... с кирпичом. — Минька расстроено зашмыгал носом.

— Ну так что?

— А сейчас вот — в пне время какое-то... Ой, Дюшка!..

— Что — ой? Что — ой? Чего ты на меня так тарачишься?

Глаза у Миньки раскисли, словно у Маратки, ничейной собаки, которая живёт по всей улице Жан-Поля Марата; есть в кармане сахар или нет, та всё равно смотрит на тебя со слезой, не поймёшь, себя ли жалеет или тебя.

— Ты не заболел, Дюша?

И Дюшка ничего не ответил. Сам вчера за собой заметил — что-то неладно! Вчера — сам, сегодня — Минька, завтра все будут знать.

Улица как улица, берёза как берёза, и старый пенёк всего-навсего старый пенёк. Только что радовался, дух захватывало... Хорошо, что Минька ничего не знает о Римке.

И ради собственного спасения напал на Миньку сердитым голосом:

— Если я против Саньки, так уж и заболел. Может, вы все вместе с Санькой с ума походили — на лягуш ни с того ни с сего!.. Что вам лягушки сделали?

— Санька-то тебе не простит. Ты его знаешь — покалечит, что ему.

— Плевал, не боюсь!

— Разве можно Саньки не бояться? Сам знаешь, он и ножом... Что ему.

Минька поёживался, помаргивал, переминался, явно страдал за Дюшку. И глаза у друга Миньки как у ничейного Маратки.

Дюшка задумался.

— Кирпич нужен. Чтобы чистый, — сказал он решительно.

— Кирпич? Чистый?..

— Ну да, не могу же я грязный кирпич в портфель положить. Теперь я всегда с портфелем буду ходить по улице. Санька наскочит, я портфель открою и... кирпич. Испугался он тогда кирпича, опять испугается.

Минька перестал виновато моргать, уважительно уставился на Дюшку: ресницы белые, нос — морковка-недоросток.

— Возле нашего дома целый штабель, — сказал он. — Хорошие кирпичи, чистые, толем укрыты.

— Пошли! — решительно заявил Дюшка.

Они выбрали из-под толя сухой кирпич. Дюшка очистил его рукавом пальто от красной пыли, придирчиво осмотрел со всех сторон — что надо, — опустил в портфель. Кирпич лёг рядом с задачиком по алгебре, с хрестоматией по литературе. Портфель раздулся и стал тяжёлым, зато на душе сразу полегчало — пусть теперь сунется Санька. Оказывается, как просто: для того чтобы жить без страха, нужен всего-навсего хороший кирпич. Мир снова стал доброжелательным. Минька с уважением поглядывал на Дюшкин портфель.

Они отправились в школу. Подждать Римку вместе с Минькой глупо. Да и какая нужда? И всё-таки хотелось её видеть. Хотелось, хотя умом понимал — нужды нет!

Санька не встретился им по дороге.

6

Он успел её увидеть перед самым звонком в толчее и сутолоке школьного коридора. И сейчас, на уроке, он тихо переживал это своё маленькое счастье.

— Тягунов! Фёдор! Ты уснул?

Женька Клюев, сосед по парте, ткнул Дюшку в бок:

— Вызывают. К доске.

Учителя математики звали Василий Васильевич, и фамилия у него тоже Васильев, а потому и прозвище — Вася-в-кубе. Он был уже стар, каждый год грозитя уйти на пенсию, но не уходит. Высок, тощ, броваст, с прокалённой, как бок печного горшка, лысиной, с висячим крупным носом и басист. Его бас, грозные брови, высокий рост пугали новичков, которые приходили из начальных школ. Ребята чуть постарше хорошо знали — Вася-в-кубе страшен только с виду.

Он всегда о ком-нибудь хлопотал: то путёвку в южный пионерлагерь больному ученику, то пенсию родителю. Почти всегда у него дома на хлебах жил парнишка из деревни, в котором Вася-в-кубе видел большой талант, занимался его развитием.

Он верил, что талантливы все люди, только сами того не знают, а потому таланты остаются нераскрытыми. И он, Вася-в-кубе, усердствовал, раскрывал.

Рассказывают, что, когда Лёвка Гайзер, тогда ещё ученик пятого класса, начал решать очень трудные задачи, Вася-в-кубе плакал от радости, по-настоящему, слезами, при всех, не стесняясь.

Он видел нераскрытый талант и в Дюшке, чем сильно отравлял Дюшкину жизнь. Математика Дюшке не давалась, а Вася-в-кубе не уставал этому огорчаться.

Сейчас Дюшка стоял у доски, а Василий Васильевич мерил длинными ногами класс в ширину, от двери к окну и обратно.

— Это что же, Тягунов, такое? — расстроенным громыхающим басом. — Что за распушенность, спрашиваю? Куда же ты катишься, Тягунов? Идёт последняя четверть. Последняя! У тебя две двойки, сейчас поставлю третью! А в итоге?.. — Густые брови Васи-в-кубе выползли почти на лысину. — В итоге ты второгодник, Тягунов!

Дюшка и сам понимал, что вчера эту проклятую задачу о путешественниках, пешком отправившихся навстречу друг другу, кровь из носу, а должен был решить. Ну, на худой конец, списать у кого. Не получилось. Дюшка убито молчал.

— Что ж... — Сморщившись, словно сильно заболела поясница, Василий Васильевич склонился над журналом: двойка!

Дюшка двинулся к своей парте.

— Куда? — грозно спросил Вася-в-кубе и указал широкой мослаковатой рукой на пластмассовую продолговатую коробочку на своём столе: — Почиститься!

— Я же не трогал мела.

— Почиститься!

Васю-в-кубе никак нельзя было назвать большим аккуратистом — носил брюки с пузырями на коленях, мятый пиджачок, жёваный галстук, — но почему-то он не выносил следов мела на одежде у себя и у других. Вместе с классным журналом он приносил

на уроки платяную щётку в коробочке. Каждому, кто постоял у доски, вручалась эта коробочка и предлагалось удалиться на минуту из класса, счистить с себя следы мела. Тем, кто ответил хорошо, ласковым голосом: «Приведи себя в порядок, голубчик»; кто отвечал плохо — резко, коротко: «Почиститься!» И уж лучше не спорить, Вася-в-кубе тут выходил из себя.

Дюшка с коробочкой в руках вышел из класса. В пустом коридоре, заполненном потусторонними голосами, привалясь плечом к стене, стоял Санька Ёраха, лицо хмурое, соломенные волосы падают на сонные глаза — за что-то, видать, выставили с урока.

Санька и Дюшка — один на один, лицом к лицу в пустом коридоре. Портфель с кирпичом в классе...

Но Санька не пошевелился, не оторвал плеча от стены, он только глядел на Дюшку из-под перепутанных волос сонно и холодно. И Дюшке стало стыдно, что он испугался. Во время уроков в коридоре Санька не полезет.

Дюшка не спеша раскрыв коробочку, вытащил щётку, принялся чистить свои брюки, старательно, не пропуская ни одной соринки, словно чистка старых штанов — наслаждение.

Он чистил и ждал — Санька заговорит. Тогда Дюшка ему ответит, не спустит. Он чистил, а Санька молчал, смотрел. Дюшка прошёлся по одной штанине, принялся за другую — Санька молчал и смотрел в упор. И тогда Дюшка понял, что Санька молчит неспроста — уж очень сильно его ненавидит, иначе бы не выдержал, ругнулся. Молчит и глядит совиными глазами, молчит и глядит...

Дюшка принялся чиститься по второму разу — вдруг да Санька не выдержит, ругнётся хотя бы шёпотом. Но молчание. И пришла в голову простая мысль: а почему всё-таки Санька его ненавидит? Он хорошо знает, что Дюшка не станет его подстергать, ему, Саньке, нечего бояться Дюшки, жизнь не портит, настроение не отравляет, как это делает сам Санька, а всё-таки ненавидит. Только за то, что он, Дюшка, не захотел бросить лягушку, не подчинился? Даже защитить Миньку ему не удалось. Мало ли чего кому не хочется. Вот он, Дюшка, например, не захотел решить задачу о путешественниках, Васе-в-кубе это неприятно, Вася-в-кубе огорчён, но представить — возненавидел за это... Нет, слишком!

И тут спохватился: а ведь и он Саньку ненавидит не только за то, что тот отравляет жизнь, заставляет носить с собой кирпич. Ненавидит, что Саньке нравится мучить кошек, убивать лягуш. Казалось бы, тебе-то какое дело — пусть, коли нравится. Нет, ненавидит Санькины привычки, Санькины выкаченные глаза, Санькин нос, Санькино плоское лицо, ненавидит просто за то, что он такой есть. Санька глядел остановившимся взглядом, и Дюшка попробовал представить себе, каким видит сейчас его Санька. Но не успел, так как кончилась последняя штанина, начать чиститься по третьему разу просто смешно, черт те что может подумать Санька.

Дюшка вложил щётку в коробочку, взглянул напоследок на Саньку, и взгляды их встретились... Стоячие, холодные, мутно-зелёные глаза. Да, не ошибся. Да, Санька неспроста молчит. Кирпич всё-таки ненадёжная защита.

Так в молчании и расстались. Дюшка вернулся в класс.

На перемене ему уже некогда было выглядывать Римку, он искал Лёвку Гайзера. Кирпич — ненадёжно, один только Лёвка мог помочь.

Он отыскал Лёвку возле кабинета физики, отозвал в сторону. У Лёвки серые спокойные глаза и ресницы, как у девчонки, загибались вверх. У него уже начали пробиваться усы, пока чуть-чуть, лёгким дымком над полными красными губами. Красивый парень Лёвка.

— Научи меня джиу-джитсу, Лёвка, или каратэ. Очень нужно, не просил бы.

— А может, мне лучше научить тебя танцевать, как Майя Плисецкая?

— Лёвка, нужно! Очень! Ты знаешь приёмы, все говорят.

— Послушай, таракан: незнаком я с этой чепухой. Вы там черт те какие басни про меня распускаете.

Зазвенел звонок, Лёвка ударил Дюшку по плечу:

— Так-то, насекомое! Не могу помочь.

И ушёл пружинящей спортивной походочкой. Одна надежда на кирпич.

7

— Минька! Вот травка выползла, зелёная, умытая. Почему она такая умытая, Минька? Она же из грязной земли выползла. Из земли, Минька! Из мокроты! На солнце! Ей тепло, ей вкусно... Она же солнечные лучи пьёт. Растения солнцем питаются. Лучи им как молоко... Ты оглянись, Минька, ты только оглянись! Всё на земле шевелится, даже мёртвое... Вон этот камень, Минька, он старик. Он давно, давно скалой был. Скала-то развалилась на камни, Минька... А потом льды тут были, вечные, они ползали и камни за собой таскали. Этот камень издали к нам притащен. Он самый старый в посёлке, всех людей старше, всех деревьев. У него, Минька, долгая жизнь была, но скучная. Ух какая скучная! Ему же всё равно — что зима, что лето, мороз или тепло...

Свершилось! Впереди шла Римка Братенева — вязаная шапочка, кусочек обнажённой шеи под ней. И тесное, выгоревшее коричневое пальто, и длинные ноги — походочка с лентой, разомлевшая. В самой Римкиной походке, обычно летящей, чувствуется слишком щедрое солнце, заставляющее сверкать и зеленеть землю, вызывающее ленивую истому в теле. Дюшке не до истомы. Шла впереди Римка в стайке, среди других девчонок, и счастье не умещалось в теле. Дюшка легко нёс тяжёлый портфель — спасительно тяжёлый, — он не боялся встречи с Санькой, а потому ничто

сейчас не омрачало его счастья. Дюшка говорил, говорил, слова сами лились из него, славя траву и влажную землю, лучи солнца и угрюмый валун при дороге. И как хорошо, что было кому слушать — Минька Богатов попевал мелким козлиным скоком со своим истрёпанным ранцем за спиной.

— Минь-ка-а! — Дюшку захлёстывала нежность к товарищу. — Это хорошо, что мы родились! Взяли да вдруг родились... И растём и всё видим! Хорошо жить, Минька!.. А я ненавижу, Минька... Я Саньку Ёраху ненавижу! Живёт себе лягушка, ему надо её убить. Живём мы, ему надо, чтобы мы боялись его. А я не боюсь! Буду ходить, куда хочу, глядеть, что хочу. Я только портфель с собой стану носить, пока себе мускулы не накачаю и приёмы не выучу. А тогда на что мне портфель с кирпичом, тогда я и без кирпича... И тебя я не дам, Минька, в обиду. Ты держись за меня, Минька!

Шла впереди Римка Братенева, девчонка в вязаной шапочке, от неё накалялся белый свет, от неё горел Дюшка. Он говорил, говорил, словно пел, и не мог с собой справиться. Песнь траве, песнь солнцу, песнь весне и жизни, песнь благородной ненависти к тем, кто мешает жить.

— Вон кран стоит, он мне вроде брата, Минька! Потому что поставлен отцом. Я отца, Минька, люблю, он, увидишь, ещё такое завернёт здесь, в посёлке, — ахнут все! И мать у меня, Минька, хорошая. Очень, очень, очень хорошая! Она людям умирать не даёт. Сама, Минька, устаёт, ночей не спит, чтобы другие жили. Это же хорошо, скажи, что нет? Хорошо уставать, чтоб другие жили. Правда, Минька?.. Минька, что с тобой... Минь-ка!

Дюшка только сейчас заметил, что по щекам Миньки текут слёзы. Идёт, спотыкается и плачет, и лицо у него какое-то серое, с выступающими сквозь кожу голодными косточками.

— Минька, ты что?..

И Минька сорвался, сгибаясь под ранцем, дёргающимся скоком побежал прочь от счастливого Дюшки.

— Ми-и-нь-ка!

Минька не обернулся. Дюшка остановился в растерянности.

Земля вокруг была ослепительно рыжей. Удалялась вместе с девчонками Римка Братенева — вязаная шапочка в компании цветных платочков, беретов, других вязаных шапочек.

И стало стыдно, что был так неумеренно счастлив. И недоумение: чем же он всё-таки мог обидеть Миньку?

Солнце обливало рыжую, по-весеннему ещё обнажённую землю. Дюшка стоял среди горячего, светлого, праздничного мира, не подозревая, что мир играет с ним в перевёртыши.

8

С отравленным настроением он взялся за ручку двери и вдруг услышал за дверью перекатывающийся бас. Дома его ждал гость столь неприятный, что хоть поворачивай и беги обратно на улицу. Минуту-другую Дюшка мялся, портфель, из которого он внизу вынул кирпич, снова показался тяжёлым. Может, и в самом деле погулять, пока незванный гость не уйдёт?..

Гость-то уйдёт, а беда останется, что уж труса праздновать. И Дюшка открыл дверь, обречённо шагнул через порог навстречу гремевшему басу.

Посреди комнаты лысиной под потолок стоял Вася-в-кубе, размахивал длинной рукой и ораторствовал. Отец и мать, пришедшие с работы на обед, озабоченная старая Климовна сидели вокруг застланного скатертью стола и почтительно слушали. Вася-в-кубе считался одним из самых умных людей в посёлке.

Мать не оглянулась в сторону сына, отец лишь стрельнул сердитым глазом. Климовна вздохнула и опустила седую, гладко причёсанную голову, а Вася-в-кубе покоился, но речи своей не прервал.

— Нет от природы дурных людей, есть дурные воспитатели! Да! — гремел Василий Васильевич, и оконные стёкла отзывались на его голос. — Мы, учителя, не справляемся с воспитанием, даём брак... Согласен! Подписываюсь! Но!.. Но ведь в школе ученик проводит всего каких-нибудь шесть часов в сутки, остальные восемнадцать часов — дома! Законно спросить: чьё влияние сильнее на ребёнка? Нас, учителей, или вас, родителей?..

— Вы хотите сказать, Василий Васильевич... — начал было отец Дюшки.

— Хочу сказать, Фёдор Андреевич, — голос Василия Васильевича стал твёрд, лицо величественно, — что когда вы в ущерб семье с раннего утра до позднего вечера пропадаете на работе, то не считайте — мол, это так уж полезно для общества. Обществу, уважаемый Фёдор Андреевич, нужно, чтоб вы побольше отдавали времени своему сыну, заражали его тем, чем сами богаты. Да! Вы трудолюбивы, вы работоспособны, а сын, увы, этого от вас не перенял. Не перенял он и вашу кипучую энергию и ваше чувство ответственности перед делом. Не обижайтесь за мою прямоту.

— Да что уж обижаться — вы правы, сына вижу только вечером, когда с ног валюсь, — отмахнулся огорчённо отец. — И мать тоже по горло занята. На Клавдии Климовне он...

Климовна ответила вздохом, мать промолчала.

— Поймите меня, — снова зарокотал Василий Васильевич, — я вовсе не хочу, чтобы каждый... каждый родитель влиял на своего ребёнка. Есть родители, от влияния которых я бы с удовольствием оградил детей. Возьмите всем известного Богатова... Кто он, этот Никита Богатов? Хронический неудачник! И это передаётся на его мальчика — забит, робок, несчастен! Можно только сожалеть о влиянии Богатова на своего сына.

До сих пор всё, что говорил Вася-в-кубе, было и ненужно и неприятно Дюшке, сейчас насторожился: Богатов Никита — отец Миньки, несчастный мальчик — сам Минька. А Дюшка только что видел Минькины слёзы...

Но Вася-в-кубе не стал углубляться в судьбу Миньки, его интересовала судьба Дюшки. Он повернулся к нему:

— Я хочу от тебя одного: чтоб ты потесней сошёлся с Лёвой Гайзером. Он-то уж может... Потесней! Понимаешь?

Он, Дюшка, понимал Васю-в-кубе, да тот плохо понимал Дюшку. Какой интерес Лёвке водиться с Дюшкой, с тем, кто моложе почти на два года. Лёвка таких тараканами зовёт. Будет звать тараканом и показывать, как решаются задачки про пешеходов... Уж лучше Дюшка сам как-нибудь. Но вслух этого не сказал.

Зато Климовна съебедничала:

— У него Минька, сын Богатова, — первый товарищ. Охо-хо!

— Василий Васильевич, спасибо вам, — подала голос мать. — Что в наших силах, то сделаем. Как-никак он у нас один.

— Ну и прекрасно! Ну и превосходно!.. А я, со своей стороны, уверяю вас, тоже... Под прицелом будешь у меня, голубчик, под прицелом!

Вася-в-кубе заметно подобрел. Он и вообще-то не умел долго сердиться, а уж после того, как поговорит, поораторствует, громко, всласть отчитает, всегда становится мирным и ласковым. Все ребята это знали и молчали, когда он ругался.

Он ушёл успокоенный и великодушный, родители проводили его до дверей.

Климовна, поджав губы, с выражением «пропащий ты человек» стала собирать на стол.

Отец вернулся в комнату, пнул стул, подвернувшийся на пути, навис над Дюшкой:

— Достукался! Краснеть за тебя приходится. Не-ет, я приму меры — забудешь улицу, Минек, Санек!.. Я найду способ усадить за рабочий стол!..

Мать опустила на стул и позвала:

— Подойди ко мне, Дюшка.

Отец сразу умолк, а Дюшка несмело подошёл. Он больше боялся тихого голоса матери, чем крика отца.

Мать положила ему на плечо руку и стала молча вглядываться, долго-долго, в углах губ проступали опасные морщинки.

— Дюшка... — И замолчала, снова стала вглядываться Дюшке в лицо. Наконец заговорила: — У меня сейчас в больнице умирает человек, Дюшка. Я сейчас уйду к нему и вернусь поздно... И завтра я должна быть там, в больнице, и послезавтра... Человек при смерти, Дюшка, должна я его спасти или нет?

— Должна, — выдавил Дюшка, в тон матери, тихо.

— Я спасу этого, появится другой больной. И мне снова придётся спасать... А может, мне лучше не спасать больных, заняться тобой? Ты здоров, тебе смерть не грозит,

но ты так глуп и ленив, что нужно следить, хватать тебя за руку, силой вести к столу, чтобы учил уроки.

— Черт! — В полном расстройстве отец пнул ногой стул; было ясно, что с таким же удовольствием он отвесил бы пинок Дюшке.

— Мам... — У Дюшки сжалось горло. — Мам... Я всё... Я сам... Не надо обо мне... думать.

Мать сняла с плеча руку, отвела глаза, сказала устало, словно пожаловалась:

— У меня сейчас сложная операция. Будем оперировать Гринченко. Я очень волнуюсь, Дюшка.

— Мам! Не думай обо мне. Я сам... Вот увидишь.

— А я всё-таки приму меры! Не-ет, я на самотёк не пущу! — Отец решительно направился к телефону, набрал номер: — Алло! Гайзер!.. Слушай, Алексей Яковлевич, просьба к тебе. И нет, не к тебе, а к твоему сыну. Пусть он займётся моим балбесом, подтянет по математике... Как мужчина мужчине прошу, так и передай — как мужчина мужчине... Ну, спасибо... Что — платформ нет? Выкатку приостановить?! Да ты что, Гайзер? В такую воду держать лес в запани! А если ночью прорвёт запань?.. Нет, дружок, нет, не крути! Вышибай и платформы — кровь из носу!..

И отец забыл о Дюшке.

Климовна вздохнула над столом:

— Э-эх! Курица пестра сверху, человек изнутри.

После обеда Дюшка никуда не пошёл, сел за стол, разложил перед собой учебники и задумался... Сначала о матери, которая, наверно, в эти самые минуты спасает от смерти какого-то незнакомого Гринченко. Потом всплыл в памяти Минька. Почему он вдруг?.. Минька расплакался, должно быть, потому, что Дюшка стал хвастаться отцом. Минькиного отца, Никиту Богатова, не любили в посёлке. Минькина мать бегала по соседям и жаловалась на мужа: не зарабатывает, не заботится о семье... И это верно, Минька ходит в школу в рваных ботинках.

Дюшка только издали видел Минькиного отца. Тот не выглядел уж таким злодеем — обычный человек, носит помятую шляпу, старое пальто с длинными полами, в которых он путается ногами на ходу, и нельзя никогда понять, пьян он или от рождения таков. И лицо у Минькиного отца мятое, как его шляпа, бесцветное, только глаза синие, точь-в-точь как у Миньки. Ещё у Минькиного отца странная привычка — всегда что-то бормочет на ходу. А однажды Дюшка его увидел в лесу — стоит один-одинёшенек на поляне, помахивает рукой и громко декламирует:

*— Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слёзы лил, но ты...*

Что-то непонятное. Стихи — деревьям! Станный. Он сам пишет стихи и раньше жил в городе, работал в газете, которая каждый день приходит в Куделино. Газету все читают, стихов Богатова никто не знает. И работает теперь Богатов простым делопроизводителем в конторе.

Жаль Миньку. Жаль, пожалуй, больше, чем себя.

Задача о путешественниках никак не решалась.

9

Лёвка Гайзер сам подошёл к Дюшке:

— После уроков потолкуем, таракан.

И вот после уроков они вышагивают бок о бок. Поролоновая курточка, джинсы в обтяжку, румяные щёки, серые глаза под девчоночьими ресницами, папка в руках и ещё какая-то умная книга, не уместившаяся в папку. Дюшка рядом со своим потасканным портфелем. Портфель оттягивает руку, в нём кирпич против Саньки Ёрахи.

Лёвка с лентой шагает, нехотя говорит, словно такие, как Дюшка, насекомые ему, занятому, надоедают каждый день:

— Вася-в-кубе считает, что к математике нужно тянуть за уши. У меня на этот счёт своё мнение...

У Дюшки своего мнения нет: отец заставляет и... дал слово матери.

— Я считаю, в математику нужно бросать человека, как в воду: выплывешь — значит, и дальше станешь плавать, не выплывешь — чёрт с тобой, тони, того стоишь.

Дюшка терпит свою насекомость, ждёт, как и когда умный Лёвка бросит его в математику, словно в воду.

— Вот... — Лёвка протянул Дюшке книгу. — Нырни в неё, постарайся с головой. Популярная, легко читается. Проплывёшь до конца — буду с тобой разговаривать. Не проплывёшь... Что ж, ходи по суше, как все ходят. Ничем тогда не смогу тебе помочь, таракан.

Дюшка взял книгу, попросил:

— Лёвка, не зови меня тараканом. — Лёвка впервые с интересом посмотрел на Дюшку, неожиданно согласился:

— Хорошо, не буду, если не нравится.

Нет, он всё-таки человек невредный, другой бы, видя, что не нравится, стал настаивать: «Так ты и есть таракан, клопа перерос, до кошки не дорос!» От благодарности захотелось поделиться с Лёвкой.

— Лёвка, а может такое быть — я тут время увидел.

— Время? Увидел?!

— Понимаешь, утром вышел на улицу, и вдруг... грачи улетели, машина прошла, почки на берёзе распустились. Все это видят, а никто не догадывается, что это время

всё меняет. Грачи были да нет, машина была да пропала, почек не было — появились. Хочешь стой, хочешь ходи, хочешь спи себе, а время идёт, всё меняет.

— Гм...

Лёвка не рассмеялся, наоборот, озадаченно закосил глазом на сторону.

— Любопытно. Только ты не время, нет, ты движение видел. Почки на берёзе — тоже движение.

— Ну да, движение. Ветер двигается — и видно, как он ветки раскачивает. Так и время...

— Гм... Движение-то во времени... А ты не такой простой, таракан... Ох, извини, забыл.

— Ничего. — Дюшка теперь готов был великодушно простить Лёвке и «таракана».

Грязную улицу Жан-Поля Марата пересекала кошка, брезгливо ставя лапы на мокрую землю. И Дюшка с Лёвкой загляделись на неё. Кошка достигла противоположного тротуара.

— Двадцать пять секунд! — объявил Лёвка.

— Чего — двадцать пять? — не понял Дюшка.

— Двадцать пять секунд прошло, пока кошка через улицу переходила. Она на двадцать пять секунд стала старше, мы с тобой — старше на столько же, земля вся старше, вселенная...

Дюшка задумался, ещё раз представив себе в мыслях кошку, брезгливо ступающую чистыми, вылизанными лапами по грязной земле, и неожиданно возразил:

— Нет, Лёвка, у кошки прошло не двадцать пять секунд.

— Я считал.

— Ты наши секунды считал, человечьи, не кошкины.

— Какая разница — наши, кошкины?

— Кошки живут на свете меньше людей. Пока она шла через улицу, у неё времени больше прошло.

— На земле одно время у всех.

— Как так одно? Мне вот тринадцать лет, а я ещё молодой. Кошка в тринадцать лет старуха. Если годы для людей и для кошек разные, то и секунды разными быть должны.

Лёвка помолчал, хмуря брови, уходя взглядом в сторону, и рассмеялся:

— Чёрт знает что у тебя в голове вертится! Кошкино время! Эйнштейн со смеху бы лопнул.

— Кто?

— Альберт Эйнштейн, самый великий учёный двадцатого века, а может, всех веков. Он относительность времени открыл.

— Чего времени?..

— Ну, ты этого не поймёшь сейчас. Ты прочитай книгу, потом поговорим.

— Хорошо. — Дюшка открыл портфель, стал втискивать в него книгу.

— А что он у тебя такой пузатый? Чем ты его набил?
 — Да ерунда — кирпич тут.
 — Кирпич?! Зачем?
 Дюшка помаялся — сказать ли Лёвке правду? И постеснялся.
 — Мускулы развиваю.
 — Чудной же ты... Мускулы. Кирпич в портфеле.
 — Вот если б ты мне приёмы джиу-джитсу показал...
 Лёвка только махнул рукой:
 — Чудной!
 Они расстались.

10

То, что на свете существует любовь, Дюшка хорошо знал. По кино, по книгам. Д'Артаньян по ошибке влюбился в миледи. Гринёв любил капитанскую дочку, Том Сойер тоже там какую-то девчонку в панталончиках... А Дюшкин отец когда-то, до Дюшкиного рождения, дарил матери белые нарциссы. А сколько раз любил Пушкин, и не только свою жену Наталью Гончарову. «Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна...» У Римки волосы у висков вьются, как у Натальи Гончаровой.

Наверное, он и сам должен когда-то влюбиться. Когда-то?.. А вдруг да уже! Вдруг да он в Римку Братеневу?..

Но в кино, в книгах те, кто любит, всегда встречаются, а при встречах всегда признаются друг другу: «Я вас люблю». И потом целуются... Дюшке же хочется видеть Римку, только видеть, лучше издали, а встречаться — нет, вовсе не обязательно. Чтоб встретиться, нужно же подойти совсем близко. Раньше подойти к Римке близко было нетрудно, теперь — нет, и стыдно и боязно. А сказать ни с того ни с сего: «Я вас люблю» — легче провалиться сквозь землю. А уж поцеловать... Думать не хочется.

Но что-то случилось, что-то странное с самим Дюшкой. И Римка тут ни при чём, она знает ничего не знает, смешно на неё сваливать. Случилось! Даже Минька заметил: «Ты не болен, Дюшка?» Вдруг да и в самом деле, вдруг да опасно! Не влюбился, нет! Любовь не болезнь, людей не портит.

Господи! Как плохо быть не таким, как все. Как плохо и как страшно! Одна надежда, что проснёшься в одно прекрасное утро и почувствуешь — всё прошло: на Римку не хочется глядеть, улица снова кажется обычной улицей и к Саньке Ёрахе нет выворачивающей душу ненависти, с Санькой можно даже пойти на мировую, выбросить ненужный кирпич.

Негаданное успокоение — встреча с Левкой Гайзером. Лёвка не рассмеялся, не спросил — болен ли ты? Лёвка самый умный из ребят...

Дюшка со страхом открыл Лёвкину книгу, не слишком толстую, но научную. Наверное, сплошная математика, утонет в ней Дюшка, не доплывёт до конца, отвернётся тогда Лёвка.

Но никакой заковыристой математики не было. В самом начале задавался простой вопрос: «Как велик мир?» И дальше говорилось о... толщине волоса. Оказывается, это самое малое, что может увидеть человеческий глаз. Толщина волоса в десять тысяч раз меньше вытянутой человеческой руки. Вытянутая рука в десять тысяч раз короче расстояния до гор на горизонте. Расстояние до горизонта только в тысячу с небольшим меньше диаметра Земли. А диаметр Земли опять же в десять тысяч раз меньше расстояния до Солнца...

В чёрной пустоте висит плоская, как блин, сквозная туча искр. Каждая искорка — солнце, их не счесть. Среди них и наше — пылинка.

А в стороне другая такая же туча искр — пылинок — солнца, солнца, солнца! Уже чужие, дальние — Туманности Андромеды, нашей соседки!

А за Андромедой новые и новые туманности, нельзя их сосчитать. Звёздные тучи, дым солнц — пылинок ключьями по всей великой пустоте. По всей, всюду, без конца!..

Хватит! Хватит!..

Страница за страницей мир безжалостно разбухал.

А Дюшка съёживался, становился всё ничтожней — страница за страницей — до ничего, до пустоты! Вместе с посёлком Куделино, вместе с родной Землёй, со своим родным Солнцем... Хватит! Да хватит же! Вселенная не слушается, Вселенная величаво растёт...

Ночью он не мог уснуть.

Спал дом, спал посёлок, слышно было, как шумит вышедшая из берегов река. Странно, люди могут спать спокойно, не ужасаются неуютности огромного мира.

Спят... Предоставили одному Дюшке терзаться за ничтожество всего человечества, живущего на затерянной Земле. И Дюшка не выдержал, тихонько поднялся с постели. Как уснуть, когда великая Вселенная стоит за стеной. Он выскользнул из комнаты, у дверей ощупью нашёл своё пальто, сунул босые ноги в сапоги...

Шумела река за домами, причмокивала под сапогами сырая земля, висели звезды над посёлком. К ним-то и поднял лицо Дюшка, взглянул в бездонную пропасть, редко заполненную лучащимися мирами.

И где-то, где-то в глубине этой распахнувшейся над ним пропасти стоит кто-то, какой-нибудь другой Дюшка, и, задрвав голову, тоже смотрит, наверняка мучается — неведомый брат, затерявшийся в бесконечном мире.

— Брат, тебе страшно, что мир так велик?

— Страшно.

— Лучше бы не знать этого?

- Лучше, покойней.
- Не знает ничего таракан. Хочешь быть тараканом?
- Нет.
- И я не хочу.
- Значит, хочешь всё-таки знать?
- Всё-таки хочу.
- А страх, а покой?
- Пусть.
- Ты дочитал свою книгу?
- Нет, не до конца.
- Я тоже.

Пропасть над головой, пропасть без дна, заполненная лучащимися мирами. Там где-то братья... Встретятся ли их взгляды? Услышат ли они друг друга? Объединятся ли они воедино против пугающей Вселенной?

Шумела река, спал покрытый звёздным небом посёлок Куделино. Стояли друг против друга — мёрзнувший от ночной прохлады маленький страдающий человек и равнодушное мироздание. Лицом к лицу — зреющий хрупкий разум и неисчерпаемая загадка бытия.

11

Утром, как всегда, он вышел из дому, чтоб по знакомой улице Жан-Поля Марата шагать в школу. Берёза, старый пенёк, продавленная дорога, бабка Знобишина, тянущая на верёвке упирающуюся козу. Ничего не изменилось в знакомом мире, а всё-таки он стал иным, снова перевернулся.

Берёза, пенёк, старуха с козой...

Всё кажется мелким, не стоящим внимания. Даже не хочется видеть Римку. Что — Римка? Тоже человек. Осуждающими глазами смотрит Дюшка на примелькавшуюся улицу и... ощущает к себе небывалое уважение. Никто не знает, как велик мир, как мелки люди, он знает, он не такой, как все.

Кирпич Дюшка всё-таки достал из-под лестницы, сунул в портфель — на всякий случай. Какое дело Саньке Ёрахе, что за эту ночь он, Дюшка, поумнел, открыл Вселенную, — возьмёт да и поколотит. Нет, лучше уж прихватить кирпич... на всякий случай.

— Здравствуй, Дюшка.

Как всегда, стеснительно, бочком, руки в карманах пальто, старый ранец за плечами — Минька. Дюшка не пошевелился, не соизволил взглянуть, не ответил, храня на лице мировую скорбь, молчал с минуту, а может, больше, наконец изрёк:

— Скажи: для чего люди живут на свете?

Минька виновато посопел носом, помялся, не обронил ни звука.

- Не знаешь?
- Не, — сознался Минька.
- А я знаю.

Минька ничуть не удивился, скучненько, без интереса, вежливости ради выдавил из себя:

- Для чего?
- Ни для чего! — торжественно объявил Дюшка. — Просто так живут.

И опять никакого впечатления, Минька безучастно поморгал бесцветными поросьячими ресницами.

— Родились сами по себе какие-то клопы — и я, и ты, и все на свете. Вот и живём. А подумаешь, так и жить не хочется.

Минька судорожно вздохнул, опустил лицо и тихо, глухо, как из подвала, вдруг признался:

- И мне, Дюшка, тоже.
- Чего — тоже? — насторожился Дюшка.
- Тоже жить не хочется.

Одно дело, когда так говорит он, Дюшка, вчера прочитавший умную книгу, получивший право глядеть свысока на весь род людской, другое — Минька, таких книг не читавший, ничего не знающий, значит, и не имеющий никаких прав страдать, как страдает сейчас Дюшка.

- Это почему же тебе-то?..
- Да отец с матерью всё... Жизни нет, Дюшка.

Минька поднял глаза, влажные, но не собачьи, а загнанные, как у раненой птицы. Птичье, беспомощное и в бледном до голубизны лице, в торчащем носе. И Дюшка вспомнил, что он до сих пор и не знает толком, почему тогда расплакался Минька. Даже забыл об этом... «Для чего живут люди на свете?»

- Мамка каждый день плачет. Отец ей жизнь загубил, Дюшка.
- Как — загубил?
- Да женился на ней.
- Женился и не любит, что ли?
- Любит, очень любит. То и беда, Дюшка, так любит, что без матери умрёт.
- Это же хорошо, Минька.
- Плохо, Дюшка. Отец от этой любви вроде заболел, делать ничего не хочет. У меня вон ботинки рваные, у матери платья нового нет, а он... любит, видишь ли.
- Недобрый он, что ли?
- Добрый, Дюшка. Только это всё равно плохо. От его доброты всё и получается не как у людей. Я ненавижу его, Дюшка!.. — Слезы в синих глазах и срывающийся, захлёбывающийся голос: — Думаешь, за доброту ненавидеть нельзя? Можно!.. Он добрый, а плохой. Все из-за него над нами смеются, над матерью тоже. Мать каждый

день плачет, Дюшка. Отец ей жизнь загубил. Она и сейчас ещё красивая, а он?.. Погляди, как мы живём, мамка себе платья купить не может. Если б ещё пил отец, как другие, так не обидно.

И тут стукнула дверь на выходе: топ, топ, топ — по ступенькам крыльца. И по улице словно дунул свежий ветерок — мимо пробежала Римка Братенева, крикнула на ходу:

— Чирикаете, чижики! В школу опоздаете!

Она сняла сегодня тесное зимнее пальтишко, в коротенькой курточке — освобождённая, летящая. Топ, топ, топ! — по дощатому тротуару прозрачные звуки. Топ, топ — по всей улице, словно музыка. Освобождённая и чуточку нескладная. Уносит сейчас летящим налётом свою хватающую за душу нескладность.

«Чижики!» — подумаешь, задавака.

От Минькиных слов съёжилась, погасла разгоревшаяся вчера Вселенная. Плевать на то, что Солнце — пылинка, что Земля невразумительна, плевать, что ты сам ничто, плевать на вопрос — для чего живут люди на свете? Не плевать на Миньку, на его слёзы. Хочется любить и жалеть всё на свете — эту рыжую весеннюю улицу, большой кран над крышами, затоптанные доски тротуара, которых только что коснулись быстрые Римкины ноги.

Любовь и жалость выплеснулись на Миньку.

— Минька! Не смей реветь! Ты смотри — хорошо как кругом!.. У тебя же друг есть, Минька! Я! Я твой друг! Я тебе помогу чем хочешь! Честное слово, не вру! Ты лучше всех ребят... Брось реветь! Брось, говорю, не то стукну!..

Но Минька уже не ревел, слёзы ещё блестели на его глазах, но он уже застенчиво улыбался.

12

Так много навалилось, что на всё стало не хватать Дюшки, — жизнь узка и тесна, не развернёшься.

Кончились уроки, все заспешили по домам. Домой отправилась и Римка. Дюшке хотелось кинуться за ней следом. Идти бок о бок с верным Минькой, смотреть в узкую спину, чувствовать незримую натянутую струну — от неё к нему — и изумляться взалёб лезущей во все щели траве, каменному упрямству валуна при дороге, нагретости крыш, синеве дня, собственному существованию на этом свете.

Но он не успел переговорить с Лёвкой. Разговор настолько серьёзен, что его нельзя было втиснуть между уроками в какую-нибудь перемену.

Уроки кончились, звала за собой Римка. И звала... Нет, не Лёвка. Звала только что открытое мироздание. Что делать, когда один только Лёвка знаком с ним. Мироздание перевесило Римку.

— Лёвка, ты почему мне такую книгу дал? Она же не о математике, совсем о другом.

Они устроились в пустом спортзале на сложенных в углу матах. Лёвка только что сошёл с турника — вертел «солнце», делал «склёпку», «перекидку» и даже стойку на руках вниз головой: мастер, залюбуешься. Дюшка решил — надо тоже начать заниматься на турнике, накачивать себе мускулы. Лёвка накинул поверх майки на голые плечи куртку, опустился рядом.

— Ты что, уже прочитал? — спросил он недоверчиво.

— Пока не всю, всё не успел... Страшно, Лёвка.

— Страшно? Почему?

— Да мир-то вон какой! А я? А ты? А все мы, люди?.. Я, Лёвка, твою книгу читал и нет-нет да себя щупал: есть ли я на свете или только кажется?

— Ну и что, нащупал?

— Есть, но уж очень, очень маленький. Всё равно что и нет.

— А голову свою ты щупал?

— Ты, Лёвка, не смейся. Я серьёзно.

— И я серьёзно: пощупай голову, прошу.

Нет, Лёвка не улыбался, косил строго серым глазом на Дюшку.

— Голова как голова, Лёвка. Ты чего?

— А того, что она по сравнению со звёздами и галактиками мала. Не так ли?

— Сравнил тоже.

— А в неё вся Вселенная поместилась — миллиарды звёзд, миллиарды галактик. В маленькую голову. Как же это?

Дюшка молчал.

— Выходит, что эта штука, которую ты на плечах носишь, таракан, — уж извини! — самое великое, что есть во Вселенной.

— Я... Я не подумал об этом, Лёвка.

— То-то и оно. Не размеры уважай.

Дюшке и в самом деле захотелось вдруг до зуда в руках пощупать свою великую голову, начинённую сейчас Вселенной. Действительно! Но стеснялся Лёвки, подавленно стоял, не смея радоваться.

А Лёвка победно продолжал:

— Ты спросил: почему я такую книгу тебе подсунул — не о математике? Когда яму вырытую видят, никто о лопате не вспоминает. Без лопаты, голыми пальчиками, большую яму не выкопаешь. Вот и учёные раскопали Вселенную с помощью математики.

— А я-то думал, они, учёные, в телескопы всё это увидели, — несмело произнёс Дюшка.

— Разве можно увидеть всё даже в телескопы?

— В телескопы нельзя?..

— Ты видишь ночью звёзды?

— Вижу, конечно, — ответил Дюшка.

— А расстояние от Земли до этих звёзд ты видишь?

— Как — расстояние?

— А так, расстояние — сколько километров или световых лет?.. Увидеть это нельзя, надо вычислить. А можно ли увидеть в телескоп, что случится на небе через год, через десять лет, через сто?

— Ну уж?

— Нельзя увидеть, а вычислить можно.

— Ну-у...

— Солнечные или лунные затмения, например... Спроси — ответят на сто лет вперёд: в такой-то день, такой-то час, в такую-то минуту начнётся, тогда-то кончится, с такого-то места лучше всего будет видно. Колдуны и гадалки, сравнить с математиками, сопляки. Последний дурак тот, кто математику не уважает.

— Я её уважаю, Лёвка, только...

— Только математика меня не уважает?

— Неспособен я, Лёвка. Какую задачку ни возьму — трудно, сил нет.

— Потому что неинтересно.

— А разве задачки бывают интересными?

— Вот те раз! — Лёвка рассмеялся. — Да каждая, кроме уж очень простых.

— Очень простые... неинтересны?

— Само собой.

— А я думал: само собой, неинтересны трудные.

— А ты представь себе: задачка — это тайна. Чем труднее тайна, тем сильнее хочется её разгадать.

— Путешественники друг дружке навстречу идут. Из пункта А да из пункта Б — какая тут тайна, да ещё интересная?

— А если из пункта А комета летит, а из пункта Б движется наша Земля. Интересно или неинтересно знать, встретятся ли эти путешественники, Земля и комета, в какой точке, когда? Если встретятся, то это же катастрофа.

— А может такое быть, Лёвка?

— Было уже.

— Да ну! Катастрофа?..

— О Тунгусском метеорите слышал? Это комета, правда небольшая, по Земле ша-рахнула. Хорошо, что в дикие леса шлёпнулась.

— Вдруг да большая прилетит?..

— Тогда встретим её ракетой с бомбами, чтоб в куски! Вот тебе снова задачка с двумя путешественниками — ракетой и кометой...

Дюшка помолчал и вздохнул:

— Счастливый ты, Лёвка. Всё узнавать наперёд станешь.

И Лёвке, по всему видать, понравилась зависть, прозвучавшая в Дюшкином голосе, он порозовел от удовольствия.

— Всё не всё, а кое-что, — ответил он скромно.

— Лёвка, а можно через математику узнать, сколько я лет проживу, когда умру?

— Зачем тебе это?

— Интересно. Очень даже. Тайна же!

Лёвка закосил глазом в сторону.

— Я тут поважней нащупал... тайну... — сказал он.

И замолчал, и ещё сильнее закосил глазом.

— Важней ничего нет, Лёвка.

— Я не хочу знать, когда я умру. Я хочу знать, рожусь ли я снова после смерти.

Последние слова Лёвка произнёс глухим, замогильным голосом. В большом, пустынном, сумрачном спортзале на минуту наступила особенная тишина, укрывающая что-то грозное, чего нельзя касаться людям.

Стараясь не спугнуть эту тишину, Дюшка выдавил из себя шёпотом:

— Лёв-ка-а, разве такое может?..

— Может не может — надо узнать.

— После смерти чтоб?..

— После смерти.

— Вроде привидения? Да?

— Привидение — сказки!

— А как тогда?

— По-настоящему, как сейчас.

— Лёвка-а, ты не болен?

— Ничуть.

Сердитый и вовсе не смущённый ответ восхитил Дюшку в душе.

— Вот это-о да-а!.. Умереть и снова!.. Только ведь в могилу закопают, Лёвка.

— Пусть.

— А может, ты всё-таки болен?

— Слушай, таракан... Хотя вряд ли ты поймёшь.

— Я постараюсь, Лёвка. Я изо всех сил постараюсь!

— Надо для этого открыть одну проблему...

— Чего?

— Проблему. Научную. Великую. Над которой сейчас бьются все учёные мира. Я жизнь положу, а открою.

— Какая она, Лёвка?

— Да с виду простая: бесконечна наша Вселенная или конечна?

— А-а, — протянул Дюшка разочарованно. — Зачем это?

— Это ключ к тайне, будем ли мы после смерти жить или нет.

— Бесконечна... Вселенная... Ключ?

— Скажи: из чего я состою?

— Из костей, из мяса, как все.

— Из атомов я состою. Из самых обычных атомов, сложенных особым порядком.

— Ну и что?

Лёвка так интересно начал, но сейчас что-то путал: бесконечность, Вселенная, атомы, чёрт знает что!

— Атомов во мне очень-очень много, но всё-таки число их конечно. Понимаешь?

— Нет, Лёвка.

— Я конечный, а Вселенная-то бесконечна. Учти, Дюшка, дважды бесконечна — во времени и в пространстве.

— Тебе-то от этого какая выгода?

— Большая, Дюшка. Раз наша Вселенная нигде не кончается и никогда не кончается, то где-нибудь, когда-нибудь, рано ли, поздно, но наверняка... Понимаешь, наверняка! Случится невероятное — атомы случайно сложатся так, как они лежат во мне.

Лёвка замолчал, торжествуя, изумлённо, взволнованно взирая на Дюшку. А Дюшка подавленно задал всё тот же, уже надоевший, вопрос:

— И что?..

— Как — что?! — воскликнул Лёвка с дрожью в голосе. — Ведь это я! Это буду снова я! Я появлюсь во Вселенной где-то, когда-то, уже после смерти! Выходит, я бессмертен! Понял?

— Нет, Лёвка.

И Лёвка сразу увял:

— Туп же ты, таракан.

— Ну, а я — после смерти?

— И ты тоже. — Ответ без энтузиазма.

— А другие?..

— И другие. Все. Я не исключение.

Дюшка помолчал, соображая, наконец возразил:

— Нет, тут что-то не так. Ну, хорошо — ты один. Ну, я ещё — согласен. А то все... Нет, что-то не то.

— Ладно, таракан, замнём этот разговор для ясности. — Лёвка поднялся, скинул куртку, стал натягивать через голову рубаху.

Дюшка взялся за свой портфель с кирпичом. Пора было идти домой.

Дома после обеда он раскрыл задачник: «Два путешественника...» Тайна, даже две маленькие — сколько прошёл первый и сколько второй путешественник. Тайны так себе, самые завалящие, но для тренировки сгодятся. Дюшка навис над задачником и стал думать.

Путешественники не имели ни лиц, ни имён, ни характеров, они отличались друг от друга только тем, что один на полчаса раньше отправился в путь. Полчаса — тридцать минут... Минуты помогли открыть тайну пройденных километров. В другой задачке угол в градусах помог узнать высоту заводской трубы. В третьей — длина и ширина бака водонапорной башни подсказала, сколько пионеров отдыхало в пионерском лагере.

На улице Жан-Поля Марата зажигались окна. Большой кран купался в зелёном закате. Старуха Знобишина снова протащила на верёвке козу, на этот раз в другую сторону — к дому. Дюшка вышел погулять.

Он решил подряд несколько задач, и голова с непривычки отяжелела, казалось, даже немного распухла, но на душе — покойно. Дюшка был так доволен собой, что даже походка у него стала медленной и задумчивой.

Странная вещь математика. Она связывает между собой, казалось бы, самые несвязуемые вещи — градусы с заводской трубой, бак водокачки с отдыхающими пионерами! Или бесконечность Вселенной — кому, казалось бы, до неё какое дело! — нет, она обещает Лёвке Гайзеру новую жизнь... после смерти. Ничего себе!

За домами в тишине кричали лягушки, не столь шумно, как прежде, не столь звонко, но по-прежнему картаво, с усердием. Вспомнилась лягушка, распятая на Санькиной верёвочке, с ржаво-золотым глазом, дышащим жёлтым брюхом. Она, незваная, влезла в чинные и умные Дюшкины мысли о математике. Эта лягушка заставила Дюшку носить в портфеле кирпич. Лягушка и кирпич — тоже странная связь. И математика здесь ни при чём. Оказывается, не только в задачнике, но и в самой жизни есть эти странные до нелепости связи.

Лягушка и кирпич, бесконечная Вселенная и вторая жизнь как подарок... А старинная красавица, давным-давно умершая Наталья Гончарова, вдруг неожиданно нарушила спокойствие Дюшкиной жизни. Больше того, если б эта Наталья Гончарова сто с лишним лет назад носила другую причёску — не с завитками у висков, — с Дюшкой ничего особенного не случилось бы: не обращал бы теперь на Римку Братеневу внимания, не связался бы с Санькой из-за лягушки, не схватил бы очередную двойку у Васи-в-кубе, не сошёлся бы близко с Лёвкой Гайзером, не получил бы от него книгу о галактиках, не заметил бы странности задачника, не открыл бы для себя удивительных связей в мире. Подумать только, всё оттого, что Наталья Гончарова, жена Пушкина, носила модную для тех лет причёску с локончиками.

А вдруг да... Дюшка задохнулся от догадки. Вдруг да Наталья Гончарова и Римка Братенева!.. И очень даже просто, Лёвка Гайзер всё объяснил: атомы случайно сложи-

лись в Римке точно так, как прежде лежали в жене Пушкина. Родилась девчонка, никому и в голову не пришло, что она уже однажды рождалась. По ошибке её назвали Римкой. И сама Римка ничего не знает, только Дюшка нечаянно открыл сейчас её секрет...

Лёвка Гайзер неизвестно ещё появится ли, а Наталья Гончарова появилась... И где? В посёлке Куделино! С Дюшкой рядом!

Растекался над сумеречным посёлком зелёный закат. Тихо и пустынно на улице Жан-Поля Марата. Недружный крик лягушек не нарушает тишину. И покой, и удивление, и почтительный страх, и восторг Дюшки перед миром. Знакомый мир опять перевернулся — неожиданной стороной, дух захватывает.

И в этом вывернутом, неожиданном мире неожиданно возникла перед Дюшкой вовсе не странная, а надоевшие-знакомая фигура Кольки Лыскова. В мятой кепчонке, широкая улыбочка морщит обезьянье личико, открывает неровные зубы, ноги не стоят на месте, выплясывают.

— Дюшка! Хи-хи! Здравствуй... Гуляешь, Дюшка?

— Чего тебе, макака?

— А ничего, Дюшка. Мне — ничего... Хи-хи! Кто это, думаю, идёт? А это он, сам по себе... без портфельчика. Где портфельчик, Дюшка? Хи-хи! Ты же с ним не расставался...

Колька Лысков с ужимочкой оглянулся через плечо, и Дюшка увидел Саньку.

Тот стоял в стороне — угловато-широкий, ноги расставлены, руки в карманах, остановившиеся глаза, твёрдый нос — Санька Ёраха, мешающий жить на свете.

Он не двигался, он не спешил. А на болотах за домами упрямо картавили самые неумные лягушачьи певцы, прокрадывались по улице застенчивые сумерки, обжитым теплом светились окна домов, и над Санькиной головой в не помрачневшем ещё небе висели две-три бледные, невызревшие звезды. В самом центре вечно неожиданного мира, где бак водокачки связан с пионерами, бесконечность с новой жизнью, Наталья Гончарова с Братеновой Римкой, в самом центре, закрывая мир собой, — Санька. И за ту короткую минуту, пока Санька медлил, а Колька Лысков выплясывал, Дюшка ещё раз пережил открытие.

В его ли мире живёт Санька? Он же знать не знает, что бледные звёзды над его головой — далёкие солнца с планетами, для него нет бесконечной Вселенной, не подозревает, что лягушка может заставить человека носить кирпич в школьном портфеле. Санька живёт рядом с Дюшкой, но вокруг Саньки всё не так, как вокруг Дюшки, — другой мир, несколько не похожий. Сейчас Санька шагнёт... в Дюшкин мир.

Сучащий ногами Колька Лысков отбежал в сторону:

— Санька, он налегке сегодня, он без портфельчика! Слышал, Санька, он спрашивает: чего тебе?... Хи-хи! Скажи ему, Санька, чтоб понял. Хи-хи!

Санька, не вынимая рук из карманов, шагнул на Дюшку, произнёс с сипотцой:

— Ну!

— Чего — ну!

— А ничего — встретились. Не рад?

Они встретились, Санька вплотную к Дюшке, незваный гость из другого мира: круглые застывшие глаза, мёртвый нос, тяжёлое дыхание в лицо.

Кирпич лежал дома под лестницей. Не мог же Дюшка выйти вечером на прогулку с портфелем. Пуста улица, в домах мирно горят окна.

— Рад или не рад, спрашиваю?

— Днём-то боялся наскочить на меня.

Колька Лысков, держась в стороне, ответил за Саньку:

— Хитёр бобёр! Днём-то ты кирпич в портфельчике носишь. Зна-а-ем!

— А ты, Санька, что в кармане носишь? Покажи.

— Увидишь, успеется.

Дюшка успел присесть, Санькин кулак сбил с головы фуражку. Закрывая рукавом лицо, Дюшка приготовился ударить Саньку ногой, но неожиданно донёсся голос Кольки Лыскова:

— Шухер!

Послышалось Санькино пыхтение:

— П-пыс-сти, падло! Пыс-ти!

Он вырывался из рук какого-то человека, тот прикрывал Дюшку сутуловатой спиной, отталкивал Саньку:

— Охладись, парнишка, охладись!

— П-пыс-ти! Г-гад!

— И не скотинься, поганец, уши надеру!

Санька был сильнее всех ребят на улице, но перед ним стоял взрослый, хотя и мешковато топчущийся, неуклюжий, но всё-таки человек иной, не мальчишечьей породы.

— Уймись лучше, уймись, не распускай руки!

И Санька отступил, бессильно закричал:

— Ну, Дюшка, помни! Завтра встретимся! Прольётся кровушка!

— Кровушка?.. Ах ты гадёныш! Жить только начал, а уже звереешь.

— Я и тебя, огарок! И тебя! Ужо вот камнем из-за угла!..

— Эх, бить людей не умею, а стоило бы! — Прохожий стал оттеснять Дюшку в сторону:

— Идём отсюда, паренёк, идём от греха!

Вдалеке выплясывал Колька Лысков, кривлялся, кричал весело:

— Ой, Санька, умяли тебя! Ой, Санька, встречу испортили! А как было хорошо встретились!

— Ещё встретимся! Поплачешь, Дюшка. И Минька слезьми умоется.

— Эх, не умею людей бить!.. Идём, паренёк, идём! До дому провожу!..

Спасителем Дюшки был Минькин отец Никита Богатов в сбитой на затылок шляпе, суевающийся в своём слишком просторном пальто, с выражением досадливой зубной боли на узком лице. Он шёл вместе с Дюшкой, разводил длинными рукавами, бормотал, не заботясь о том, слышит его Дюшка или нет:

— Как вылечить людей от злобы? Жена мужа не уважает, прохожий прохожего, сосед соседа... Найти б такое, чтобы все друг к дружке с понятием: ты моё пойми, я — твоё. А то на вот, с самого детства — прольётся кровушка! Такие-то и портят жизнь. От таких-то, поди, и войны на земле идут...

Непонятный человек. Идут рядом, бок о бок, но он где-то. И бормотание его непонятно, и вообще, сам себе читает стихи, сам себе и деревьям... Опять всё не так, как вокруг Дюшки, — идут рядом, живут рядом, но в разных мирах. А Дюшкин отец тоже совсем, совсем рядом, но у Дюшки одно, у отца другое. И у матери другое, не похожее ни на Дюшкино, ни на отцовское, ни на Никиты Богатова... Неужели сколько людей, столько и разных миров? К Лёвке Гайзеру Дюшка чуть-чуть заглянул. Тоже ведь странный мир, там даже смерть считается какой-то настоящей... Хотелось бы заглянуть и к этому — Никита Богатов, Минькин отец, добрый человек, но сам Минька почему-то его не любит.

И Дюшка старательно прислушивается к бормотанию.

— Почему не понимаем друг друга? Да потому, что слова не найдём, которое бы до сердца дошло... Что слово? Звук, сотрясение воздуха? Нет — сила! Скажи хорошее слово человеку — и он счастлив. Хорошего родить не можем, ругань в нас легче рождается, ругань всегда наготове в каждом лежит... Пуццу кровушку! Тьфу! Вот ты, паренёк, знаешь ли хорошие слова?

— Знаю, — неуверенно ответил Дюшка.

— А ну скажи — какие?

И Дюшка растерялся, какое именно из хороших слов сказать сейчас, все они как-то вдруг вылетели из головы. Никита Богатов вздохнул:

— Ладно уж, не тужься, постарше тебя этого не знают. Хорошее слово, как чистый алмаз, редко. Беги давай домой, ты вроде тут живёшь. Беги, не жду от тебя. Ни от кого не жду. — И внезапно надтреснутым голосом прочувствованно продекламировал:

*Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть...*

Да-а, слово...

Богатов повернулся и пошёл, путаясь ногами в полах пальто, продолжая бормотать. Дюшка прибито стоял, смотрел в его сутулую спину, вдруг сорвался, рванулся следом:

— Дяденька Богатов! Дяденька!.. Спасибо вам!

— А, — сказал он вяло, едва оглянувшись. — Ладно.

Похоже, он не считал «спасибо» таким уж хорошим словом. А лучших слов Дюшка не знал.

— Минька, скажи, что плохого сделал тебе отец?

Молчание.

— Может, он бьёт тебя, Минька?

— Нет, что ты!

— И не пьёт?

— И не пьёт.

— И не ругается?

— И не ругается.

— Что тогда? Что?!

— Он... Он не такой, как все, Дюшка.

— А разве ты — как все? А я — как все? А Лёвка Гайзер — как все? А есть ли такие, которые — как все?

— Дюшка, я его то очень люблю, то ненавижу.

— Так не бывает, Минька.

— Бывает, Дюшка, бывает. У меня — так.

14

У матери на коленях лежит недовязанный свитер и губы сплюснуты в ниточку. Когда у матери неприятности, Климовна подсовывает ей вязанье: «Успокаивает». Иногда мать начинала возиться со спицами и в самом деле успокаивалась, но чаще не помогало — мать сидела неподвижно над недовязанным свитером, глядела прямо перед собой, сжав губы.

Не помогал свитер и теперь. Мать боялась за жизнь Гринченко, а сегодня неожиданно умерла девочка, недавно доставленная в больницу из дальней деревни.

Отец ходит по комнате на цыпочках, ворошит пятернёй волосы, пробует сердиться, но осторожно — как бы не осердилась в ответ мать.

— Ты же не могла знать, что у такой маленькой окажется больное сердце.

— Должна знать. Не проверила.

— Но у неё же воспаление лёгких!

— Тем более обязана снять кардиограмму.

Климовна вздохнула:

— Охо-хо! Одна у всех голова и та на ниточке.

Дюшка помаялся, помаялся и не выдержал, подлез к матери под руку, заглянул в запавшие глаза:

— Мам, а я виноват?

— Ты?.. В чём?

— Ты, наверное, много обо мне думала?

Мать отвела глаза.

— Нет, сынок, ты нисколько не виноват.

Дюшка, не зная, чем ещё помочь, решил сказать:

— Мам, эта девочка, может, не совсем умерла.

Мать легонько отстранила Дюшку:

— Иди, сынок, зачем тебе думать о смерти.

Отец перестал ходить взад и вперёд, насторожился. А Климовна вздохнула:

— Господи! Господи! Где уж не совсем. Ныне в царствие небесное даже мы, старые, не верим.

— Мам, девчонка ожить ещё может когда-нибудь.

— Такого не бывает, сынок.

— Мам, для этого надо знать только, что Вселенная бесконечна. Если бесконечна, то обязательно... И ты, и я, и все, и девочка.

— Что за чушь? — громыхнул стулом отец. — Кто тебе напел это?

Если б отец спросил иначе, Дюшка, наверное, и открыл, кто. Лёвка Гайзер не сказал, что это секрет. Но «чушь», но «напел», и стул пнул, и голос сердитый. Э-э, нет, Дюшка не собирается подводить Лёвку.

— Никто. Я сам.

— Сам ты не мог.

Мать вступилась за Дюшку.

— А я бы сама с охотой поверила, что от смерти есть лазейка. С охотой, если б могла.

— Как ты можешь так говорить: ты же врач, ты же соприкасаешься с наукой ежедневно!

— Потому и говорю, что едва ли не ежедневно сталкиваюсь с бессилием своей науки, и уж если не каждый день, то часто... Как вот сегодня — со смертью. Бессмысленной. Равнодушной. Если б поверить — есть лазейка в бессмертие!

— И что? Помогло бы твоё «поверить» бороться со смертью?

— Нет. Но мне самой было бы тогда куда легче.

— Так в чём же дело? Возьми да поверь. К твоим услугам даже старые рецепты: райские кущи, нетленные души, ангелы — серафимы и прочая белиберда.

— Слишком старые рецепты, наивные — вот беда. Не могу поверить.

— Меня лично смерть не пугает! Сколько мне там отпущено природой — шестьдесят, семьдесят, больше лет? Они для меня только и важны. Уж их-то я постараюсь использовать. Я за своё время успею наследить на Земле. А смерть придёт — что ж... Потусторонним спасать себя не стану.

Отец стоял посреди комнаты, расправив широкие плечи, вскинув большую взъерошенную голову, с обветренным, крепким, словно вычеканенным из меди лицом, — сам себе бог. И у матери впервые за этот вечер обмякли сплюснутые губы, дрогнули в улыбочке.

— Счастливый, — сказала она.

— Да! — с жаром ответил отец. — Да! Жизнью, мне выпавшей, счастлив.

— Но коза бабки Знобишиной счастливее тебя. Она живёт себе и знать не знает, что существует такая неприятность, как смерть.

Отец фыркнул, отпихнул ногой стул, слишком близко стоявший к нему, а мать со слабой улыбкой склонилась над вязаньем.

И тогда отец повернулся к Дюшке:

— Я знаю, откуда у тебя эта шелуха! Дружок твой тебе принёс, этот Минька! Отец у него не от мира сего, накрутил сыну...

— Уж верно, — подтвердила Климовна. — Их-то атлас липнет до нас.

И как раз в эту минуту за дверью раздался робкий полустук-полуцарапанье.

— Кто там? Входите! — крикнул отец.

И вошёл Минька. В новёшенькой куртке с «молнией», как у Лёвки Гайзера, — мечта всех ребят, мечта Дюшки. Встал на пороге со стеснительной светлой улыбочкой, но натолкнулся взглядом на Дюшкиного отца и заробел — улыбочка слиняла.

— У меня сегодня... День рождения у меня... Так я думал — Дюшку... Мама торт к чаю испекла.

— Мам, я пойду! — вскочил Дюшка, готовый спорить и доказывать.

— Надень только чистую рубашку. И хорошо бы подарок...

— Минька! Я тебе свой конструктор подарю!

Минька снова стеснительно заулыбался, а отец молчал. Отец попросту был лишён права голоса.

Коробку «Конструктор» Дюшка положил в портфель, вытряхнув из него учебники, а спустившись вниз, отдал конструктор Миньке, вместо него загрузил вынутый из под лестницы кирпич. Дураков нет — снова в лапы Саньке.

— Минька, одна девчонка... Но это секрет, Минька! Никому!

— Не. Могила.

— Одна девчонка второй раз живёт.

— Как это, Дюшка?

— Очень просто. Жила, жила когда-то да умерла, а потом второй раз родилась.

— Дюшка, ты чего?

— Спроси Лёвку Гайзера — так бывает, наукой доказано.

— Лёвка... Он знает. Только я всё равно не верю, Дюшка.

— Раньше эта девчонка знаешь кем была?

- Кем?
- Женой Пушкина.
- Д-дюш-ка!..
- Слышал, никому, секрет!

15

На столе стояло два торта — один уже разрезанный, для еды, другой большой, круглый, красивый, для свечей. Тринадцать тоненьких ёлочных свечей горели бескровно-бледными огоньками. Тринадцать лет Миньке, он на два месяца моложе Дюшки. Дюшке ко дню рождения такого торта со свечами не поставили — ни мать, ни Климовна не догадались.

И ещё на столе бутылка, не ситро какое-нибудь, а настоящее вино, красное до черноты, торжественный мрак под поблёскивающим стеклом, сразу видно — праздник не на шутку.

Минька не захотел снимать новую куртку, так в ней и уселся за стол — потеет, поёживается от удовольствия, шуруется на тринадцать свечей и улыбается так широко, что видна щербинка в зубах, которую раньше Дюшка не замечал.

Минькина мать в кружевном воротнике, с большой брошью, толстые косы обвиты вокруг головы, лицо крупное, белое, с выдвинутой вперёд нижней губой. Она и прежде всегда немного пугала Дюшку, сейчас он при ней чувствовал себя что-то неловко, в голове с самого дна всплывали забытые наставления вроде: не клади локти на стол, держи нож в правой руке, не смейся слишком громко. И Дюшка старался: не клал локти на стол, улыбался по-взрослому, не раскрывая рта, уголками губ, тонко, значительно, высокомерно, как какой-нибудь граф Монте-Кристо.

Минькин отец вблизи, в домашней обстановке, не выглядел уж таким странным, каким казался на улице: умытый, светлый, щупленький, беспокойный, с мальчишеским хохолком на макушке, с сухим, судорожным, вовсе не мальчишеским блеском в потемневших глазах. Он постоянно порывался помочь жене, но видел, что мешает, конфузился, впадал на минутку в уныние, но быстро веселел, снова начинал дёргаться и суетиться.

Наконец он ломкими, неловкими пальцами раскупорил парадную бутылку и, рискованно балансируя, налил марочное вино — полную рюмочку жене, полную рюмочку себе, капнул на донышко Дюшке, капнул Миньке, чинно вытянулся, значительно прокашлялся:

— Мой сын! Все мы желаем тебе счастья. А что это такое, сын?..

Минька кинул взгляд на мать, и щербинка в зубах исчезла, он поёжился и стал медленно клониться к столу. А мать — ничего, сидела с высоко поднятой головой, глядела прямо перед собой, и белое лицо её было спокойно.

— Ты радуешься новой куртке, сын. Радуйся, но помни — ни куртка, ни любая другая вещь не делает человека счастливым. Люди наделали много вещей, полезных, помогающих удобно жить, но счастливей от этого не стали...

— Никита...

Мать по-прежнему глядела перед собой со спокойным лицом.

— А что?.. Разве я что-нибудь?

— Хоть сегодня-то не заумничай, Никита. Дети же перед тобой. Что они поймут?

И Минькин отец загляделся в свою рюмку, в красные отсветы тяжёлого вина.

— Да... — сказал он. — Да... Так выпьем... Выпьем, сын, за то, чего не было никогда у твоего отца — за уважение.

Опрокинул в себя рюмку, сел, и хохолок бесцветных волос потерянно торчал на его макушке.

— А я, сынок, — подняла рюмку мать, — пью за то, чтобы стал ты нормальным человеком, жил нормальной, как у всех, жизнью. Это, наверное, и есть счастье.

— Что та-кое нор-маль-ность? — спросил Минькин отец.

— Не будем сегодня затевать спор, Никита.

— Да... Да... Хорошо, Люся. Не будем.

Выпили. Дюшка тоже — каплю сладкого, едкого вина со дна рюмки. За столом наступило молчание. Дюшка не клал локти на стол, улыбался уголками губ. Счастье, должно быть, очень приятная вещь, но Дюшка замечал, что разговоры о счастье у взрослых почти всегда бывают неприятными. И Дюшкин отец недавно говорил о счастье раздражённо: «Жизнью, выпавшей мне, счастлив». И Дюшкина мать не верила ему: «Коза бабки Знобишиной счастливее».

Заговорила Минькина мать, грустно, ласково, на этот раз глядя прямо на Миньку:

— Я хочу, сынок, чтоб у тебя в жизни было побольше маленьких радостей, хотя бы таких вот, как эта новая куртка. И чтоб ты и другим дарил такие маленькие...

— Нет! Нет! — снова пришёл в волнение Минькин отец. — Желать маленького — курточек, чистых простынь, вкусных пирогов... Нет! Нет! Унизительно!

Минька в своей новой нарядной куртке пригнулся к столу, прятал лицо. Минькин отец беспокойно ёрзал на стуле, глядел на Минькину мать просящими глазами, ждал возражений. Но Минькина мать молчала, только лицо её стало неподвижным, каким-то тяжёлым.

— Ты клеветешь на себя, Люся.

— Я простая баба, Никита, хочу уюта, чистоты, покоя, не заносясь высоко.

— Нет, нет, ты не такая! Не клуша!

— Была... Девчонкой верила: с милым рай и в шалаше. Теперь не устраивает.

Минькин отец повернулся к Дюшке:

— Мальчик, не верь ей. Это великая женщина!

— Брось, Никита, не надо.

— Четырнадцать лет мы живём рядом, в одних стенах. Я вижу её каждый день... Каждый день по многу, многу раз. И всякий раз, как я вижу её, во мне что-то обрывается. У меня изорвана вся душа, мальчик. Все внутренности в лохмотьях. И я... я благодарен ей за это. За рваные незаживающие раны... В конце концов исступлённая боль заставит меня найти такие слова, от которых все содрогнутся!

*Любить иных тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.*

— Это ещё не мои слова. Я пока не дорос до такого. Но дорасту, дорасту! Мир содрогнётся, когда я выплесну изболевшееся!

— Мир?.. От тебя?! Я уже разучилась смеяться, Никита.

— А вдруг да, вдруг да, Люся! Вдруг да явится Данте из посёлка Куделино, воспевающий свою Беатриче. Сколько было на свете таких, которые казались смешными, над которыми издевались при жизни, а после смерти ставили им памятники.

— О господи! После смерти — памятник. Чем ты себя баюкаешь? Какая цена этому бреду? Цена — наша жизнь, моя, его! — Мать кивнула на Миньку. — Он сегодня в первый раз получил подарок. А я хотела бы хоть раз, хоть на одну недельку вырваться из этого сырого леса, из этого заваленного брёвнами Куделина... Я ни разу в жизни не видела моря... «Любить иных тяжёлый крест». Ложь! Быть любимой — тяжёлый крест, когда тебя любят не просто, а с расчётом на... на памятник после смерти.

У Минькиной матери покраснел лоб, в глазах блестели слёзы, блестели и не проливались, а отец Миньки съёжился, втянул голову в плечи, на макушке, словно выстреленный, несолидный хохолок.

— Я раб. Я не могу взбунтоваться, — сказал он.

Мать Миньки ничего не ответила, сидела прямая, красивая, с высоким возмущённым лбом под тяжёлыми косами, смотрела куда-то далеко сквозь непролитые слёзы.

— Люся, поедом отсюда... в город. Я снова поступлю в газету.

Она не шевельнулась.

— Люся, я забуду, что презирал газетчину. Я буду писать статьи...

— Нас никто не ждёт в городе. Где нам там жить? И твои обзрения не прокормят... Если ехать, то без тебя, мне хватит одного груза — сына.

Минька сидел, уткнувшись лицом в стол, в новой куртке, такая во всём посёлке только у одного Лёвки Гайзера. У Минькиной матери на глазах невылившиеся слёзы, а у Миньки... не видно. Разговоры о счастье.

На круглом торте оплывали тонкие свечи — тринадцать свечей, тринадцать лет.

— Он стихи, Дюшка, пишет. Он всё знаменитым стать хочет.

— Минька, он очень несчастный.

— А мамка не несчастная, Дюшка?

— Он её любит, она его — нет. Кто несчастнее?

Вечерний воздух на улице Жан-Поля Марата был пронизан блуждающими запахами — земляной сыростью, горечью новорождённых листьев, сладковатой древесной истомой выкаченных из реки брёвен. И от самой реки через весь посёлок мощно тянуло пресной прохладой. Но всего сильнее пахнул одинокий молодой тополёк, стоящий на углу Минькиного дома. Неприметный днём, неказистый, забытый, он сейчас буйствовал в сумерках, источал такую напористую свежесть, что хотелось пить, пить, пить воздух, наливаясь бодрой силой. Весь пахучий мир лишь слабо подтягивал этому маленькому запеваля.

— Значит, мамка плохая, Дюшка?

— А разве я говорил, что она плохая?

— Не любит же, виновата.

— А можно любить, если не любит, Минька? Это всё равно — пей воду, когда не пьётся.

— Так мамка хорошая, Дюшка?

— Да.

— И папка хороший?

— Да.

— Как же так, Дюшка: мамка хорошая, папка хороший, а дома плохо, хоть беги?

Дюшка растерялся: случается ли, что хорошие люди творят плохое? Было бы куда проще найти виновника.

Выскочивший провожать Миньку убито топтался перед Дюшкой. Блуждали в воздухе беспокойные запахи. Неказистый, смиренный тополёк — главный бунтарь среди беспокойных.

16

«Одному учёному нужно было узнать, сколько в пруду рыб. Для этого он забросил сеть и поймал тридцать штук. Каждую рыбу он окольцевал и выпустил обратно. На другой день он снова забросил сеть и вытащил сорок рыб, на двух из которых оказались кольца. И учёный вычислил, сколько приблизительно рыб в пруду. Как он это сделал?»

Вася-в-кубе время от времени проводил «урок одной задачки» вместо контрольной. В такие дни он был строг, немногословен, важен — он ждал победителя. И уж этого победителя Вася-в-кубе заносил в отдельную книгу, хвалил где только мог: «Проницательного ума. Незаурядных способностей. Надежда школы».

Дюшка же победителем стать не мечтал — выше тройки никогда не хватал по математике. Но в последнее время он научился решать задачки. Каждая задача — нераскрытая тайна. Тайна и здесь...

Гуляют в пруду рыбы. Да разве можно их пересчитать? Руками не пересчитаешь — мол, раз, два, три, четыре... Ин-те-рес-но!

Дюшка по привычке записал: «Сколько рыб в пруду = X». Икс тайны не раскрыл, и Дюшка сразу забыл его.

С первого же раза учёный вытащил тридцать рыбин. Ничего улов, значит, водится в пруду рыба.

Тридцать рыб гуляют в пруду с кольцами на хвостах. Две из них — только две! — вытащил учёный среди сорока. Есть в пруду рыба, есть. Маловато вытащено с кольцами. Во сколько же раз больше неокольцованных? Сорок, а среди них всего две. Да ясно же — в двадцать раз!.. Ха! И это называется трудная задача! Тридцать окольцованных помножить... Но икс? При чём тут он? Куда бы его приспособить?

Все это как-то очень быстро пронеслось в Дюшкиной голове — за каких-нибудь пять минут. Вася-в-кубе не успел ещё стряхнуть с себя мел, не успел опуститься на стул.

— Чего тебе, Тягунов? — кисленько спросил он, увидев Дюшку, тянувшего руку.

Конечно же, он подумал, что Тягунову приспичило выйти из класса — самое время подалее от задачи.

— Я решил.

Грозные брови Васи-в-кубе поползли к лысине, а класс притих.

— Покажи! — Приказ недобрым голосом.

Показывать Дюшке было нечего, в тетради после условия задачи стояла только одна запись: «Сколько рыб в пруду = X». И непонятно, к чему этот икс нужен?

— Я в уме решил, Василий Васильевич.

— Час от часу не легче, — проворчал Вася-в-кубе и снова кисленьким голосом: — Что ж, Фёдор Тягунов, выйди к доске, послушаем твоё решение.

Дюшка сам оробел от своей дерзости, однако вышел, встал, как положено, лицом к классу и рассказал:

— Тридцать рыбин в кольцах. Две попались среди сорока. Значит, неокольцованных в двадцать раз больше. Тридцать на двадцать — всего шестьсот.

И всё, умолк, страдая, что рассказ его занял так мало времени.

Класс недоверчиво молчал. Вася-в-кубе возносил к лысине брови и разглядывал Дюшку.

— Да!.. — наконец подал он голос. — Да!.. Всё правильно. Просто и ясно. У тебя ясный ум, Тягунов! Ты лодырь, Тягунов! Ты два года водил меня за нос, прятал за ленью свои способности. Незаурядные способности! — Вася-в-кубе повернулся к молчащему классу. — Вот как надо мыслить, друзья. Молниеносно! Вламываться сразу в самую суть.

И громовым басом, почти угрожающе Вася-в-кубе принялся расхваливать Дюшку. Дюшка стоял у доски и от непривычки чувствовал себя очень плохо — хоть провались сквозь пол от этих похвал.

Наконец Вася-в-кубе торжественно умолк, торжественно вынул из нагрудного кармана самописку, торжественно отвинтил колпачок, торжественно склонился над журналом... Сомневаться не приходилось — пятёрка.

— Голубчик, возьми щётку, приведи себя в порядок.

...Слух о Дюшкином учёном подвиге быстро разнёсся по всей школе: шутка ли, за пять минут — в уме! — задачу «на победителя».

На перемене к нему подошёл Лёвка Гайзер:

— Старик, ты быстро научился плавать.

Как равный равному, уже не называя Дюшку тараканом.

И это слышали все, кто был в эту минуту в коридоре. И случайно тут стояла Римка Братенева. Стояла, слышала, смотрела на Дюшку. Уважительно.

Он станет великим математиком и прославит школу, посёлок Куделино, отца, мать, Миньку, с которым дружит, бабушку Климовну, которая его вынянчила.

Он вместе с Лёвкой откроет, что Вселенная бесконечна. И хотя он не знает, почему от бесконечности должны вновь рождаться уже умершие люди, всё равно откроет. Лёвка снова появится на свет, он, Дюшка, тоже, и Минька, и отец с матерью — все, все узнают, что никто не умирает насовсем.

Он ещё знает то, о чём не подозревает даже Лёвка: Римка Братенева когда-то была женой Пушкина.

Он умеет видеть, чего никто не видит.

Он разглядел, что отец Миньки вовсе не такой уж плохой человек.

Он пойдёт к Минькиной матери и скажет: полюби мужа — он станет счастливым.

И Минька тоже...

А все в посёлке удивятся: какой хороший человек Дюшка Тягунов.

И какой умный!

И Римка первая подойдёт к нему: давай, Дюшка, дружить.

А он её тогда спросит: «Ты знаешь, кто ты?» — «Нет». — «Наталья Гончарова, жена Пушкина, первейшая красавица — „чистейшей прелести чистейший образец“».

Дюшка был счастлив и не подозревал, что счастье капризно.

После уроков он одним из первых выскочил с портфелем из школы. В портфеле по-прежнему лежал кирпич. Существует на белом свете Санька Ёраха, и с этим, хочешь не хочешь, приходится считаться.

Миньке он решительно сказал:

— Иди один, у меня дела.

Он хотел видеть Римку. Почему-то он надеялся: сегодня она пойдёт домой одна, без девчонок. И он попадётся ей на глаза. Конечно, нечаянно. И она заговорит, и они вместе пойдут домой. И кто знает, быть может, он уже сегодня, сейчас, через несколько минут, скажет: «Чистейшей прелести чистейший образец». Вчера о таком и мечтать не смел. Вчера он был обычным мальчишкой, каких много в школе.

Он долго кружил на углу улиц Жан-Поля Марата и Советской, пока не увидел её.

Она шла без девчонок, но не одна. Шла тихо, нога за ногу, смотрела в землю, тонкая, скованная, знакомая, хоть задохнись. И рядом с ней — поролоновая курточка нараспашку — вышагивал Лёвка Гайзер. И тоже нога за ногу, не спеша, вдумчиво. Он что-то говорил ей, она слушала и клонила голову вниз, и было видно издалека — не хочет быстрее идти, нравится. Знакомая и чужая.

Минуту назад он верил, что прославит школу, посёлок, отца, мать, старую Климовну, даже Миньку. Сейчас он представил себя со стороны — так, как если б Римка вдруг подняла голову и увидела его. Посреди улицы мальчишка в штанах с пузырями на коленях, с толстым портфелем в руке. Он носит с собой кирпич, потому что боится Саньки Ёрахи. Ему постоянно чудится чёрт знает что, черт те о чем мечтает. Он случайно решил задачу и зазнался. Он не умеет крутить на турнике «солнце», у него нет накачанных мышц, нет красивой куртки.

Римка с Лёвкой не спеша двигались на него. Надо было уходить, надо прятаться, но ноги не слушались...

Минуту назад он чувствовал себя чуть ли не самым счастливым человеком на свете. Ошибался — самый несчастный.

Мир играл с Дюшкой в перевёртыши.

17

А на следующий день на уроке Васи-в-кубе в тихую минуту Дюшка, доставая тетрадь из портфеля, нечаянно выронил кирпич на пол. Гулкий удар, должно, слышен был на всех этажах.

Кирпич перешёл в руки Васи-в-кубе.

— Тягунов, что такое? Для чего тебе эта штука?

Дюшка не пожелал сказать.

— Выясним.

После урока Вася-в-кубе торжественно отнёс кирпич в учительскую.

Исчезли лужи, подсохли тропинки, выползала травка, распутившийся лист ронял на землю сквозную тень, и в скворечниках раздавался уже писк новорождённых скворцов. Всё, что могла совершить весна, свершилось — состоялось ежегодное сотво-

рение всего живого. Живому теперь предстоит расти и мужать. В разгар весны проглядывало лето.

И ребята праздновали: все высыпали теперь во время перемены во двор без пальто, без шапок — крик, возня, взрывы смеха, каждый немножко пьян от солнца и воздуха. Даже верный друг Минька по-пороссячьи повизгивает где-то в стороне, забыв о Дюшке.

Девчонки тесно сбились у прогретой стены, галдят. С ними Римка...

Нет радости, что она близко, что глаза её видят, уши её слышат.

Нет радости от тепла, от солнца, от яркой узорной зелени.

И вообще, всякая радость — обман. Сейчас есть, через минуту — исчезла.

И впереди тягостное объяснение с Васей-в-кубе, быть может, с самой директрисой Анной Петровной: «Зачем кирпич? Почему кирпич?»

И Санька, конечно, уже знает, что он, Дюшка, обезоружен.

Санька стоит под столбом, на котором когда-то висели канаты для «гигантских шагов». Как всегда, вокруг Саньки холуи вроде Кольки Лыскова. Дюшке видна Санькина соломенная шевелюра, слышен его сипловатый голос. Вокруг Саньки сейчас смеются. Должно быть, Санька говорит о нём, Дюшке, должно, что-то обидное.

И Санькины речи, возможно, слышит Римка. Она сейчас стоит ближе к Саньке, чем Дюшка, ей слышней...

От Санькиной группы отделился Колька Лысков, с прискоком жеребёнка подтрусил к Дюшке, жмурится всей сведённой в кулачок старушечьей рожицей.

— Дюшка... — Голос сладенький, сочувственный (сейчас скажет пакость). — Как же ты сегодня без кирпича домой?..

Дюшка смотрит мимо счастливо жмущегося Кольки, молчит. А Колька хоть бы что — привык, когда встречают: «Видеть тебя не могу».

— Дю-юш-ка... Санька говорит, чтобы ты лучше не выходил из школы. Он тебя и с кирпичом хотел... У тебя кирпич, а у него ножик. Хи-хи!.. Теперь он тебя и без ножа... Хи-хи! Мамка не узнает.

Привирает Колька про нож. А может, и нет. Не зря же Санька тогда кричал: «Кровь пуцу!»

Колька улыбочиво жмурится, Колька рад, что скоро увидит, как Санька расправится с Дюшкой. Сам Колька никогда ни с кем не дрался, но любит глядеть драки, хлебом не корми. Дюшка не выдержал, засмотрелся на улыбочивого Кольку. Стукнуть его, что ли? Утрётся и убежит, а Саньку всё равно не минуешь. Санька не знает жалости, а за Дюшкой теперь много числится — будет бить насмерть.

Радостно, в самое лицо улыбается Колька Лысков. И в Дюшке вдруг что-то поднялось из глубин, от желудка к горлу, стало трудно дышать. Не столько от ненависти к Саньке, сколько от стыда за себя: боится же, боится, и это сейчас видит Колька, наслаждается его страхом. Он таскался как дурак с кирпичом и прятался за спину Никиты Богатова. Богатов никак не герой, но Саньки не испугался. А если у Саньки нож, что стоило

ему ударить ножом взрослого. И ни разу он, Дюшка, не схлестнулся по-настоящему с Санькой. Санька готов был открыто помериться силой, Санька, выходит, честней...

Жмурится в лицо Колька Лысков. Девчоночьи голоса в стороне. Девчоночьи голоса и смех. И резануло по сердцу — прозвучал смех Римки, звонкий, чистый, серебряный, не спутаешь.

Дюшка шагнул вперёд. Колька Лысков шарахнулся от него столь быстро, что морщинистая улыбочка не успела исчезнуть.

Опустив плечи, пригнув голову, Дюшка двинулся прямо на столб, под которым торчала соломенная нечёсаная Санькина волосня. Окружавшие Саньку ребята зашевелились, запереглядывались между собой и... расступились, давая Дюшке дорогу.

Санька оторвал плечо от столба, встал прямо: болотная зелень в глазах, серый твёрдый нос, на плоских скулах, на подбородке стали медленно просачиваться красные пятна. Всё-таки чуточку он побаивается, всё-таки Дюшка чем-то страшен ему — пятна и глаза круглит. Дюшка зарылся взглядом в зелень Санькиных глаз.

— Палач! Скотина! Думаешь, боюсь?

— Да неуж?.. Может, тронешь пальчиком?

Над школьным двором стоял звонкий, весёлый гвалт. Никогда ещё так плохо не чувствовал себя Дюшка: никому до него нет дела, никому, кроме Саньки. Санька ненавидит его, он — Саньку!

И со стороны снова донёсся беззаботный Римкин смех, особый, прозрачный, колеблющийся, как нагретый воздух, что дрожащим маревом поднимается над землёй.

И смех толкнул... Всю выношенную ненависть, свои несчастья, свой стыд — в пятнистую физиономию, в нечистую зелень глаз, в кривую узкую улыбочку! Кулак Дюшкин врезался с мокрым звуком, Санька качнулся, но устоял. Дюшка ударил второй раз, но попал в жёсткое, как булыжник, Санькино плечо.

Прямо перед собой — два круглых провальных глаза. Дюшка не успел выбросить им навстречу кулак. Он не почувствовал боли, он только услышал хруст на своём лице, и яркий солнечный двор, и синее небо качнулись, потекли, стали жидко проваливаться местами, пятнами, а на голову словно нахлобучили чугунный тяжёлый горшок. Кажется, он успел пнуть ногой Саньку, тот охнул и согнулся...

После этого он помнил только какие-то пёстрые клочья: нацеленный серьёзный Санькин нос; треснувшая на груди рубаха; судорожно сжатый кулак, свой кулак, запачканный свежей кровью, собственной или Санькиной — неизвестно; Санькин скривлённый рот; стена мальчишеских лиц, серьёзных от испуга... И тишина во дворе, солнце и тишина, и тяжёлое сопение Саньки... Дюшка налетал, бил, промахивался. Санька отбрасывал его от себя, но Дюшка снова налетал, снова бил... Вытащенные глаза Саньки, скривлённые губы Саньки, кулак в судороге...

Кто-то робко попытался схватить Дюшку, он оттолкнул локтем, уголком глаза успел поймать перекошенное лицо Миньки...

И неожиданно вместо Санькиной ненавистной носатой, глазастой, косогубой физиономии появилось перед ним возбуждённое, румяное, с туго сведёнными бровями лицо Лёвки Гайзера. Он хватал Дюшку за грудь:

— Эй! Эй! Хватит!

Но за Лёвкой маячила Санькина шевелюра, Дюшка рванулся к ней, Лёвка упёрся ему в грудь:

— Хватит!

Тогда Дюшка с размаху ударил Лёвку и... пришёл в себя.

Яркий солнечный двор и тишина. Оцепеневшие глазастые лица ребят. Над их головами врезан в синеву большой кран. Лёвка с сухим недобрым блеском в глазах ощущал рукой скулу.

— Дерьмо же ты, оказывается, — сказал он. Дюшка не возразил и не почувствовал раскаянья. Ненависти уже не было, была усталость.

И тут как из-под земли вырос Вася-в-кубе, лысиной в поднебесье, выше большого крана, и с невыносимой высоты глядело на Дюшку тёмное лицо. Вася-в-кубе взял тяжёлой рукой за плечо, повернул:

— Пошли.

Заворожённая стена ребячьих физиономий колыхнулась и распалась на две части, давая проход. Серой гибкой кошкой метнулся через дорогу Колька Лысков.

А Дюшка только сейчас почувствовал, что у него исчезло лицо, вместо него что-то тяжёлое, плоское, как набухшая от сырости дубовая доска. Неся перед всеми свою деревянность, он цеплялся нетвёрдыми ногами за качающуюся, ненадёжную землю.

Впереди кучкой стояли девчонки, всё ещё оцепенело замороженные. Среди них Римка — взметнувшиеся брови, круглые, как пуговицы, глаза, курчавинки на висках. Римка — совсем обычная, совсем ненужная сейчас.

Но когда толкающая рука Василия Васильевича и нетвёрдые ноги приблизили Дюшку к девчонкам, среди них раздался визг и все они с выражением страха и брезгливости дружно шарахнулись в сторону. И Римка — тоже, со страхом и брезгливостью в круглых глазах.

Это окончательно привело Дюшку в сознание. Он понял, как выглядит — рубаха расплосована, окровавлена, нет лица, есть что-то деревянное, плоское, чужое... Шарахаются от него. Римка — тоже.

И вспомнил, что ударил Лёвку Гайзера...

...Окровавленную, расплосованную рубаху стащили и отправили отцу прямо на работу. Его же самого обмыли под краном, обмазали йодом, заставили поглядеться в зеркало.

Лицо осталось, не исчезло и было вовсе не плоским, наоборот — дико распухшее, в рыжих пятнах йода, посреди, где раньше находился нос, торчал трупно-синий бесформенный бугор. Он-то и ощущался деревянным.

Мать осмотрела Дюшкин нос, потрогала его холодными, сильными пальцами, больно — искры из глаз! — до хруста нажала, сказала почти равнодушно:

— Срастётся. С неделю проходит красавцем.

И ушла в спальню, легла на кровать не раздеваясь. Бабушка Климовна прибрала посуду на столе, повздыхала:

— Ох-хо-хонюшки! Тупой-то серп руку режет пуще острого.

Тоже ушла к себе.

Дюшка остался один на один с отцом. Отец ходил по комнате, попинывал — не сильно, не в сердцах — стулья, яростно ворошил пятернёй волосы, не ругался, только время от времени ронял:

— Да... Да...

Короткое и тяжёлое — в ответ своим мыслям.

А за окном торчал большой кран, под ним, должно быть, как всегда, суетятся люди — сортируют лес, радуются весне, ходят друг к другу в гости, любят — не любят. Дюшке уже нет среди них места. Римка шарахнулась от него. И он ни за что ни про что ударил Лёвку Гайзера. И на лице деревянный, мешающий нос, с таким носом нельзя выйти на улицу...

А Лёвка хочет открыть бесконечность, и, непонятно, почему-то эта бесконечность обещает Лёвке вторую жизнь. Зачем вторая, когда и одну-то прожить так трудно.

Отец оборвал хождение, взял стул, поставил напротив Дюшки, оседлал его. Лицо отца за этот день опало, стало угловатым, лоб вылез вперёд, глаза спрятались, глядят, словно из норы, настороженно, выжидательно, с тревогой, но, кажется, без гнева.

— У нас, Дюшка, на сортировке попадают эдакие кручёные кряжи, которые ни в строительный не занесёшь, ни в крепёжник, ни в тарник. Их выбрасывают на дрова, но и дрова из них тоже плохие — не колются, намаешься. Дерево как дерево, а ни на что не пригодное...

Дюшка догадывался, куда клонит отец, но молчал.

— Человек, Дюшка, тоже может расти вкривь и вкось, — продолжал отец. — Часто болтается среди людей эдакая нелепость — где ни приткнётся, всем мешает, все его отпихнуть стараются. А если упирается, рубят по живому.

У отца и взгляд прочувствованный, и голос сдержанный, по всему видать — собрался с силами, хочет от души объяснить непутёвому сыну. От души, без раздражения. Но Дюшке меньше всего нужны такие объяснения. Он и без отца теперь знает, что ненормален, перекручен, трудно жить... Это лучше отца объяснила ему Римка Братенева — шарахнулась в сторону. «Тупой серп руку режет пуще острого».

Отец с досадой заскрипел стулом, подался вперёд, заговорил горячее:

— У тебя перед глазами пример есть — Никита Богатов. Перекошенный человек, недоразумение. Сам несчастный, жену несчастной сделал, сына... Таким стать хочешь?

Дюшка наконец разжал губы, спросил:

— Пап, Богатов плохой, ну, а Санька Ёраха хороший?

— Я ему о Фоме, он мне о Ерёме. При чём тут Санька?

— Я с ним дрался.

— Так за это я должен поносить его? Ну, знаешь!

— Богатов плохой, Санька хороший?

— Да плевать я хотел на твоего Саньку! Мне на тебя не плевать.

— Санька убивать любит... лягуш.

— Лягуш?.. Чёрт знает что! Да мне-то какое дело до этого?

Действительно, какое кому дело, что Санька убивал лягуш? Почему к нему ненависть? Почему Дюшка так много думает о Саньке? Только о нём. Родился непохожий на других — мучает кошек, бьёт лягуш. И не в кошках, не в лягушках дело, а в том, что он любит мучить и убивать.

И это страшное «любит» почему-то никого не пугает. «Да мне-то какое дело до этого»? Никому нет дела до того, что любит Санька. До Богатова есть дело, Богатова осуждают... вместе с Минькой.

И Дюшка, давясь словами, произнёс:

— Он и людей бы убивал, если б можно было.

— Ну, знаешь!

— Он зверь, этот Санька, а Богатов не зверь. Что тебе Богатов плохого сделал? За что ты его не любишь? За что? За что-о?!

— Ты что кричишь?

— Боюсь! Боюсь! Вас всех боюсь!

— Эй, что с тобой?

— Никому нет дела до Саньки? Никому! Он вырастет и тебя убьёт и меня!..

— Дюшка, опомнись!

— Опомнись ты! Убивать любит, а вам всем хоть бы что! Вам плевать! Живи с ним, люби его! Не хочу! Не хочу! Тебя видеть не хочу!

Дюшка, вскочив на ноги, тряс над головой кулаками, визжал, топал:

— Не хо-чу!..

Отец верхом на стуле замер, глядя снизу в разбитое, перекошенное, страшное лицо сына.

На крик появилась мать, бледная, прямая, решительная, казалось, ставшая выше ростом. Отец повернулся к ней:

— Вера, что с ним?

— Принеси стакан воды.

Дюшка упал ничком на диван и затрясся в рыданиях.

— Что с ним, Вера?

— Обычная истерика. Пройдёт.

Мать никогда не теряла головы, и сейчас её голос был спокоен. Дюшка рыдал: никто его не понимает, никто его не жалеет — даже мать.

Его заставили выпить валерьянки и лечь в кровать. Он лежал и ни о чём не думал. Всё кругом стало каким-то далёким и ненужным — Никита Богатов, Санька, Римка, непонимающий отец, Лёвка Гайзер, которого он ударил... И самый, наверное, ненужный и далёкий из всех — он сам, пропащий человек.

19

Дюшкин кирпич лёг на стол директрисы школы Анны Петровны. Рыжий кирпич на зелёном сукне письменного стола...

Анна Петровна появилась в посёлке Куделино вместе с новой школой. Казалось, её где-то специально заготовили — для красивой, сияющей широкими окнами школы молодую, красивую директоршу с пышными волосами, громким, решительным голосом, университетским значком на груди.

С Анной Петровной не так уж трудно встретиться в школьных коридорах, даже на улицах посёлка, но в кабинет к ней попадали только в особо важных случаях.

Рыжий кирпич на зелёном сукне — случай особый. Напротив стола разместились учителя и ученики: судьи, свидетели и преступники — Дюшка с Санькой. Даже Колька Лысков был приглашён, даже Минька затаился возле самых дверей на краешке стула.

Раз на столе в центре внимания — кирпич, то само собой вспоминают Дюшку: «Тягунов, Тягунов...» Саньку почти не трогают, он сидит нахохлившись, повесив нос, смотрит в пол, хмурый, обиженный: мол, что приходится терпеть человеку понапрасну.

— Гайзер, ты кому-то говорил, что видел этот кирпич и раньше у Тягунова? — ведёт опрос Анна Петровна.

Подымается Лёвка. У него под левым глазом махровая желтизна — отцветший синяк, сотворённый Дюшкиным кулаком.

Лёвка отвечает без особого усердия и старается не глядеть в сторону Дюшки:

— Я, собственно, не видел этого кирпича...

— Как так — собственно?

— Я как-то заметил, что у него... Тягунова, толстый портфель, спросил: чем ты его набил? Он ответил — там кирпич.

— И больше ничего не спросил?

— Поинтересовался, конечно, — зачем кирпич? Ответил: мускулы развиваю.

— Давно это было?

— С неделю назад.

— И всё это время Тягунов таскал... развивал мускулы?

— В портфель к нему я больше не заглядывал, кирпичом не интересовался.

— Он таскал! Таскал кирпич! Я знаю! Не расставался! — выкрикнул Колька Лысков. Он и здесь, в кабинете директора, вёл себя деятельно и радостно, словно ждал интересной драки.

Угнетённо-хмурый Вася-в-кубе подал голос:

— Странно всё-таки. Неудобная вещь, даже для драки.

— Как же неудобная? Очень даже удобная! Тяжёлая... — охотно отозвался Колька. — Сзади по затылку — тяп, и ваших нет. Кирпичом и быка убить можно.

Анна Петровна грозно покосилась на Кольку, и тот опять же охотно, почти восторженно оправдался:

— Извиняюсь. Я чтоб понятней...

— Тягунов, — спросила Анна Петровна, — скажи, только откровенно: для чего?..

Для чего тебе этот кирпич?

Дюшка долго молчал, наконец выдавил:

— Если Санька вдруг полезет... Для этого.

— И ты бы ударил его... кирпичом?

Врать было бессмысленно, Дюшка признался:

— Полез бы — ударил.

— А ты не подумал, что действительно... таким — быка? Не подумал, что убить им можно человека?

Вася-в-кубе подождал — подождал Дюшкиного ответа и не дождался, с досадой крикнул, а одна из приглашённых на обсуждение учительниц, совсем молодая, преподававшая в школе всего лишь первый год, Зоя Ивановна, выдавила из себя:

— Какой ужас!

Вася-в-кубе решил прийти на помощь.

— Но ведь ты для самозащиты эту штуку таскал? — спросил он.

— Для защиты, — признался Дюшка почти с благодарностью. Он не хотел, чтоб его считали убийцей, даже Санькиным. — На всякий случай, когда Санька полезет...

— Полезет... — переспросила Анна Петровна. — Первый на тебя?

— Да.

— А вот все говорят, что первым в драку полез ты, Тягунов. Ты первый ударил Ёрахова. Или на тебя наговаривают? Или это не так? — У Анны Петровны от негодования глаза стали опасно прозрачные, холодные.

Дюшка снова замолчал. Он молчал и понимал, что его молчание выглядит сейчас дурно. Так в кино молчат пойманные шпионы, когда им уже некуда деться.

— Как-кой ужас! — снова выдавила из себя молодая Зоя Ивановна.

А Вася-в-кубе крикнул ещё раз.

Лежал перед всеми на зелёном столе рыжий кирпич — страшная, оказывается, вещь, им можно убить человека. Дюшкин кирпич, кирпич, специально приготовленный для Саньки. И он, Дюшка, первым напал на Саньку...

И сидел обиженно нахохленный Санька, чудом спасшийся от страшного кирпича.

Дюшка и сам начинал верить, что он преступник.

Помощь пришла неожиданно с той стороны, с которой ни Дюшка, ни кто другой не ожидал.

Притаившийся возле дверей Минька, Минька, случайно попавший на разбирательство. Минька, которого и не собирались сейчас спрашивать, вдруг вскочил на ноги и закричал тонко, срываясь, словно петушок, впервые пробуя свой голос:

— Дюшка! Ты чего?.. Дюшка! Скажи всем! Скажи про Саньку! Он же хвастался, что убьёт тебя! Я сам слышал! Ножом страдал!

И Санька взвился, его лицо потекло красными пятнами:

— Врёт! Врёт! Не хвастался!.. У меня даже ножа нет! Обыщите! Нет ножа!

— О каком ноже речь? Ты что? — Глаза Анны Петровны утратили прозрачность, стали обычными — испуганными.

Но Минька, тихий Минька с яростью накинулся на Саньку:

— Ты всё можешь, ты и ножом! Про твой нож Колька хвастался!

— Ничего я не хвастался! Ничего не знаю! — завертелся ужом Колька Лысков.

— Честное слово! Дюшка добрый. Дюшка даже лягушку... Дюшка слабей себя никогда не обидит! А Санька и ножом, ему что?

— Чего он на меня? Ну, чего?.. Никакого ножа... Вот глядите, вот... — Санька начал выворачивать перед всеми пустые карманы.

— Он трус! Он только на слабых. Потому Дюшка и кирпич... Знал — Санька тогда на него не полезет, испугается. И верно, верно — Дюшка давно этот кирпич таскал в портфеле. Давно, но не ударил же им Саньку. Убить мог? Это Дюшка-то? Саньку! Отпугивать только. Санька — трус: на сильного никогда!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

— Слышите?.. Он и сейчас... Он теперь меня... Мне тоже кирпич... Житья Санька не даст! Мне тоже кирпич нужен!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

Санька стоял посреди кабинета всклокоченный, с пятнистым лицом, с выкаченными зелёными глазами, вывернутыми карманами.

Лежал рыжий кирпич на зелёном столе. Все молчали, поражённые яростью тихого, маленького, слабого Миньки. И только Зоя Ивановна, молодая учительница, изумлённо выдохнула своё:

— Как-кой ужас!

Александр Матросов своей грудью закрыл амбразуру с пулемётом, чтобы спасти товарищей. Александр Матросов — герой, человек великой души, о нём написаны книги.

До сих пор великой души люди — те, кто своей грудью, своей жизнью ради товарищей! — жили для Дюшки только в книгах. В Куделине таких не наблюдалось. Великой души люди, казалось, непременно должны быть и велики ростом, широки в плечах, красивы лицом.

У Миньки узкие плечи, писклявый голос. И жил Минька всё время рядом, на улице Жан-Поля Марата, ничего геройского в нём не было — самый слабый из ребят, самый трусливый.

И вот Минька против Саньки! Санька слабых не жалеет. Санька не даст проходу. Минька добровольно испортил себе жизнь, чтоб спасти Дюшку. Закрыл грудью.

А ведь он, Дюшка, всегда немного презирал Миньку — слабей, беспомощней.

От Дюшки шарахнулась Римка, от Дюшки отвернулся Лёвка Гайзер, дома Дюшка устроил истерику. Сам себе противен. Стоит ли такому жить на свете? Кому нужен?

Оказывается, нужен! Грудью за него.

Минька, Минька...

...Утром Дюшка повернул не к школе, а к Минькиному дому. Санька станет сторожить Миньку. Рядом с Минькой всегда будет он, Дюшка.

Портфель непривычно лёгкий, тощий — кирпич больше не нужен. Пусть сунется Санька, нет перед ним страха! Пусть сунется к Миньке!

Минька нисколько не удивился, что Дюшка ожидает его у крыльца. В мешковатом, старательно застёгнутом на все пуговицы пиджаке, со своим большим потёртым ранцем, узкое лицо прозрачно и сурово. Эта суровость так была непривычна для Миньки, что Дюшка вместо «здравствуй» встревоженно спросил:

— Ты чего?

— Ничего, Дюшка.

— Нет, Минька, что-то есть, я вижу.

— Ты слышал, как он вчера, каким голосом: «Н-ну-у, Минька»? Убьёт, ему что.

— Пусть прежде меня.

— Но ведь ты же не всегда со мной ходишь будешь.

— Всегда, Минька.

— Да я и сам хочу... Сам за себя! Как ты, Дюшка.

Минька судорожно расстегнул пуговицы, распахнул полу — за брючным ремнём торчала деревянная ручка ножа.

— Ты что?

— Кирпич хотел, но с кирпичом меня Санька сразу... Это тебя он с кирпичом боится, а меня — нет. Такого гада мне только... железом.

— С ума сошёл, Минька!

— Сойдётся, когда всю ночь уснуть не мог.

— Унеси, Минька, нож обратно.

— Нет!

— Силой, Минька, отберу!

— Нет, Дюшка, не сделаешь этого.

— Тогда прошу тебя, Минька...

Минька помялся, поёжился, помигал и уступил:

— Я его под крыльцо пока... С тобой буду без ножа. А без тебя, Дюшка... Хочу сам за себя, как ты.

Нелепый кухонный нож с деревянной ручкой пугал Дюшку. Но Минька стал вдруг упрямым.

21

Под вечер, после работы, мать и отец принимали гостя. Вернее, гость пришёл только к матери. Тот самый Гринченко, о котором Дюшка так часто слышал: еле жив, при смерти. Два дня назад Гринченко выписали из больницы, сейчас его угощали чаем.

Это был вовсе не хилый человек, а громоздкий, с глухим, нутряным, густым голосом, с тёмным губастым лицом, сплавщик, одетый по-праздничному в тёмно-синий в полоску костюм, в галстук, завязанном таким толстым узлом, что он мешал двигаться массивному подбородку. И только запавшие глаза и тупые кости скул, проступающие сквозь тёмную пористую кожу, напоминали о болезни, не совсем ещё покинувшей мощное тело.

Гринченко пришёл в гости к матери, но разговор вёл лишь с отцом.

— Скажу вам, Фёдор Андреевич, какой это человек Вера Николаевна, супруга ваша. Святая сказать — мало! Кто ей я? Ни сват, ни брат, даже за столом вместе не сжижали, хлеб, соль, водку пополам не делили. И добро бы я, Стёпка Гринченко, уж очень полезен державе нашей был. Так нет этого. Работяга обычный. Любил рубль длинный сорвать, водку любил, баб и всякое прочее безыдейное. И вот из-за меня, из-за безыдейного, эта женщина ночами не спала, своим здоровьем тратилась, можно сказать, колодилась самым героическим образом.

Мать виновато посмеивалась, а отец серьёзно соглашался:

— Что есть, то есть, не отымешь — самозабвенна.

— Тыщи лет люди Богородицу хвалили. А за что, позвольте спросить? Только за то, что Христа родила да вынянчила. Любая баба на такое, скажу, способна. Вот пусть-ко Богородица с эдаким, как я, понянчится. Не ради бога великого, чтоб потом аллилуйю многие века пели, а ради простого человека, без надежды всякой, что тебе там вечную славу отваяют или награду золотую на грудь. Тут тебе Богородицы мало, тут уж выше бери.

— Богородица — это суеверие, Степан, — наставительно отвечал отец. — А старые суеверия мы жизнью бьём не в первый раз. Так что из ряда вон выходящего ничего не произошло.

— Ой, не скажите, Фёдор Андреевич, не скажите. Вы думаете, Вера Николаевна мне только трепуху мою вылечила — нет, душу вылечила. Открылось мне: раз я, Степан Гринченко, героического стою, то и держаться я в дальнейшем должен соответственно, не распляясь на мелочах. Не-ет, теперича я так жить уже не стану, как жил. Буду оглядываться кругом, да позорчей. Сколько лет я ещё проживу, Вера Николаевна?

— Я не гадалка, Степан Афанасьевич. Наверное, вас ещё надолго хватит.

— Сколько ни проживу — всё людям. Осветили вы мне нутро, Вера Николаевна, ясным светом.

— Очень рада такому побочному явлению.

— Эх, для вас бы что сделать! Вот было бы счастье. Не сумею, поди, — мал. Да-а!

Гринченко поднялся и стал чинно за руку прощаться, а Дюшка кинулся к окну, чтоб видеть, как спасённый матерью от смерти человек пойдёт на своих ногах по улице среди здоровых людей.

Дюшка припал к окну и увидел не Гринченко, а... Римку. В лёгком платьице в клеточку, в тёмных волосах солнечной каплей цветом мать-мачехи, и курчавинки у висков, и нежный бледный лоб над бровями — до чего она не похожа на всех людей, рождаются же такие на свете. Солнечная капелька цветка в волосах...

Римка исчезла в подъезде, появился Гринченко, не обративший на Римку никакого внимания. Нескладно-громоздкий, нарядный в своём костюме в полосочку, он бережно выступал, сосредоточенно нёс в себе своё спасённое здоровье, свою вылеченную Дюшкиной матерью душу — весь в себе.

После Римки Дюшка снова обрёл способность видеть то, чего не замечают другие. Сейчас глядел на выступающего бережным шагом Гринченко и видел в нём то, чего сам Гринченко и не подозревал: слишком большую занятость собой, своим неокрепшим здоровьем, своим исцелённым духом.

Гринченко, не заметив, промаршировал и мимо Минькиного отца, путающегося в полах своего длинного пальто. А Минькин отец спешил. Дюшка вгляделся в него, и по спине поползли мурашки — что-то случилось. Никита Богатов бежал изо всех сил — размахивает рукавами, лицо без кровинки, рот распахнут, задыхается. Он пересёк двор их дома, двинулся к крыльцу. Что-то стряслось! Что-то страшное!

А отец с матерью продолжали говорить о Гринченко, о том, как удачно тот «выскочил из болезни».

Дверь распахнулась без стука, бледный, потный Никита Богатов обессиленно привалился скулой к косяку.

— Вера Николаевна!

— Что?..

— Ножом...

И Дюшка всё понял. Дюшка закричал:

— Минь-ку-у!

— Да, Миньку... ножом. И нож-то наш... Не знаю и что?..

— Санька — Миньку! Санька — Миньку!!

— Дюшка, помолчи! Где он?

— В больницу повезли... Я к вам... Спасите, Вера Николаевна!

— Санька — Миньку! Мама, спаси Миньку! Спаси, мама!!

22

Они вдвоём сидели у телефона, ждали звонка из больницы. Дюшка объяснял отцу, как кухонный нож Богатовых оказался в руках Саньки:

— Я говорил Миньке: не смей, не бери! А он мне — Санька убьёт, только железом спасусь. Ну, Санька и отнял у него нож этот и этим ножом... У Миньки любой бы отнял. Минька мухи не обидит.

— Чёрт! — Отец это слово произнёс без своей обычной энергии, даже с тоской. Он сейчас как-то присмирел, не расхаживал по комнате, не пинал стулья, сидел напротив Дюшки, приглядывался к нему с непривычным вниманием. — Ты говорил: Санька лягуш убивал? — спросил он.

— Лягуш убивал, кошек мучил.

— Зачем?

— Так просто. Нравилось.

— Нравилось? Большой он, что ли?

— Что ты, пап. Здоровый. Здоровей Саньки только Лёвка Гайзер, он на турнике «солнце» крутит.

— Так почему, почему он ненормальный такой? Нравилось...

— Да нипочему. Таким родился.

— Родился?.. Гм... У Саньки вроде родители нормальные. Отец сплавщик как сплавщик, честно ворочает лес, выпивает, правда, частенько, но даже пьяный не звереет. Ни кошек, ни собак, ни людей не мучает...

— Пап, и Лёвка же Гайзер тоже на своего отца не похож. Лёвкин отец за жизнь, наверно, ни одной задачки не решил.

— Гм, верно. Обидней всего, Дюшка, что этого уroda ещё и оправдать можно.

— Саньку? Оправдать?

— Видишь ли, получается, твой Минька против Саньки запасся ножом заранее, с умыслом. И наверно, он в драке выхватил этот нож. А Санька безоружный. Выходит, что Санька защищался, а напал-то Минька.

Дюшка обер от такого поворота.

— Пап, Минька и мухи... Пап! Кто поверит, что Минька — Саньку?..

— Верят, сын, фактам...

Факты... Дюшка часто слышал это слово. Отец, мать, учителя произносили его всегда уважительно. Факты — ничего честней, ничего неподкупней быть не может. Это то, что есть, что было на самом деле, это — сущая правда, это — сама жизнь. И вот сущая правда несправедлива, сама жизнь — против жизни, защищает убийство. Так есть ли такое на свете, чему можно верить до конца, без оглядки? Всё зыбко, всё ненадёжно.

Дюшке было лишь тринадцать лет от роду, он не дорос до того, когда невнятные мысли и смутные опасения облекаются в отчётливые слова. Он не мог бы рассказать, что именно сейчас его пугает — слишком сложно! — он лишь испытывал подавленность и горестную растерянность. И отец, его взрослый, сильный отец, который смог поднять над посёлком огромный многотонный кран, помочь ему был бессилен. А хотел бы, страдает, тоска во взгляде. Что-то есть сильнее отца, что-то без имени, без лица — невидимка!

— Пап, — произнёс Дюшка сколовшимся голосом, — неужели Саньке будет хорошо, когда он вырастет?

Отец поднял голову, озадаченно уставился на сына, и зрачки его дрогнули.

— Если Саньке хорошо, мне, пап, будет плохо.

И отец медленно встал со стула, распрямился во весь рост, шагнул вперёд, взял в широкие тёплые ладони запрокинутое вверх Дюшкино лицо, с минуту вглядывался, наконец сказал:

— Да... Да, ты прав. Этого не должно случиться.

— Пап, Минька не виноват. Если даже и факты... Все, все пусть знают.

— Да... Да, ты прав.

Они оба вздрогнули — разливисто зазвонил телефон. Отец рванулся от Дюшки, схватил трубку:

— Слушаю!.. Так... Так... Кровь?.. А родители?.. Не могут. Как же так, они родители, а кровь не подходит?.. А-а... Ну, хорошо, Вера, ну, хорошо. Я передам, я всё ему передам.

И положил трубку обратно.

— Дело обстоит так, Дюшка: твоему Миньке надо переливать кровь. Ни мать, ни отец дать кровь не могут. Родители, а не могут, бывает такое. И тут Никита Богатов оказался неподходящ...

— Я дам кровь Миньке! Я!
 — Даёт кровь твоя мать. После этого её сразу из больницы не выпустят. Так что нам надо ждать её только к утру.
 — Я знаю, знаю — мама спасёт Миньку!
 — Спасёт, будь спокоен. Санькам — хорошо! Ну не-ет!.. За Минькой твоим будут следить во все глаза. Его мать оставили в больнице на ночь.
 — А Минькин отец?
 — Отправили домой. Нельзя же всей семьёй торчать в больнице.
 — Пап!.. Пап, ему плохо.
 — Да уж можно себе представить.
 — Пап, я сбегаяю, позову его сюда.
 — Зачем?
 — Ему плохо одному, пап. С нами будет легче. Я сбегаяю, можно?
 Отец снова с прежним серьёзным вниманием с минуту разглядывал сына, наконец сказал:
 — Зови. А я тут пока чай органирую.

23

За столом встретились два отца, более несхожих людей в посёлке Куделино, наверное, не было.

Отец Дюшки — его побаиваются, его уважают, в нём постоянно нуждаются, всё время его ищут: «Был здесь, куда-то ушёл». Он заседает, он командует, перебрасывает, ремонтирует, ругается, хвалит, отчаивается, обещает надбавки: Фёдор Тягунов-старший — человек, распахнутый для всех.

Отец Миньки никем не командует, ничем не распоряжается, больше беседует сам с собой, чем с другими, он и всегда-то пришиблен, а сейчас — лицо серое, глаза красные, в расстёгнутом вороте рубашки видна выпирающая ключица, хрящевато-тонкая, жалкая, по ней видно, какой он весь ломкий, жидко склеенный, особенно рядом с ширококостным, плотно сбитым Дюшкиным отцом.

Никита Богатов не сразу согласился идти с Дюшкой. Дюшка его застал в пальто, сгорбившимся за столом. Он с трудом оторвал от пустого стола взгляд, уставился красными глазами на Дюшку, долго не понимал, чего от него хотят, наконец понял, спросил:

— Зачем?

Дюшке было трудно объяснить, зачем он зовёт его к себе.

— Папа просит... попить чаю.

Никита Богатов глядел на Дюшку, помигивал красными веками, наконец тихо продекламировал:

*В огне и холоде тревог —
 Так жизнь пройдёт. Запомним оба...*

И вдруг передёрнулся лицом, плечами, словно проснулся, заговорил захлёбываясь:
 — Не слушай меня, мальчик. Я клоун, я паец! Я живу чужими мыслями, чужими словами. Живу невпопад. Меня не стоит жалеть.

— Мама спасёт Миньку, мама обязательно спасёт! Она кровь свою дала.

Минькин отец заволновался:

— Да, да, меня зовут. Меня не часто зовут, а я по привычке паясничаю, строю из себя непонятого гения.

— Идёмте.

— Да, да... Я благодарен. Не помню, когда меня звали к себе.

И вот отец Миньки сидит напротив Дюшкиного отца. Дюшка вместе с ними за столом.

Дюшкин отец косится на горбящегося Никиту Богатова с опаской, начинает с неуклюжей осторожностью:

— Странная ты личность, Никита. Я не говорю плохая — странная.

— Не стоит со мной церемониться, Фёдор Андреевич.

— Церемониться не собираюсь, но и зря обижать не хочу. Кто ты? Для меня загадка. Образован, начитан, умён ведь, а поставить в жизни себя не сумел. Пружины в тебе какой нет, что ли?

— Пружина есть... То есть была пружина, но шальная, которая заводит не силы, не энергию, а самомнительность.

— Самомнительные-то обычно выбиваются выше, чем им следует, а ты, прости уж; сколько тебя знаю, — камешком ко дну идёшь. В областной газете работал — бросил. Почему?

— Из-за самомнительности.

— Гм...

— Быть газетным подёнщиком, править статьи о силосе, о навозе — нет! Мне же «уголь, пылающий огнём, во грудь отверстую водвинут», мне свыше предназначено «глаголом жечь сердца людей». Газета — смерть для возвышенной души. Надо жить в гуще простого народа, черпать от него вдохновение. Я убедил жену, я забрал свои тетради, заполненные рифмованной пачкотнёй, и появился у вас в Куделине. А дальше?.. Дальше вы и сами видели. На сплаве выкатывать брёвна слаб, сунулся в контору... Камешком ко дну. Хотя нет, барахтался и пачкал бумагу, рифмовал, заведённая пружина действовала: «Глаголом жги сердца людей!» Я любил чужие глаголы и рассчитывал — кто-то полюбит мои, боялся признаться: мои глаголы серы, серы, стёрты, любить не за что.

Богатов говорил мечущимся, срывающимся голосом, при каждом признании весь передёргивался от отвращения к себе. Дюшкин отец слушал его с откровенным недоумением, почти с испугом.

— А может, всё-таки... — произнёс он неуверенно.

Никита Богатов перебил его кашляющим смехом:

— Вот-вот, а может, всё-таки я талант. Я... я убаюкивал себя этими словами много лет. И себя и жену... Камешком ко дну. Но если б я только один камешком, но ведь и её и сына... Они же связаны со мной. Я любил её: складки её платья, движение её бровей, звук её шагов, её улыбку, её усталость! Весь мир несносен, единственная радость — она. Радость и боль! И её я топил!..

Дюшкин отец крикнул и почему-то виновато глянул на Дюшку, а Никита Богатов продолжал мечущимся голосом:

— Я рассчитывал на чудо — меня вдруг признают, ко мне придёт слава, почёт, деньги. Всё положу к её ногам. Писал в последнее время только о ней, только её славил — сонеты, элегии, письма в стихах. И надоел, надоел ей до тошноты. Она-то давно открыла, что я за глагольщик. И неприязнь ко мне, сперва спрятанная, потом откровенная, наконец воинственная. И унылая контора, жалкая зарплата делопроизводителя, сын без зимнего пальто... А у неё появляется мания, идея фикс — побывать раз в жизни на юге, увидеть море...

— Дадим путёвку! — вскинулся Дюшкин отец, наконец-то почувствовавший, что чем-то может помочь.

Богатов отмахнулся вялой, бескостной рукой, голос осел, перестал метаться — глухой, тусклый:

— Вчера... с Минькой... Меня словно молнией шарахнуло, очнулся: прячусь от правды — бездарь, ничтожество, эдакий литературный наркоман... Хватит! Хватит!

— Что — хватит? — подобрался Дюшкин отец.

— Хватит тянуть камнем.

— Это верно.

— Пора освободить их от себя.

— То есть как это — освободить?

— Не всё ли равно — как.

Дюшкин отец навалился грудью на стол, звякнули чашки.

— Опять?! — с придыханием.

— Что — опять, Фёдор Андреевич?

— По-новому угорел. Тогда — к вершинам славы, а теперь в пропасть вниз головой.

А может, в серёдке зацепишься, с головы на ноги встанешь, по ровной земле походишь?

— Ходить по земле, надоедать людям своей особой, уверять себя, что исправлюсь?..

Э-э, Фёдор Андреевич, зачем же тянуть песню про белого бычка?

— Испакостил бабе жизнь и бросаешь, а ещё — складки платья, усталость даже...

И не просто, а с форсом — мол, вот я какой самоотверженный, вниз головой, помните и страдайте. А так и будет — станут помнить, станут страдать! Сукин ты сын, Никита!

Никита Богатов беспокойно задвигался, казалось, стал что-то искать вокруг себя.

— Ну что?.. Что?.. На что я способен? Только на это. Ни на что другое!

— Эт-то, друг, мы ещё посмотрим. Виноваты — мимо глядели. Увидели, теперь возьмёмся. Я возьмусь! Я из тебя человека сделаю!

И Дюшка насторожился. Он сидел, молчал, слушал, внимательно слушал. Последние слова отца — «человеком сделаю» — напомнили ему слова матери: «Наш отец любит ковать счастье несчастным на их головах. Не заметит, как человека в землю во-бьёт от усердия». Как бы нечаянно отец не вбил в землю Минькиного отца.

— К делу тебя приспособлю. Наше дело грубое, древесное, славы не отваливает, зато жить даёт. Я тебя суну туда, где некогда будет в мечтаниях парить — шевелись давай! Я и с женой твоей по-крупному поговорю...

— Только не это, Фёдор Андреевич!

— Молчи уж! Право слова потерял!

— Не трогайте её, Фёдор Андреевич!

— Не бойсь, плохого не сделаю!

— Пап! — подал голос Дюшка.

— Э-э, да ты тут! Ты ещё не спишь?

— Пап! Тебя просят — не делай!

— А ну спать! Здесь разговоры взрослые, не твоего ума дело!

— Я лягу, пап, только слушай, когда просят. Ты и с мамкой так — она просит, ты не слышишь.

— Ты что? Просит — не слышу. Не приснилось ли?

— А помнишь, мамка жаловалась, что ты ей всего-навсего один раз цветы подарил?.. Это ж она — что!.. А ты не понял.

Негодование — вот-вот взорвётся! — затем досада, остывающее недовольство, наконец смущение — радугой по отцовскому лицу.

— Ладно, Дюшка, ложись. Мы тут без тебя решим, — сказал отец.

Дюшка поднялся, подошёл к Богатову:

— Если Миньке ещё кровь нужна будет, тогда я дам.

— Хороший у вас сын, Фёдор Андреевич.

— Минька лучше меня, — убеждённо возразил Дюшка.

Раздеваясь в соседней комнате, Дюшка видел в раскрытую дверь, как его отец сел напротив Богатова, положил ему на колено руку, заговорил без напора, деловито:

— Мне крановщики нужны. Работа непростая, но платят прилично. Учиться тебя пошлю на курсы, три месяца — и лезь в будку. А то ходишь, шарить, себя ищешь...

Отец всё-таки хотел сделать несчастного Никиту Богатова счастливым — сразу, не сходя с места.

Дюшка ещё не успел уснуть, когда отец, проводив гостя, подошёл, склонился, зашептал:

— Слушай: мне сейчас нужно уехать. Не откладывая! Спи, значит, один. А я утречком постараюсь поспеть до прихода матери.

Но мать пришла раньше.

Дюшка проснулся оттого, что услышал в соседней комнате её тихие шаги, ежеутренние, уютные шаги, опрокидывающие назад время, заставляющие Дюшку чувствовать себя совсем — совсем маленьким.

Он выскользнул из — под одеяла:

— Мама!

Мать ещё не сняла кофты, ходила вокруг стола, не прибранного после вчерашнего чаепития двух отцов и Дюшки.

— Мама! Как?..

У матери бледное и томное лицо — обычное, какое всегда бывает после ночных дежурств. Не видно по нему, что она отдала свою кровь.

— Как, мама?

— Всё хорошо, сынок. Опасности нет.

— А была опасность?

— Была.

— Очень большая?

— Бывает и больше... Где отец?

— Он уехал, мам. Ещё вечером.

— Куда это?

— Не знаю.

Мать постояла, глядя в окно на большой кран, произнесла:

— Опять у него какую-то запань прорвало.

— Не говорил, мам. Не прорвало.

Мать загляделась на большой кран.

— Тебе нравится, когда тебя хвалят? — спросила она.

— Да, мам.

— Мне тоже, Дюшка... Почему-то мне хотелось, чтоб он сегодня похвалил меня... и погладил по голове.

— Ты же не маленькая, мам.

— Иногда хочется быть маленькой, Дюшка, хоть на минутку.

Пришла Климовна, гладко причёсанная, конфетно пахнущая земляничным мылом, принялась охать и ахать насчёт Саньки:

— Не хочет собачья нога на блюде лежать, так под лавкой навалается.

О Миньке на этот раз она ничего плохого не сказала, ушла на кухню, деловито загремела посудой.

По улице зарычали первые лесовозы. День начинался, а отца все не было. Мать ходила из комнаты в комнату, не снимая с себя рабочей кофты. Дюшка думал о её словах:

хочется быть маленькой и чтоб отец погладил её по голове. Думал и смотрел в окно, ждал отца, который так нужен сейчас матери. Климовна собирала на стол завтрак, и Дюшке пришлось оторваться от окна.

Отец вырос на пороге с каким-то газетным пакетом, который бережно держал перед собой обеими руками. Он улыбался так широко, радостно, что заулыбался и Дюшка.

— Вот! Держи! — Отец шагнул к матери и опустил на её руки невесомый пакет.

Мать заглянула под бумагу и — порозовела.

— Откуда?

А отец светился, притоптывал на месте, глядел победно.

— Откуда?..

— Ладно уж, похвастаюсь: ночью в город сгонял на катере...

— Так ведь и в городе не достанешь ночью-то.

— А я... — Отец подмигнул Дюшке. — Я с клумбы... Милиции нет, я раз, раз — и дай бог ноги!

До города по реке было никак не меньше ста километров, не удивительно, что отец опоздал.

— Мам, что там?

Она осторожно освободила от мятой газеты букет — нервно вздрагивающие цветы, белые, с узорной сердцевинкой. И Дюшка сразу понял — нарциссы! Хотя ни разу в жизни их не видел. Нарциссы не росли в посёлке Куделино, а когда отец дарил их матери, Дюшки не было ещё на свете.

24

Самым знаменитым человеком в посёлке вдруг стал... Колька Лысков. Его теперь останавливали на улице, вокруг него тесно собирались взрослые, слушали раскрытые. Колька Саньке не помогал, Колька вообще Саньке никакой не друг, не приятель, он даже на дух Саньку всегда не выносил, только боялся его: — «Такому — что, такой и до смерти может!» И Колька видел всё своими глазами, как Санька Миньку... Колька любил смотреть драки, сам в них никогда не влезал, это знали все ребята. И Колька захлёб рассказывал, поносил Саньку, хвастался, что его, Кольку, вызывали на допрос в милицию, что он там честно, ничего не скрывая, слово в слово...

Колька стал знаменит, но силы у него от этого не прибавилось, а потому он начал соваться к Дюшке то на перемене, то по дороге из школы:

— Дюшка, а у меня леска есть заграничная, право слово... А хочешь, Дюшка, я для тебя у Петьки старинный пятак выменяю?.. Дюшка, а Санька-то тебя боялся, право слово, я зна-а-аю!

Саньку теперь, должно, уберут из посёлка, Дюшка будет первым по силе среди ребят улицы Жан-Поля Марата. Не считая, конечно, Лёвки Гайзера.

Дюшка гнал от себя Кольку:

— Уходи, макака, по шее получишь!

Колька послушно исчезал, но зла не таил, всё равно славил Дюшку: «Честный, храбрый нет никого... Один против Саньки!»

Дюшке разрешили навещать Миньку в больнице. На больничной койке укрытый до подбородка Минька казался почему-то большим, почти взрослым, вовсе не таким шкетом, каким он выглядел на улице. Быть может, потому, что из-под одеяла выглядывала лишь одна Минькина голова, а она крупна ещё и потому, что Минькино узкое, с проступающими косточками лицо сильно изменилось.

— Минька, — сказал ему Дюшка при первом же посещении, — мы с тобой теперь братья, в нас одна кровь течёт.

Как-то на улице подошёл Лёвка Гайзер, в лёгкой тенниске, мускулистые руки уже прихвачены загаром, под гнутыми ресницами смущение.

— Давай, старик, что называется, выясним отношения. Лично меня гложет совесть, что я у директорши рассказал о твоём кирпиче. Вроде бы донос, съездничал.

— А мне, Лёвка, совесть и совсем покою не даёт — ни за что ни про что тогда тебе заехал.

— Всё ясно, старик... Я тут над твоими кошачьиными секундами думал. Что-то в биологии со временем путаница. Медведь и лошадь примерно поровну живут на свете. Но медведь целые зимы спит. А когда спишь, время сжимается, исчезает даже. Выходит, что у лошади больше времени в жизни, чем у медведя. А если на людей перенести... Я случайно узнал, что бабка Знобишина в один год с Эйнштейном родилась. Эйнштейн умер, бабка живёт, наверно, ещё не один год протянет. Сравни их время. Тут уж такая относительность — с ума сойдёшь. Вот бы разобраться, найти общий закон.

— Лёвка, ты что? Ты же бесконечность хотел искать, чтоб люди по второму разу жили.

— Что-то я стал остывать к этой проблеме, Дюшка.

— Да как можно, Лёвка? Важней этого ничего нет!

— Что-то меня отталкивает, старик. Механистично уж очень.

— Механистично!.. Да плевать! Зато важней ничего нет на свете! А я тут, Лёвка, такое открыл... — И Дюшка запнулся, но только на секунду: была не была, сказал же Миньке, скажет и Лёвке. — Открыл, что одна девчонка на жену Пушкина похожа!

— Ну и что?

— Как это что, Лёвка? Может, она второй раз... Может, она в первую-то жизнь женой Пушкина...

— Ерунда, — серьёзно возразил Лёвка.

— Ты и про кошачьи секунды говорил — ерунда. А теперь из-за них важную для людей проблему бросаешь.

— Я же тебе тогда объяснял — бесконечность нужна. А жена Пушкина и всего-то сто лет назад жила — мгновение!

— Сто лет — мгновение? Ну уж!

— Рядом с бесконечностью и тысяча лет мгновение и миллион!

— Всё равно вдруг да... атомы, долго ли им. Разве не может такого?

Лёвка замялся, кисленько замямлил:

— Теоретически, конечно, не исключено. Но уж слишком мала вероятность. Ничтожна.

— Ага! Всё-таки может! — восторжествовал Дюшка.

— Теоретически можешь ты вдруг ни с того ни с сего в воздух подняться.

— Ну, это совсем не то.

— То. Вероятность примерно такая же... Кто эта девчонка, если не секрет?

Дюшка ждал этого вопроса и боялся его. И всё-таки он застал его врасплох, кровь ударила в лицо, пришлось поспешно отвернуться. «Если не секрет?» Не назови — не знай что подумает. Лёвка не Минька, не отмахнёшься. И Дюшка сказал в сторону, хотел как можно равнодушной, но не получилось — сорвался предательски голос:

— Римка... Братенева.

— А-а. — Голос у Лёвки не дрогнул. — Нет, Дюшка. Римка — женой Пушкина... Нет. Девчонка как девчонка.

Стало вдруг просто скучно. «Девчонка как девчонка» — обидел Римку. Лучше бы самого Дюшку. Мускулистые руки, загнутые ресницы, дымчатый пушок над верхней губой — красивый парень Лёвка Гайзер. Красивый и очень умный.

25

А между тем весна шла. Полностью распустились листья на деревьях. Кончились в школе занятия. Миньке в больнице разрешили подниматься с койки, выходить во двор.

Белые нарциссы давным-давно завяли и засохли.

Дюшка вырвал из сочинений Пушкина портрет Натальи Гончаровой, повесил над койкой. Скорей всего, Лёвка прав: Римка не жила сто лет назад, не умирала, и родилась, как все, и, наверно, как все, проживёт всего одну жизнь. Как все, но какое это имеет значение?

Он по нескольку раз в день встречал Римку, и всегда у него обрывалось сердце... По нескольку раз каждый день.

Случилось невероятное. А может, это и должно было случиться рано или поздно.

Дюшка первый раз в году выкупался. Река ещё не прогрелась, и Дюшка в прилипшей к телу рубашке, с мокрой головой бежал с берега бодрой рысцой, старался согреть-

ся. И наткнулся на неё. Она стояла на тропе, ковыряла носком туфли землю. Нельзя же было проскочить мимо, словно не заметил, да и ноги вдруг перестали слушаться.

Дюшка остановился, она подняла голову, и глаза их встретились. У неё от ресниц падала прозрачная тень, и румянец на щеках какой-то глубинный, пушистый, и колечками волосы у нежных висков.

Она спросила:

— Вода очень холодная?

— Не очень.

— А почему ты дрожишь?

— Не от холода.

— Отчего?

Сам для себя неожиданно он сказал:

— Оттого, что тебя вижу близко.

Она нисколько не удивилась, она только опустила ресницы, спрятала под ними глаза. Мягкие тени падали от ресниц, рдел румянец, тронутый незримым пушком, замерли приоткрытые губы. Она ждала, что скажет он дальше, готова слушать затаив дыхание.

И он говорил трудным, горловым, спотыкающимся голосом:

— Римка... я... я... никуда от тебя не могу спрятаться... Я... я... тебя... люблю, Римка.

Тенистые ресницы, застывшее лицо, она слушала, но не собиралась помогать барахтающемуся Дюшке. И Дюшка бросал ей горловые, измятые слова:

— Я знаю, что ты... Что Лёвка... Я это знаю, Римка... Лёвка хороший парень. Очень!

Он лучше меня... знаю...

И по её отстранённому, замороженному лицу прошла смутная волна.

— Если хочешь знать, я даже рад, Римка... потому что не кто-нибудь, а Лёвка... Умней его — никого... Рад, что он...

Он вдруг почувствовал, что его несвязная речь походит на заевшую пластинку, и замолк, уставившись на Римкины ресницы.

А над их головами, над рекой, играющей вдребезги расколотым солнцем, плавала чайка, манерно — и так тебе и эдак! — выламывала крылья, одна в синем океане, капризная от обилия свободы.

Римка ковырнула носком туфли землю, выдохнула:

— Он меня — нет...

— Кто, Римка? Лёвка, Римка? Тебя, Римка? Нет?

Чуть-чуть кивнула, чуть громче с тоской выдавила:

— Он только книжки свои любит.

Под опущенными ресницами родилась колючая искорка, поиграла робким лучиком и освободилась от плена — прозрачная капелька, нехотя ползущая по глубинному, опушённому румянцу.

Слеза не по нему. Слеза пролита по другому — счастливцу, не осознающему своего счастья. Хоть кричи! И он ещё не успел сказать ей, что она похожа на красавицу Гончарову — «чистейшей прелести чистейший образец». И неизвестно, просто ли похожа, обычна ли? Не из глубины ли времён она? Не из тех ли, кому из века в век изумлялись поэты?

Над головой дыбилося оглушающе синее небо. В синеве белым лепестком поигрывала свободная чайка. В стороне, судорожась в весёлой лихорадке, до рези в глазах сверкала река. Лезла из-под земли умытая зелень. Прекрасный мир окружал Дюшку, прекрасный и коварный, любящий играть в перевёртыши.

1973 г.

ОТВЕТЫ НА ПИСЬМА О «ВЕСЕННИХ ПЕРЕВЁРТЫШАХ»

Фрагмент письма ребят из театральной студии при ДК Серго Орджоникидзе, г. Горький

«Мы – театральная студия при Доме культуры им. Серго Орджоникидзе. Мы влюблены в повесть, упиваемся работой как малохольные какие, читаем все Ваши произведения и открываем для себя всё впервые. Вы наш друг, даже если Вы этого не хотите. Нам всем немножко больше лет, чем Дюшке и немножко меньше, чем папе и маме Дюшкиным. Владимир Фёдорович, нам трудно. Всё казалось простым и понятным – ведь так почти с некоторыми из нас тоже бывало, но вот начали работать и трудно...»

Мы не боимся, нет, но не выберемся никак из этого круга. Испепелились все, переругались, перемирились, а Ваш Дюшка играет с нами в перевёртыши...»

Ответ на письмо

Д

орогие мои ребята!

Вы написали прекрасное письмо и поставили меня в тупик. Чем вам помочь и как вам помочь? Тем более, что особых мыслей и раздумий по поводу повести «Весенние перевёртыши» у меня нет. Были кой-какие, так я их вставил в повесть, про запас не оставил. И вообще вы тут во главе с Верой Ал. должны быть мудрее меня. Во-первых, вы все, чувствую, любите театр и очень! А моя жизнь, как-то уж так получилось, прошла в стороне от театров. Ну а любовь к делу, горение им, право же стоят

Публикуется по материалам семейного архива В.Ф. Тендрякова.

Первая публикация – в комментариях к повести «Весенние перевёртыши». (Тендряков В.Ф. Собрание сочинений в 5 т. Том 4. Повести. М.: Художественная литература, 1988.)

Дорогие мои ребята!
Или как же так прекрасное письмо и поставили меня в тупик. Чем вам помочь и как вам помочь? Тем более, что особых мыслей и раздумий по поводу повести – «Весенние перевёртыши» у меня нет. Были кой-какие, так я их вставил в повесть, про запас не оставил. И вообще вы тут во главе с Верой Ал. должны быть мудрее меня. Во-первых, вы все, чувствую, любите театр и очень! А моя жизнь, как-то уж так получилось, прошла в стороне от театров. Ну а любовь к делу, горение им, право же стоят

Круто, можно так вам всем
Свободу погрузившись шумовую калитку
Вулу Серг Ал., и сомневаюсь, что вы не получите с вами
Вот ответа, а если помните её, а вы сами знаете.

больше, чем житейский холодный опыт. Во-вторых, и житейским опытом вы меня, пожалуй, переплюнете. Вы в два, в три, а то, может, и в четыре раза меня старше. Разумеется, если взять сумму ваших лет. Причём ваш столь многолетний многообразный опыт не в пример моему чрезвычайно свеж, не затёрт, не затаскан — вы все недавно были Дюшками, а я — ой, давно! Тогда не летали над миром спутники, чаще на многих улицах встречались телеги, чем автомашины, та война, которая для всех теперь далёкое-далёкое прошлое, была где-то впереди, и я вовсе не подозревал, что достигнув вашего возраста, пойду по ней... нет, простите, поползу по ней на брюхе с винтовкой. Ну, а Дюшка-то живёт в ваше время, не в моё, так вам ли спрашивать, вам ли не показать. Не обязательно придерживаться того, что написано в инсценировке Данилиной, попробуйте сами, пользуясь повестью, сказать **своё**. То, что лучше сами знаете, то, что помните, что волнует до сих пор вас.

«Открытие мира» или «ниспослал Мадонну»? Но ведь в Дюшкиной жизни Мадонна тоже открытие — впервые явилась? В общем творчество так творчество — сколько есть у вас голов, всеми соображайте, разумеется, без анархии, разумеется, подчиняясь главной мудрой голове Веры Ал[ександровны]

Приехать к вам?.. Очень хотелось, но... Я — довоенный динозавр, тяжёл на подъём, тяну воз дел, больших и маленьких, и по дороге впереди стоят разные люди и ждут не дождутся, когда я к ним подъеду, свалю обещанную поклажу. Нет, никак не смогу выскочить из упряжи.

Крепко, крепко жму вам всем руки. С особой почтительностью мужественную полководческую руку Веры Алекс[андровны], не сомневаюсь, что вы не подведёте своего командира, с боем поможете ей завоевать диплом».

Письмо из Новосибирска

Владимир Фёдорович! Не смогла разыскать Вас в Москве, не знаю, как буду смотреть в глаза моим детям. Сегодня после уроков ко мне подошли двое. — «Может, школа нас отпустила бы на два дня, мы слетали бы в Москву, записали бы на магнитофон беседу с Тендряковым. И билет в полцены на самолёт...» Дело вот в чём. Когда Министерство попросило в годовом сочинении проанализировать одну из любимых книг, оказалось, что о Вашей книге захотело писать большинство учеников моего класса. Много для меня было неожиданным: например, могла ли я подумать, что мои так называемые рациональные детки воспримут поиски Дюшки, как свои собственные. Больше того, Володя Угрюмов прямо напишет: „Мне показалось, что

Тендряков сдул мои мысли". А Олечка Шуброва всё сочинение напишет со знаком вопроса. Откуда Тендряков всё это знает? Как сумел проникнуть в наши тайная тайных?.. Совпадение не только в главном, в частности было разительным. Коля Сафских написал сочинение под заголовком: «„Весенние перевёртыши" — Галактика человека?» Мои дети, казавшиеся такими практичными, словно расщепились при чтении Вашей книги. Мир всё время перевёртывается и у моих ребят, я только могу догадываться о содержании этих перевёртышей, но многого знать мне не дано... Мне надо было бы задать Вам свои собственные вопросы, ещё и вопросы Олины, и многих других ребят. Но вдруг я решила, почему бы не изменить правилу: не писателю задать вопрос, а чтоб писатель сам задал вопрос своим читателям!..

Спасибо за книгу. Спасибо за правду. Спасибо за то, что Ваш Дюшка приблизил меня к моим детям.

Э. Горюхина, г. Новосибирск

Ответ на письмо

Уважаемая т. Горюхина!

Простите за невольную официальность, не знаю Вашего имени-отчества. Получил Ваше доброе, горячее, лестное для меня письмо. Спасибо за него, радуюсь, что я «сдул мысли» Володи Угрюмова, понят и признан другими Вашими учениками. Вы предлагаете задать Вашим ученикам вопросы. Они есть, они просят, самого меня мучают всю жизнь, считаю, должны мучить любого и каждого. Вот какой вопрос: «Что сейчас наиболее важно для человека? Достижения науки и техники, обещающие изобилие, жизненные удобства? Завоевание ли космических просторов, обещающие фантастические чудеса, вплоть до общения с иными цивилизациями?..» А так как я сам считаю этот вопрос чрезвычайно трудным, сложным, далеко не детским, то иду на какую-то подсказку, хочу сообщить, что сам об этом думаю. По моему мнению, сейчас для человечества не столь важно открыть какие-нибудь законы антигравитации, создать армии послушных роботов, утопить всех в изобилии или прорваться к собратьям по разуму. Как важно научиться взаимопониманию и взаимоуважению людей друг друга... Если этого не произойдёт и люди начнут ненавидеть, хватать друг

друга за горло, а техника, вместо того чтобы обеспечить жизнь, станет создавать оружие уничтожения — бессмысленно тогда будет говорить о завоеваниях космоса. Ибо не до жиру, быть бы живу. Взаимопонимание, которое начинается с простых житейских общений — соврал, подсидел, обманул, предал, струсил, своё желание, свою выгоду поставил на первое место, а желание товарища не принял во внимание, — вот это-то взаимопонимание я и считаю самой важной задачей всего рода человеческого. Я считаю, но моё „считаю“ ещё не является полным ответом на вопрос... Как добиться понимания между двумя товарищами — только двумя! — уже требует решения каких-то ещё не открытых закономерностей. Уже сложно. А что говорить о взаимоотношениях страны со страной, нации с нацией — тут сложность просто устрашающая. Моё поколение их не решило. Решать придётся тому поколению, которое идёт нам на смену, т.е. Вам, ребята, — Володям Угрюмовым, Олечкам Шабуровым и пр., и пр. Думать о решении Вам надо начинать сейчас. Решая этот гигантский вопрос, Вы неизбежно столкнётесь с другим, таким же простым и наивным с виду, а именно: «Что такое хорошо? Что такое плохо?» Не потому ли сам Маяковский пустил себе пулю в лоб, что увидел то, что он считал раньше безусловным, безоговорочно хорошим, оказалось на деле, увы, крайне неприглядным. Понять — что такое хорошо, а что такое плохо? — значит уметь предвидеть, как то или иное явление покажет себя в будущем. Вот вопросы — и трудные. Хотел бы я, чтоб Вы над ними задумались. Задумались, но не спешили с маху решать — успеется. У каждого из Вас впереди жизнь! От всей души желаю Вам, чтоб жизнь каждого стала насыщенным творческим поиском!

В. Тендряков
14 февраля 1974 года

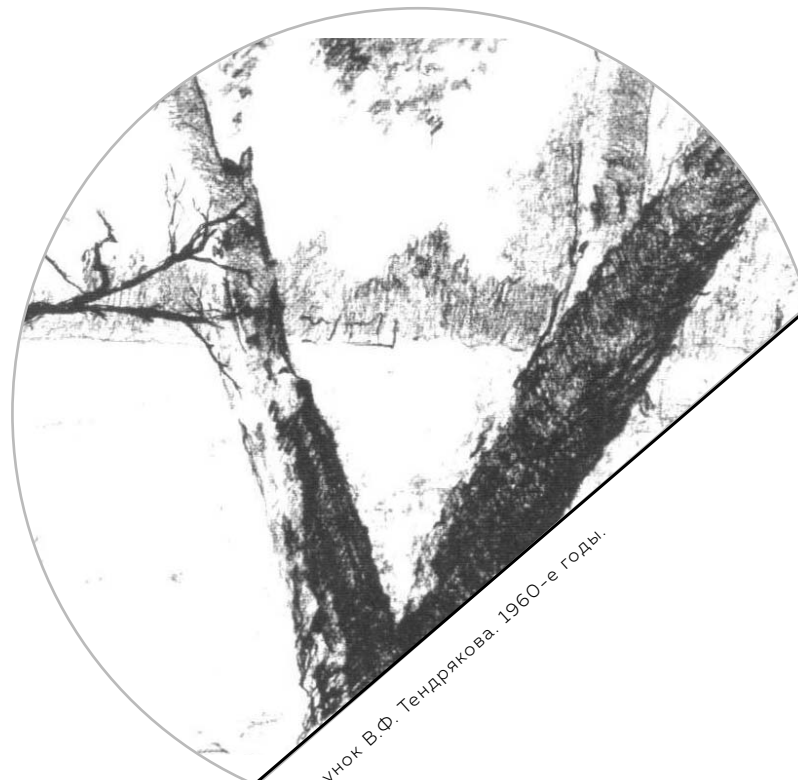
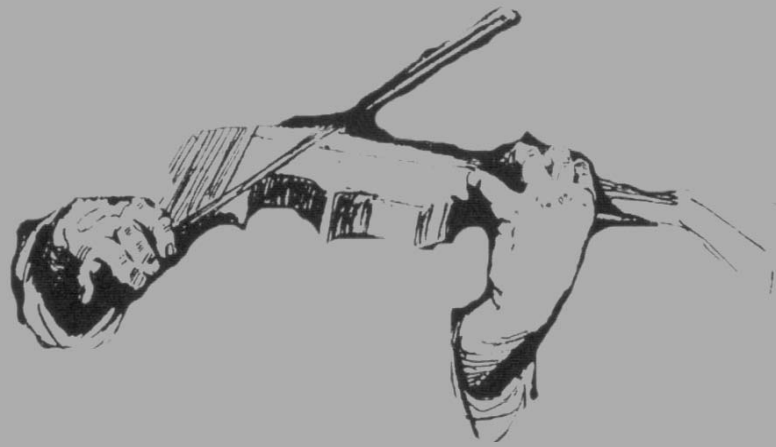


Рисунок В.Ф. Тендрякова. 1960-е годы.

В ТРУБЕ



ВСЁ: ДЕЛО

«ВСЁ ДЕЛО В ТРУБЕ». ШУТОЧНЫЙ ДОМАШНИЙ РАССКАЗ

ВСЁ ДЕЛО В ТРУБЕ

Натше. 18 декабря 1963 года.

Примерно на двадцать четвертом году до нашей с тобой эры я подвергся всеобщей человеческой слабости и изобрел перпетуум-мобиле, самый настоящий.

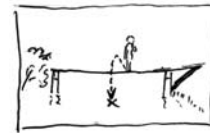
Расскажу по порядку с приложением чертежей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Но прежде хочу рассказать о моем друге Борьке Забурине. Он был философом, о чем ты сама можешь судить по его позе...

Всегда в глубокой задумчивости!

Эта поза не покидала его даже тогда, когда он, нырнув с моста в речку, остался без трусов. Стоял на мосту, заткнув одну ноздрю пальцем, и глубоко-мысленно рассчитывал:



Сюда он нырнул ...

- 3 -



Лишних трусов ни у кого не было. Оказались лишние рубашки. Большинство трусов ее решено было использовать вместо боти - ноги в рукава!

Только вот беда - ворот рубашки находился в самом неподходящем месте. Брюки и здесь оказались на высоте - отнесся с философским спокойствием. Думал домой, сделал вид, что так и должно быть, но получил забучку - не такой трусов.

Вроде и в наше время не отличались прощительностью.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Борька и меня настраивал на философский лад. Я вдруг ни с того, ни с сего стал задумываться о небе, о звездах, о планетах и о... ракетах, на которых можно долететь до Луны и до Марса.

За год до этого умер Циолковский /не правда ли, какая жремота/. У нас писали даже в "Правде" статью, критиковали Ельза Верна, который по неосторожности послал своих героев на Дунку... из Луны. Циолковский, а не Ельза Верн, не пушка, а ракета! Нам с Борькой никак нельзя было назвать консерваторами.

Если Борька был настоящим философом, то я никак не достигал до Секрета.

Он всегда оставался невозмутимо ледяным, я всегда слезу начинал кипеть.

Он читал все подряд, даже эмвеси слева направо и справа налево, у меня на чтение не хватало ни времени, ни терпения.

- 2 -



Отсюда выкинуть, уже без трусов.



Течение в эту сторону, значит..



...следует повернуться на сто восемьдесят градусов и искать трупом на другой стороне моста.

Мы так и сделали. Нам была большая компания, мы дружно кидали, замутили воду, но..



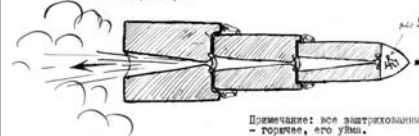
...трусов не нашли.

- 5 -

Кому не известно, что до других планет очень далеко, а от звезд свет летит тысячи лет. Значит, чтоб лететь, нужно много топлива, очень много.

Об этом копаясь не только я, но и Борька, и даже сам Циолковский.

Борька говорил: "Нужно что-то придумать". А Циолковский - "Нужно сделать ступенчатые ракеты". Ступенчатые... Ты, может, не знаешь, как они выглядят? Так вот, смотри!

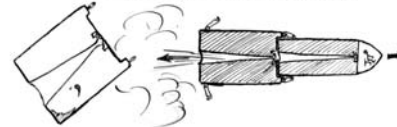


Примечание: все заштрихованные места - горячее, это уши.

Три ракеты прицеплены одна к другой, как вагоны в поезде. В одной передней секции я.

- Внимание!.. Старт!! Я запускаю двигатели.

Сначала работает одна ракета, самая последняя, толкает вперед две другие и меня вместе с ними. Но вот горячее в ней разраховывалось. И тогда...



Я ее выбрасываю, словно пустую консервану банку.

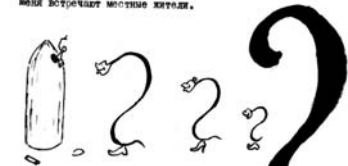
- 6 -

Запускаю двигатели второй ступени, лечу дальше. Копилась горячее и во второй - выбрасываю!..



Лечу на последней ступени, вижу незнакомую планету, разогнавшись, торможу, саусус...

Меня встречают местные жители.



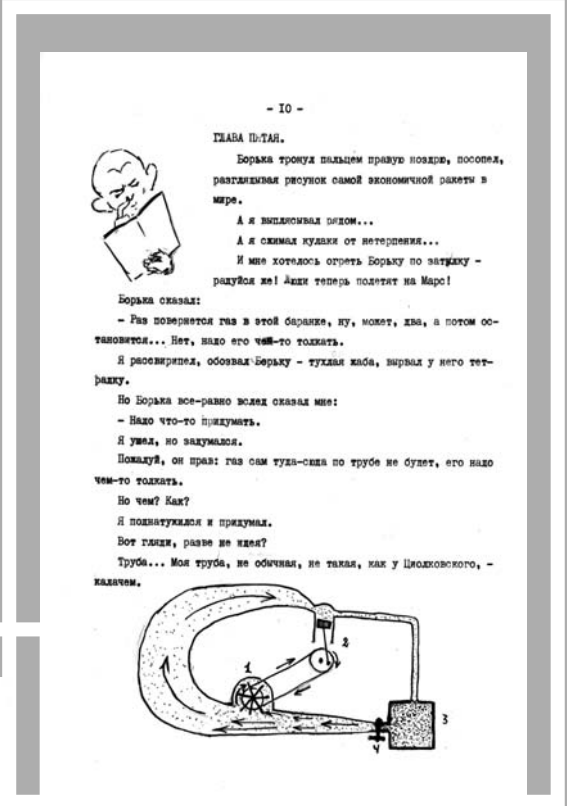
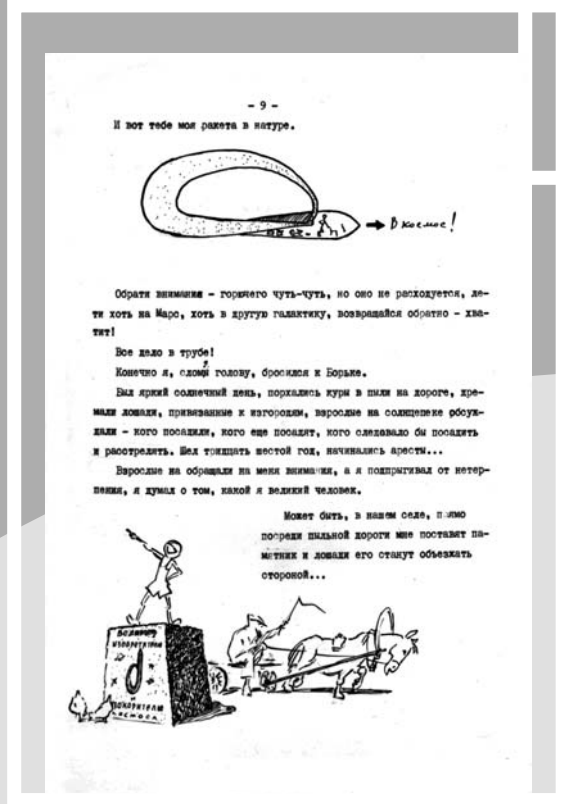
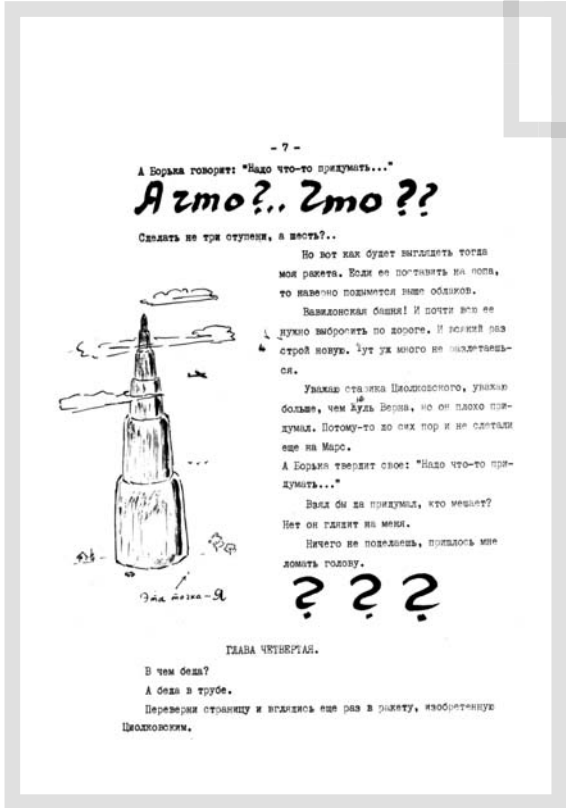
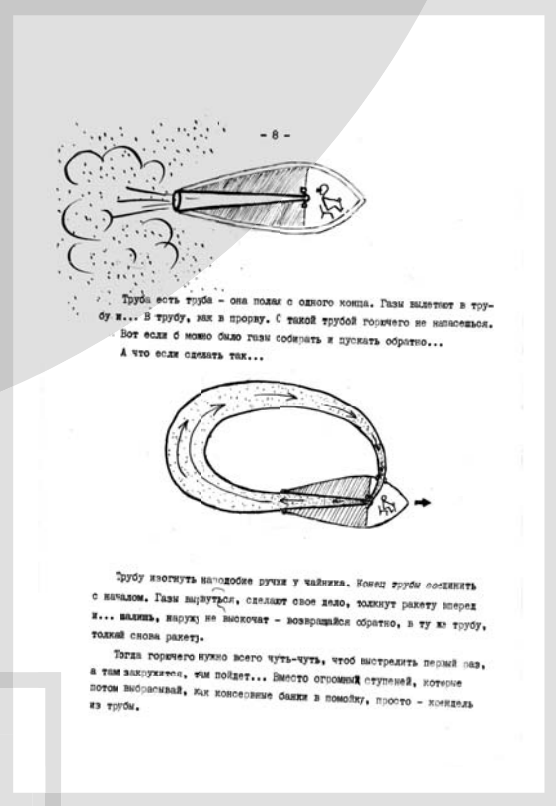
Кажется все в порядке...

Нет, не все!

А как обратно?



У меня уже больше нет ступеней. Остается навсегда на этой планете? Не рассказывать, что видел? Нет уж, так не пойдет!



- 12 -

Теперь все, кому не лень, поет песни, сочиняя имши другим:
 Я зери, дружи, караван ракет...
 Караван караванов, а надо помнить -
 - ВСЕ ДЕЛО В ТРУБЕ!



1963 г.

- 11 -

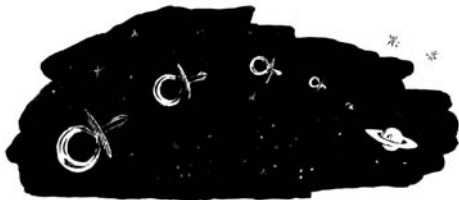
В конце прямой трубы, где должны бы вылетать газы, я поставил колесо с доплатой /номер 1 на рисунке/. Газы вырываются, колесо закрутится и станет крутить я насос /номер 2./ Этот насос будет накачивать газ в особую коробку /номер 3./ Коробка крепкая, сделана из прочного металла, чтоб случайно не разорвалась. Насос накачивает газ, газ сожмется, а я тогда открую крышку /номер 4./ и газ вылетит в трубу, ракета двинется вперед.

Сиди себе, открывая и закрывая крышечки, дети к Марсу, к Юпитеру, к звезде Альфа Центавра. Все дотче, чем возиться по ступеням. Открытый и закрытый - газ не много, не успеешь...

Боряка поглядел и заявил:
 - Вот это другое дело.

Наконец-то открыл и через что - через насос! Покумалась - насос! Я-то знаю - все дело в трубе. Все дело, как ее повернуть.

А ночью мне снилась ракета, летящая в черном небе среди х. купных звезд. Но вот что обидно, каждая ракета походила на обычную детскую соску-пустышку - с колечком плавала. И среди этих ракет плавала Сатурн, тоже с колечком...



Серия иллюстраций «Приключения зайца»

почитайка

ГАЗЕТА - МАЛОТКА, ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ

№ 1

КТО Я?

ТЫ МЕНЯ
 ЗНАЕШЬ.



• ЧИТАЙ ЭТУ ГАЗЕТУ ТОЛЬКО САМА.
 • ЧИТАТЬ ЕЕ ТЕБЕ ДРУГИМИ - СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
 • Пока не будут решены все задачи, новой газеты не выйдет

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ - КАК ДЕД, ИВАШКА ХОДИЛ В ЛЕС.



Выпуск домашней газеты «Почитайка»





Дом в пос. Пахра, в котором В.Ф. Тендряков жил с 1962 г.

ПРИСТРАСТНЫЙ ВЗГЛЯД ТАТЬЯНА УСПЕНСКАЯ-ОШАНИНА

Из интервью о В.Ф. Тендрякове

Это человек, который очень любит оппонентов, он очень любит, когда с ним не соглашаются. Ему очень нравится, как Пастернак говорил: «Дойти до самой сути».

Он очень хотел каждое явление в жизни, всё, что он видел необычное, интересное — додумать до конца. Ему нужно было во всё влезть. И он во всё вслушивался, вглядывался и вдумывался.

...У меня было ощущение, что в нём много «лишних органов». Прежде всего, у него был орган сочувствия людям. О ком бы он ни говорил, он чувствовал **внутреннего человека** и всегда понимал, если у человека какое-то горе. Мне кажется, что это специальный орган в нём развился, который я никогда больше в людях не видела.

Он в себя **вбирал людей**, и ощущение от этого было совершенно необыкновенное. Я, когда попадала в его душу, ложилась там и знала, твёрдо знала, что люди, которые в нём, что они в нём прорастают, что он уже с ними навсегда.

Так он ощущал чужое восприятие, чужие мысли, мир другого человека, он в него входил. Я думаю, что этим объясняется тематика его произведений.

...Все произведения его мне кажутся попыткой решить, наконец, для себя какую-то проблему. Он не может её решить и начинает исследовать. Включается некий орган восприятия другой жизни, другого характера, другой психики, другого образа жизни, другого строя отношений — и в то же время каким-то образом рождается мощное сочувствие.

Его особенный дар проявлялся в том, что он каждое явление, каждого человека, то так повернёт, то так, и ракурс — совершенно другой. Человек, который тебе казался абсолютно жутким и ничтожным, вдруг поворачивается совершенно необыкновенной чертой. И наоборот, прекрасный человек, а вдруг в нём вылезает вся чернота, которая в нём откуда-то есть.

Татьяна Львовна Успенская-Ошанина — известный писатель, автор многих романов и повестей.

Фрагмент расшифровки интервью Т.Л. Успенской-Ошаниной, записанного Евгенией Семёновной Абельюк.

...Кроме того, в нём всегда *действовал масштаб*. У него никогда не было узости; мы говорим на какую-то тему, но это не просто тема, за ней всегда присутствовала вечность или время.

Тендряков — человек необычный восприятием малого и крупного одновременно.

Пониманием того, что в малом крупное. Что этот окоём и малая лягушонка — это одно, единое. Это ощущение — вот главное в Тендрякове и без этого понять его невозможно.

...Что-то случилось, что нужно скорее понять, скорее ощутить. Это же не просто Дюшка и Санька, Санька с убийством, с преступлением. И Дюшка, который жалеет лягушек, который жалеет всё живое. Это совершенно... Это не только они, а пласты разного подхода к жизни, это всё попытка в себе разобраться.

«Весенние перевёртыши» — это ведь и подход к войне, к теме войны: как можно убивать лягушку, как можно убивать человека, как можно обидеть слабого. Психологическая попытка разобраться — одна проблема, вторая проблема, третья.

Во всех произведениях идёт вот это — что-то случилось — и надо понять через детский взгляд, увидеть взглядом ребёнка.

...Не мешает ли философ-Тендряков, поздний Тендряков, Тендрякову-художнику? — Очень мешает. Эти рассуждения и споры... Конечно, это загромождает его вещи, и мне казалось, что последние его вещи несколько искусственного построения, т.е. это в какой-то степени архитектурника.

Но мне кажется, что это всё-таки не обедняет его. Я не могу сказать, что это его слабость и т.п. Те, кто будет читать поздние произведения Тендрякова, должны понять, что происходит какая-то эволюция, которая происходила и у Толстого. И Толстой, который нас пичкал своими рассуждениями — он же не перестаёт от этого быть Толстым.

...Я не выполнила один его завет. Мой прадед — Глеб Успенский, Глеб Иванович Успенский, и Тендряков очень хотел, чтобы я о нём книгу написала. Он просил: «Напиши книгу о Глебе Ивановиче. Это человек, который любил народ». Тендряков очень любил Успенского, для него это был не просто писатель, а человек с большой совестью, который погиб в общем-то из-за раздвоения личности, из-за того, что он никак не мог жить, как следует, когда народу так плохо. Это очень большая тема была между нами.

...Понимаете, Тендряков ведь очень взрывной человек. Человек нетерпимый, человек нетерпеливый, человек, который был сперва очень категоричным. Когда мы с ним познакомились, он был гораздо более категоричным, чем в последние годы. Я думаю, что он с этим в себе сильно боролся.

Он очень сильно менялся, в смысле категоричности, но в главных своих чувствах: щедрости, любознательности, любопытства, жадности к жизни, доброты, способности любить — он не изменился совсем. Сохранил это до последней минуты.

И его неумная щедрость по отношению к людям... Тендряков, когда я к нему приезжала, мне одной читал свои неизданные произведения (просто-напросто: «Садись и слушай»). Людям нужно обычно публику, что им какой-то обыкновенный человек, каким была я. Но этот обыкновенный человек был для него большой человек. Потому что сам он был человек громадный...

У него была удивительная способность читать. Он читал и как бы призывал всё, о чём он читал. У него очень *выпуклый* был голос, очень выпуклое ощущение образов, удивительное. Когда он читал, эпоха невольно присутствовала в этой комнате в Красной Пахре. Всё, о чём он читал, как бы входило в комнату.

...Вы говорите, что «Кончина» символическая вещь. И «Кончина» символическая, а «Весенние перевёртыши» разве не символическая? Когда тот же Минька вдруг прорастает как человек...

У него, у Тендрякова, всё было как в «Перевёртышах»: сегодня это чёрное, а завтра белое, послезавтра какое-то разноцветное.

У него было умение всё время с цветом играть.

Он очень умел (и в творчестве, и в жизни) каждое событие повернуть.

Потому споры с ним и были потрясающими! Он сейчас одну точку зрения отстаивает, потом раз, чуть повернул и вроде о том же, а уже с другой точки зрения.

В этом смысле вспомните, например, «Апостольскую командировку» — с безумно занимавшей его темой отношения к религии, к Богу — потому что в нём всегда боролся атеист и верующий. (И в каждом из нас боролся...) И как он то так повернёт, то так, и вдруг ханжество вылезает, а то вдруг: «На самом деле, я верую». Вот это и есть истинный Тендряков. С «перевёртышами».

И жизнь такая же шла абсолютно, «перевёртышами»: сегодня взлёт, а завтра это всё уйдёт, канет, — падение. Это ж всё так.

И это, мне кажется, должно остаться: все его *вещи-люди*, где звучит его щедрость и необыкновенная жадность к жизни, к людям, его жажда дойти до самой сути.



• Подосиновская средняя школа. Выпуск 1941 г.
(Владимир Тендряков – первый слева в верхнем ряду).

«Наш выпускной вечер состоялся 21 июня 1941 года. Утром я проснулся поздно с ощущением свободы и счастья – кончил школу, всё прекрасно в этом мире, поступлю в художественный, как знать, не ждёт ли меня слава нового Левитана...».

Уважаемый читатель!

Вы держите в руках первую из двух книг, составивших сборник произведений Владимира Тендрякова «Покушение на школьные миражи. Уроки достоинства».

Вторая книга продолжает первую как часть единого авторского высказывания о школе, образовании и становлении личности. В неё вошли роман «За бегущим днём», статья «Школа и самопознание», рассказ «Просёлочные беседы», фрагменты романов, заметки и черновики, обращённые к обстоятельствам и смыслам профессии учителя.

Владимир Тендряков
ПОКУШЕНИЕ НА ШКОЛЬНЫЕ МИРАЖИ. УРОКИ ДОСТОИНСТВА
Художественные и публицистические произведения
КНИГА 1

Под ред. А.Г. Асмолова, А.С. Русакова, М.В. Тендряковой

**В книге использованы рисунки В.Ф. Тендрякова
и фотографии из семейного архива писателя.**

На обложке и титульном листе – автопортрет В.Ф. Тендрякова, 1944 г.

На стр. 158–159 – рисунок В.Ф. Тендрякова «Перед танками», 1944 г.

На стр. 46 – фотография А.Д. Сахарова, фотограф Юрий Рост.

На стр. 238 – фотография К.Г. Паустовского по материалам сайта <http://paustovskiy-lit.ru>



Дизайн Тарас Мосиенко
Художественный редактор Дарья Русакова
Корректор Светлана Шарова

ООО «Образовательные проекты»
195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, 13а.
Тел./факс: (812) 444-38-62,
e-mail: osvita-spb@narod.ru
www.obrpro.wordpress.com
www.setilab.ru

Подписано в печать 10.03.2020 г.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3656

Санкт-Петербургский филиал ФГУП «Издательство «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, дом 12